This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

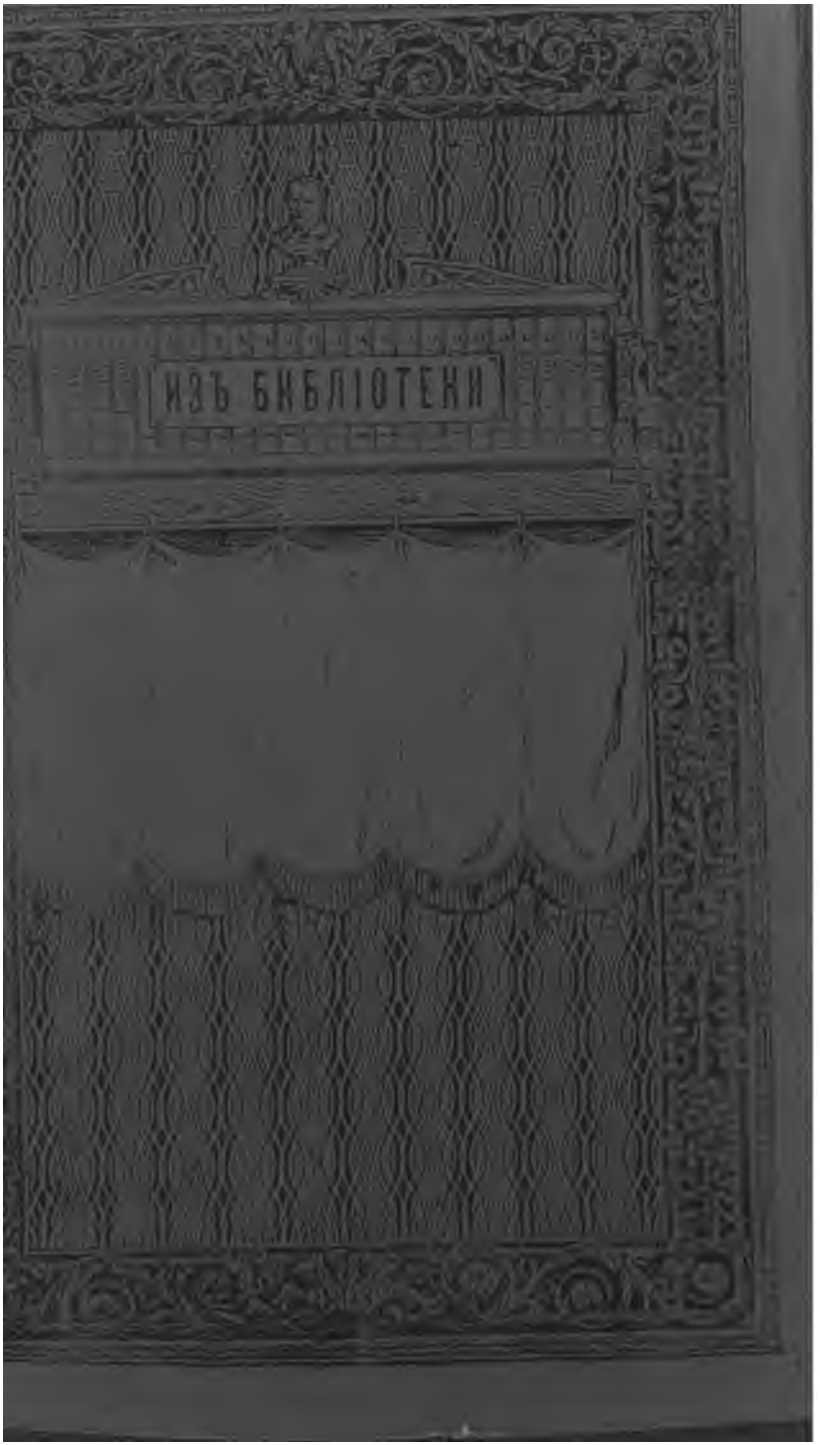
О программе Поиск кпиг Google

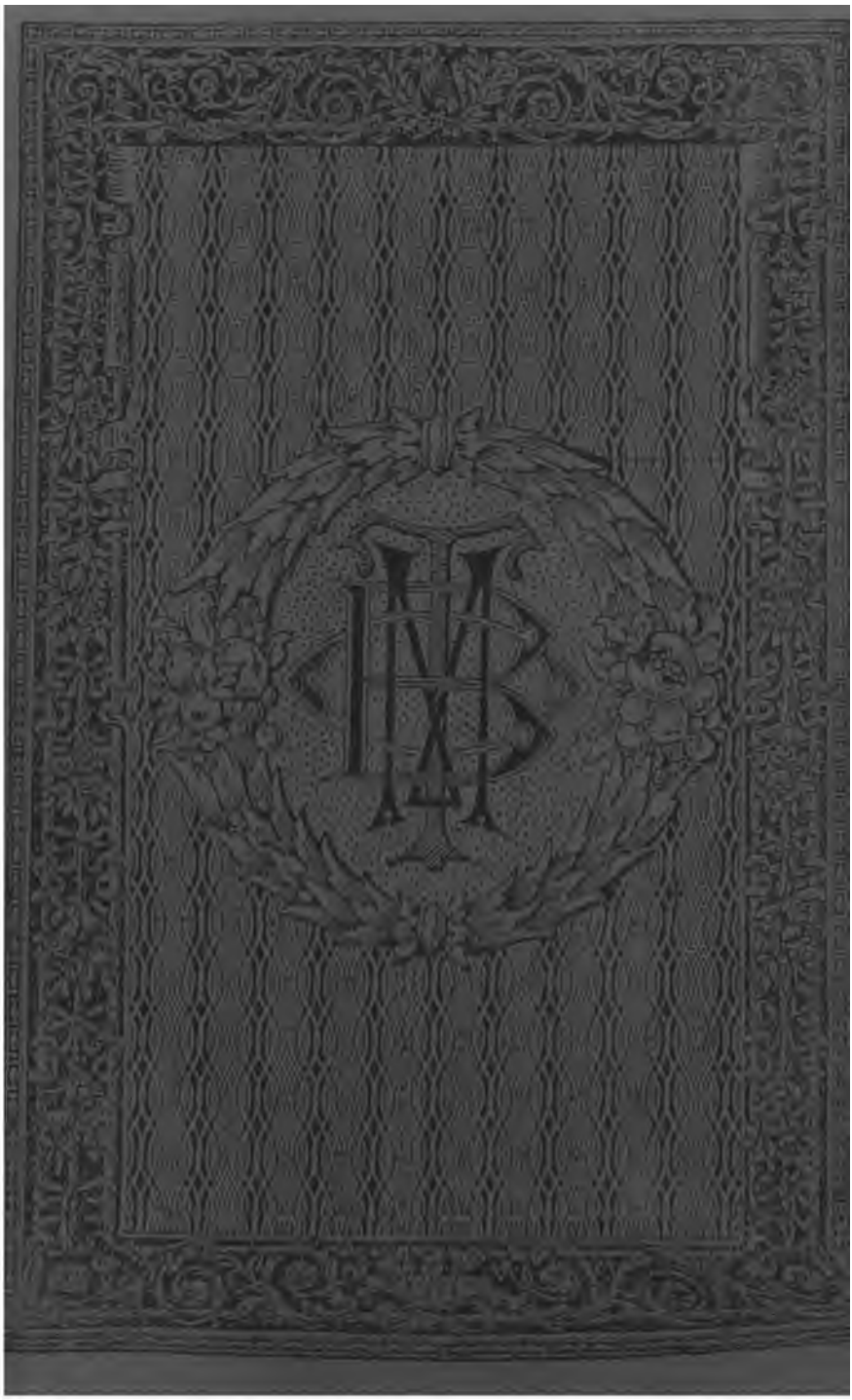
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

СОЧИНЕНІЯ
ЗАГОСКИНА

ТОМЪ 2.

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ


ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ВТОРОЙ

Zagoskin, M.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ВТОРОЙ

P G 3447
v. 2

Дозволено цензурою. Спб. 16-го марта 1901 г.

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ. Спб., Вас. Остр., 16 л., д. № 5—7.

БРЫНСКІЙ ЛѢСЪ

ЭПИЗОДЪ

ИЗЪ ПЕРВЫХЪ ГОДОВЪ ЦАРСТВОВАНІЯ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Подъ самодержавнымъ и кроткимъ правленіемъ двухъ первыхъ царей изъ рода Романовыхъ, отечество наше начинало уже забывать всѣ прошедшія свои страданія. Какъ торжествующій побѣдитель, едва не погибшій въ борьбѣ съ сильнымъ врагомъ, смотритъ съ гордостію, но также и съ невольнымъ трепетомъ, на свою грудь, покрытую исцѣлѣвшими ранами,—такъ точно и святая Русь, съ внутреннимъ сознаніемъ своей силы, но вмѣстѣ и съ ужасомъ, вспоминала о бѣдствіяхъ, претерпѣнныхъ ею во времена междуцарствія. Въ послѣднія тридцать лѣтъ, благодаря твердому и мудрому правленію царя Алексѣя Михаиловича, Россія отдохнула и стала попрежнему царствомъ сильнымъ, богатымъ и самобытнымъ; почти вездѣ изгладились кровавые слѣды ея враговъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, и одно только изустное преданіе напоминало русскимъ о нашествіи иноплеменныхъ, о грабежахъ буйныхъ полчищъ Трубецкаго, о разореніи Москвы, о постыдныхъ предательствахъ, измѣнахъ—и, можетъ-быть, скоро всѣ эти казни Божіи, эти самозванцы, поляки, междуусобія и крамолы стали бы имъ казаться какимъ-то смутнымъ, тяжкимъ сномъ, если бъ

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ВТОРОЙ

такая-же, какъ теперь, надъ оградою Троице-Сергіевской лавры. Выше кремлевскихъ стѣнъ блистали, какъ и теперь, главы соборовъ, монастырскихъ церквей и сіялъ въ вышинѣ златой крестъ Ивана Великаго. Направо къ Никольскимъ воротамъ, за стѣною Кремля, виднѣлась кровля дома боярина Бориса Михаиловича Лыкова; налѣво къ собору Василія Блаженнаго, высоко подымались огромныя хоромы ближнихъ бояръ, Ивана Васильевича Морозова и князя Якова Куденетовича Черкасскаго. У Иверскихъ воротъ, которыя тогда назывались Каретными и Воскресенскими, существовала уже часовня Иверской Божіей Матери, разумѣется не теперешняя, а построенная въ 1666-омъ году, по указу царя Алексѣя Михаиловича; нынѣшняя существуетъ съ небольшимъ пятьдесятъ лѣтъ. Тогдашніе ряды или гостиный дворъ былъ кирпичный съ деревянными пристройками; онъ раздѣлялся на четыре двора: старый, новый, соляной и рыбный; въ первыхъ двухъ были ряды и амбары, въ послѣднихъ отдѣльныя лавочки, шалаши, балаганы и палатки. Лучшіе ряды были: панскій суровскій, фряжскій и венецейскій. Кругомъ Лобнаго мѣста и по всей Красной площади разбросаны были также лавочки, шалаши и балаганы, въ которыхъ торговали шапками, рукавицами, всякимъ мелочнымъ товаромъ и съѣстными припасами. Вблизи отъ Лобнаго мѣста стояло невысокое каменное зданіе, на плоской кровлѣ котораго лежали двѣ огромныя мѣдныя пушки—это былъ домъ земскаго приказа или полиціи. Изъ двухъ улицъ, выходящихъ на Красную площадь, нынѣшняя Ильинка была замѣчательна тѣмъ, что на ней, подъ открытымъ небомъ, происходило то, что въ наше время дѣлается обыкновенно по домамъ или въ особенно заведенныхъ для того комнатахъ. На этой улицѣ стригли волосы и, вѣроятно, посѣтители этихъ воздушныхъ salon pour la coupe des cheveux были очень многочисленны. Олеарій, жившій въ Москвѣ при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, говоритъ, что въ этой улицѣ всегда лежали на землѣ остриженные волосы

такими толстыми и густыми слоями, что проходящимъ казалось, будто бы они ходятъ по тюфякамъ.

Въ 1682 году, вскорѣ послѣ перваго стрѣлецкаго бунта, въ ясный лѣтній вечеръ, на Красной площади, на которой по обыкновенію толпился народъ, одинъ молодой человѣкъ стоялъ, прислонясь къ наружной стѣнѣ Лобнаго мѣста. Онъ былъ видный и прекрасный собою мужчина; его темноголубымъ глазамъ съ черными рѣсницами, румянымъ щекамъ и мягкимъ шелковистымъ кудрямъ позавидовала бы любая московская красавица; по его одеждѣ не трудно было отгадать, что онъ принадлежитъ къ числу младшихъ начальниковъ стрѣлецкаго войска. Этотъ молодой человѣкъ смотрѣлъ задумчиво и съ примѣтной грустію на рабочихъ людей, которые спѣшили окончить кирпичный довольно высокій столбъ, сооружаемый на самой срединѣ площади; по временамъ онъ бросалъ также исполненный презрѣнія взглядъ на отвратительную толпу продавцовъ, которые почти всѣ были стрѣльцы. Они явно и безъ всякаго опасенія продавали вещи, награбленныя ими во время мятежа. Ихъ буйныя и дерзкія рѣчи, наглость, съ какою они зазывали, или, лучше сказать, тащили къ себѣ покупщиковъ, обидныя насмѣшки, которымъ подвергались всѣ мирные граждане, не желавшіе покупать добытый разбоемъ товаръ, угрозы и ругательства, которыми эти вооруженные торгаши осыпали бѣдныхъ купцовъ, торгующихъ съ ними на одной площади,—все изобличало этотъ буйный разгулъ ослѣпленныхъ удачею мятежниковъ; они безпечно предавались своей неистовой радости и веселію, а межъ тѣмъ надъ ихъ преступными глазами сбиралась Божія гроза. Никто изъ нихъ не помышлялъ о страшномъ днѣ отмщенія—а этотъ день былъ уже близко.

— Что ты, горе-богатырь, такъ призадумался?—сказалъ, подойдя къ этому молодому человѣку, стрѣлецкій сотникъ пожилыхъ лѣтъ и вовсе некрасивой наружности.

— А! здравствуй, Лутохинъ! — промолвилъ какъ будто бы нехотя молодой человѣкъ.

— Я и не зналъ, что ты пріѣхалъ, — продолжалъ пожилой стрѣлецъ.—Ну, братъ, понаслышались мы о тебѣ!.. Поздравляю, Дмитрій Афанасьичъ!

— Съ чѣмъ?

— Какъ съ чѣмъ?.. Вѣдь ты, два мѣсяца тому назадъ, поѣхалъ отсюда въ Кострому къ своему дядѣ Семену Яковлевичу Денисову.

— Ну да!

— И не засталъ его въ живыхъ.

— Такъ ты съ этимъ-то меня поздравляешь?

— Не съ этимъ, братецъ! Да вѣдь онъ отказалъ тебѣ свое родовое похѣстье. Ты теперь человѣкъ богатый.

— Да Богъ съ нимъ съ этимъ богатствомъ!.. Покойный дядя былъ мнѣ вмѣсто отца родного; кровныхъ у меня никого нѣтъ. Что я теперь? Одинъ какъ перстъ!

— А другой-то дядя—Андрей Яковлевичъ Денисовъ?

— Этого я знаю только по наслышкѣ.

— И я его никогда не видывалъ, а слыхать-то слыхалъ. О немъ идетъ много всякихъ рѣчей: никоновцы зовутъ его еретикомъ, а тѣ изъ нашихъ, которые придерживаются старины, величаютъ столпомъ православія. Да гдѣ онъ теперь?

— Богъ вѣсть!.. Покойная матушка сказывала мнѣ, что онъ сначала спасался въ Соловкахъ, послѣ жилъ за Онегою, а тамъ отправился на житье въ Стародубъ; а въ самомъ-то дѣлѣ, чай, никто не знаетъ, гдѣ онъ теперь.

— Да, это правда. Мало ли что про него болтаютъ: — говорятъ, что онъ часто и въ Москвѣ бываетъ... да еще то ли!.. Разсказываютъ, будто бы его въ одно время видали въ разныхъ мѣстахъ. Вотъ примѣромъ сказать: ты бы сегодня подъ вечеръ повстрѣчался съ нимъ въ Костромѣ, а мнѣ бы онъ попался теперь на Красной площади. Да это все, чай, бабьи сплетни.—Скажи-ка мнѣ лучше, Дмитрій Афанасьевичъ, ты вчера что ль пріѣхалъ изъ Костромы?

— Нѣтъ, сегодня по-утру.

— Ну, братъ Левшинъ! — продолжалъ пожилой стрѣлецъ,—жаль, что тебя здѣсь не было — поработали мы!

— Да,—прошепталъ молодой человѣкъ, — поработали, да только кому? Вѣдь можно поработать и Господу, и сатанѣ?

— Сатанѣ?.. Что ты, что ты,—перекрестись!

— Пожалуй, у меня рука подымется: я не мятежникъ и не убійца.

— Да что жъ ты, Левшинъ, въ самомъ дѣлѣ!— вскричалъ пожилой стрѣлецъ.—Да развѣ мы бунтовщики какіе? Вѣдь мы послужили царю нашему Іоанну Алексѣевичу и нашей матушкѣ царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ.

— А Петра-то Алексѣевича ты забылъ?..

— Ну, что жъ?.. Вѣдь и онъ также царствуетъ.

— Поработали!—продолжалъ вполголоса молодой человѣкъ. — Хороша работа!.. Какъ-то вамъ будетъ отвѣчать на томъ свѣтѣ, коли на этомъ еще не отвѣтите!.. Страшно подумать... сколько ближнихъ бояръ, знаменитыхъ сановниковъ!..

— Экій ты, братецъ, какой! Да слышь ты, они всѣ были измѣнники?

— Измѣнники? Неправда!.. Да еслибъ и такъ: измѣнниковъ судитъ царь и дума боярская, а мы что за судьи?

— Что за судьи?.. Видишь ли ты этотъ столбъ?

— Вижу.

— А знаешь ли, что онъ строится съ дозволенія нашей матушки-царевны Софьи Алексѣевны?

— Знаю.

— А вѣдомо ли тебѣ, что его ставятъ здѣсь ради того, чтобы на вѣки-вѣковъ знали о нашей вѣрной службѣ и объ измѣнѣ бояръ, за которыхъ ты заступаешься?

— Все знаю—и дай Богъ, чтобъ этотъ столбъ скорѣе развалился.

— Ого!.. Такъ ты этакъ-то поговариваешь, Дмитрій Афанасьевичъ?.. Да чему и дивиться!.. Вѣдь ты не

нашъ братъ: ты стрѣлецъ только по имени. Отецъ твой Афанасій Ильичъ Левшинъ...

— Что мой отецъ? Онъ служилъ стрѣлецкимъ головою.

— Знаемъ, знаемъ! А все-таки онъ былъ родовой человѣкъ. Твоя покойная матушка родомъ Денисова, племянница князю Мышецкому,—ты самъ теперь богатый помѣщикъ: такъ пригоже ли тебѣ, такому боярину, служить въ стрѣлецкомъ войскѣ! Тебѣ бы давно ударить челомъ, чтобъ тебя перевели въ жильцы. Вѣдь отъ жильцовъ-то недалеко и до стряпчихъ; а тамъ, глядишь, роденька твой, князь Мышецкій, замолвитъ за тебя словечко ближнему боярину князю Голицыну— такъ ты какъ-разъ и въ стольники попадешь.

— Нѣтъ, Лутохинъ: гдѣ служилъ и умеръ на службѣ мой отецъ, тамъ и я буду служить.

— А коли такъ, зачѣмъ же ты говоришь такія рѣчи? Иль ты не знаешь пословицы: съ волками жить, по-волчьи выть.

— Я не волкъ, а человѣкъ, и по-волчьи выть не умѣю,—сказалъ отрывисто молодой стрѣлецъ, отходя прочь отъ Лобнаго мѣста.

Онъ не успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ другой стрѣлецкій сотникъ, почти однихъ лѣтъ и также весьма пріятной наружности, кинулся къ нему на шею и закричалъ:

— Здравствуй, братъ Левшинъ!.. Давно ли ты изъ Костромы?..

— Только-что пріѣхалъ,—отвѣчалъ Левшинъ.—Эхъ, братъ Колобовъ!—продолжалъ онъ,—не чаялъ я видѣть того, что вижу! Да неужели и ты такой же крамольникъ, какъ этотъ Ѳедька Лутохинъ, съ которымъ я сейчасъ говорилъ?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьевичъ, не обижай! И я, и всѣ мои товарищи неповинны въ этомъ грѣхѣ предъ Богомъ и царемъ. Сухарева полкъ, въ которомъ я служу, не измѣнилъ своей присягѣ. Сначала помутили и нашихъ ребятъ, и они было завозились, да пяти-

сотенный Иванъ Васильевичъ Бурмистровъ,—дай Богъ ему здоровья!—сказалъ, что ляжетъ вмѣсто порога у царскихъ палатъ; вотъ они язычекъ-то и прикусили! А тамъ вышелъ пятидесятникъ Борисовъ, человѣкъ кажись, небольно грамотный, а какъ началъ имъ толковать, что такое есть присяга, такъ всѣ, братецъ, прослезились!

— Ну, слава Богу!—сказалъ Левшинъ,—хоть одинъ полкъ! Все-таки душѣ полегче.

Да зато ужъ, братъ, какъ другіе-то полки насъ не жалуютъ—вотъ такъ бы и проглотили, да благо нельзя!.. Вѣдь цѣлый полкъ не одинъ человѣкъ — подавишься! Знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ: тебѣ бы не худо переписаться въ нашъ полкъ. Вашъ полковникъ Бухвостовъ боленъ; такъ заурядъ правитъ полкомъ Кузьма Иванычъ Чермновъ, задушевный другъ Самбулову, Цыклеру и Щегловитому; а вѣдь они-то и были первыми зачинщиками мятежа. Чего добраго, коли на бѣду эти разбойники провѣдаютъ, что ты не тянешь на ихъ руку, такъ они какъ разъ тебя уходятъ.

— Какъ! безъ суда?

— Какой судъ! Скажутъ, что ты измѣнникъ—вотъ и все! Вѣдь нашъ теперешній-то набольшій князь Иванъ Андреевичъ Хованскій, имъ съ руки: что бъ они ни сдѣлали, все шито да крыто!..

— Эхъ, братъ Колобовъ, не хотѣлось бы мнѣ оставить полкъ, въ которомъ помнятъ еще моего покойнаго батюшку.

— Развѣ помнили, а теперь у нихъ не то на умѣ.— Эй, Левшинъ, послушайся меня! Хочешь, я теперь же пойду къ Ивану Васильевичу Бурмистрову?.. Онъ это дѣло разомъ уладитъ.

— Ну-инъ быть по твоему,—сказалъ Левшинъ.— Вѣдь по правдѣ-то сказать, и покойный батюшка не сталъ бы служить съ бунтовщиками.

— Тсъ! тише! что ты горланишь!—шепнулъ Колобовъ.—Иль тебѣ надоѣло голову на плечахъ носить? Кругомъ насъ ушей-то много—про себя, что хочешь

говори, а вслухъ не моги! Вѣдь здѣсь, братецъ, на площади расправа коротка — ни за что пропадешь!.. Ты теперь куда—домой, что ль?...

— Нѣтъ, еще не домой. Зайду въ Успенскій соборъ поклониться святымъ угодникамъ.

— Ну, ступай, а я завтра у тебя по-утру побываю.

Левшинъ, простясь съ своимъ пріятелемъ, отправился въ Кремль. Подойдя къ Спасскимъ воротамъ, онъ увидѣлъ, что множество праздношатающихся людей всякаго состоянія и въ томъ числѣ нѣсколько стрѣльцовъ столпилось вокругъ одного нищаго. Лицо, руки и босыя ноги этого нищаго были запачканы грязью, а сверхъ посконнаго балахона, отъ котораго оставались одни только лохмотья, надѣта была черезъ плечо веревка, на которой висѣлъ плетеный изъ лыка кошель. Впрочемъ, лицо его было не безобразно, и сѣдые распущенные по плечамъ волосы придавали ему видъ состарѣвшагося въ трудахъ монастырскаго послушника.

— Ну, что вы пристали!—говорилъ онъ плаксивымъ голосомъ дурака, котораго раздразнили. — Наладили одно да одно: «Гриша! гдѣ ты былъ? Гриша! куда ты пропадалъ?» Такъ не скажу! На что вамъ.

— Вотъ ужъ цѣлый годъ никто тебя не видѣлъ у Спасскихъ воротъ, — сказалъ одинъ купецъ. — Мы, Гриша, думали, что ты умеръ.

— Нѣтъ, братъ, живехонекъ!..

— На-ка тебѣ, Гриша, копеечку,—сказалъ другой купецъ.

— На что мнѣ? У меня, братъ, и своихъ копеечекъ-то было много.

— Куда жъ ты ихъ подѣвалъ? — сказалъ первый купецъ.

— Разошлись по бѣлу свѣту.

— Эхъ, Гриша, Гриша! зачѣмъ же ты ихъ не берегъ?..

— Большіе колокола не велѣли.

Вся толпа засмѣялась.

— Смѣйтесь, смѣйтесь! А послушайте-ка сами, что колокола говорятъ.

— А что они говорятъ, Гриша?—спросилъ одинъ изъ купцовъ.

— Да маленькіе-то лепечутъ: «денегъ дай, денегъ дай, денегъ дай!» А большіе-то, видно, умнѣе маленькихъ; тѣ гудятъ: «деньги гибель, деньги гибель, деньги гибель!»

Хохотъ въ толпѣ удвоился.

— Да! вамъ смѣхъ, а мнѣ и пол-смѣха не было,— продолжалъ нищій.—Жаль было съ денежками разставаться, а все-таки большихъ колоколовъ послушался: началъ мои копеечки раздавать—бери кто хочетъ! И теперь,—прибавилъ онъ съ веселой улыбкой, — слава тебѣ, Господи, нѣтъ за душой ни полушечки!

—Гриша,—сказалъ одинъ изъ стрѣльцовъ,—спой-ка намъ Алексѣя Божья человѣка.

— Да, спой!.. Какъ бы не такъ! Вѣдь поешь, коли на сердцѣ весело, а мнѣ плакать хочется.

— О чемъ, Гриша?

— Да есть о чемъ. Пришелъ я вчера издалека, пообносился, усталъ, намаялся. Вотъ думаю: погоди! отведу же я себѣ душеньку; въ Москвѣ у меня пріятелей-то много: тотъ дастъ калачикъ, тотъ рубашонку, тотъ зипунъ... Дай пойду къ князю Юрію Алексѣевичу Долгорукову. Онъ, бывало, голубчикъ, всегда меня и напоитъ, и накормитъ. Пошелъ. Стукъ, стукъ!— «Что ты?» — Пришелъ повидаться съ князюшкой.— «Такъ ступай на погостъ: его убили стрѣльцы». А сыпокъ-то его? «Лежитъ съ нимъ рядышкомъ». — Ну, нечего дѣлать! Я къ князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому. — «Приказалъ, дескать, долго жить! Убили стрѣльцы».—Я къ князьямъ Ромодановскимъ.—«Свезли, дескать, на кладбище—убили стрѣльцы!» Вотъ думаю: пойду къ Артамону Сергѣевичу Матвѣеву — вѣдь его стрѣльцы-то отцомъ роднымъ называли, такъ ужъ вѣрно у нихъ и руки на него не подымутся. — Пришелъ. Стукнулъ въ калитку.—«Кого надобно?».. Арта-

мона Сергѣевича. «Помолись за его душу — убили стрѣльцы!»..

— Туда измѣнникамъ и дорога!—прервалъ стрѣлецъ.—А ты, Гриша, пустого-то не мели.

— Да, да!—подхватилъ другой стрѣлецъ, — ты смотри, лохмотникъ, ври да не завирайся! Пошелъ бы лучше да умылся—замарашка этакій! Руки-то всѣ въ грязи.

— И, братъ!—сказалъ нищій.—Что грязь?.. Грязь ничего! Ополоснулся водицей—глядишь, и бѣлехонекъ! А вотъ какъ руки-то замараешь христіанской кровью, такъ ужъ ихъ, голубчикъ, ничѣмъ не отмоешь.

— Вотъ что выдумалъ!..—промолвилъ третій стрѣлецъ, огромнаго роста и съ звѣрской, глупой рожею.— Ничѣмъ не отмоешь. Эва! какую околесную несетъ!

— Нѣтъ, не околесную,—подхватилъ первый стрѣлецъ. — Онъ себѣ на умѣ! Вишь, какія рѣчи говоритъ!

— Эхъ, братцы,—продолжалъ нищій, — погуляли, потѣшились—будетъ! пора и Богу помолиться! Вѣдь Онъ терпитъ, терпитъ, да какъ устанетъ терпѣть, такъ худо, ребята! И къ вамъ также придутъ: «стукъ, стукъ!» — Кого надобно? «Стрѣльцовъ молодцовъ».— Были, дескать, были, да всѣ сплыли и на показъ не осталось.

— Ахъ ты, воронъ зловѣщій, — завопилъ первый стрѣлецъ. — Да чтожъ ты, въ самомъ дѣлѣ, такъ раскаркался?—Гоните его, ребята, съ площади долой! Полоумный этакій!.. Пошелъ! пошелъ!

Стрѣльцы бросились на нищаго и начали его бить и гнать передъ собою толчками.

— Что вы это, братцы?—закричалъ Левшинъ.—Ну, не грѣшно ли вамъ? Недужный старикъ—нищій!..

Тутъ кто-то схватилъ Левшина за руку. Онъ обернулся. Передъ нимъ стоялъ пріятель его Колобовъ, блѣдный, какъ смерть.—Скорѣй, скорѣй отсюда!—прошепталъ онъ торопливо.

— Постой, братецъ!—сказалъ Левшинъ.—Дай вы-

ручить этого бѣдняка. Они прибьютъ его до полусмерти.

— Эхъ, братецъ, оставь ихъ! Ну, что они ему сдѣлаютъ? вѣдь онъ убогій человѣкъ. Поколотятъ, да и все! А ты о головѣ-то своей подумай.

— О головѣ?..

— Пойдемъ!—сказалъ Колобовъ, оглядываясь робко назадъ и таща за собою Левшина.—Тамъ въ Кремлѣ я все тебѣ скажу.

II.

Войдя Спасскими воротами въ Кремль, Колобовъ повелъ своего пріятеля на то самое мѣсто, гдѣ теперь Разводная площадь. Въ то время вся эта площадь была покрыта деревянными домами бояръ и бревенчатыми избами, изъ которыхъ многія были ничѣмъ не лучше нынѣшнихъ бѣлыхъ крестьянскихъ избъ.

— Вотъ здѣсь мы можемъ на минуту остановиться, — сказалъ Колобовъ. — Сюда они не придутъ. Ну, слава Богу, что я тебя отыскалъ!.. Если бъ ты имъ попался!..

— Кому, братецъ?

— Ну, Левшинъ, не говорилъ ли я тебѣ...

— Да что такое?

— А то, что тебѣ надобно скорѣй отсюда убираться,—да не къ намъ, въ стрѣлецкую слободу: тамъ тебя найдутъ...

— Найдутъ?—Кто найдетъ?

— А вотъ, послушай. Простясь съ тобою, я пошелъ къ Ивану Васильевичу Бурмистрову. Онъ живетъ въ своемъ домѣ на Неглинной. Какъ я сталъ подходить къ Каретнымъ воротамъ, слышу — тебя называютъ громко по имени. Гляжу, стоитъ человѣкъ двадцать стрѣльцовъ, да трое сотниковъ твоего полка — этотъ буянъ Михайло Чечотка, Андрей Головлинскій и мошенникъ Ѳедька Лутохинъ. Я подошелъ поближе и сталъ прислушиваться. — «Да, братцы», говорилъ

Лутохинъ,—«Левшинъ всѣхъ насъ позоритъ, говоритъ, что мы разбойники и бунтовщики, смѣется надъ нашимъ столбомъ».—«Ахъ онъ измѣнникъ!»—закричалъ Чечотка.—«Ребята! знаете ли что? Петлю ему на шею, да вздернемъ его на этотъ столбъ!»—«Вздернемъ!»—закричали стрѣльцы.—«Стойте, братцы, стойте!.. Что вы?»—молвилъ Андрей Головлинскій,—«вѣдь онъ нашъ братъ, стрѣлецкій сотникъ, а не купчина какой. Коли онъ измѣнникъ, такъ его надо казнить порядкомъ. Отведемъ его къ полковнику. Вы знаете, Кузьма Иванычъ Чермновъ потачки не дастъ...»—«Да что жъ,»—закричалъ опять Чечотка,—«развѣ мы сами съ этимъ дворянчикомъ не справимся?»—«Кто и говоритъ»,—сказалъ Головлинскій.—«Убить не долго, да что въ этомъ толку то? Еще, пожалуй, скажутъ, что мы по насердкамъ убили этого измѣнника. Нѣтъ, братцы! пусть прежде сдѣлаютъ ему пристрастный вопросъ, а какъ уличатъ въ измѣнѣ, такъ выведутъ на площадь, да казнятъ всенародно, по приговору стрѣлецкаго приказа... Знаете-ли что? Пойдемте всѣ къ нему на домъ; коли еще онъ не вернулся, такъ мы его подождемъ».—«Въ самомъ дѣлѣ»,—молвилъ Лутохинъ,—«пойдемте, братцы, захватимъ на дому этого Іуду предателя, скрутимъ ему руки назадъ, да и потащимъ къ полковнику Чермнову: онъ его допроситъ по-свойски!»—«А коли онъ начнетъ барахтаться»,—промолвилъ Чечотка,—«такъ мы его и безъ полковника порѣшимъ!.. Собакѣ, измѣннику—собачья и смерть. Не такъ ли, ребята?»—«Такъ!»—заревѣли въ одинъ голосъ стрѣльцы, да всей гурьбой и отправились на Москворѣцкій мостъ, а я побѣжалъ отыскивать, и слава тебѣ Господи, что нашелъ.

— Ужъ не думаютъ ли эти разбойники, — сказалъ Левшинъ,—что я живой имъ отдамся въ руки?

— Не о томъ рѣчь, братецъ!.. Ты вѣдь одинъ съ цѣлымъ полкомъ не сладишь. Вотъ какъ перейдешь къ намъ, такъ у тебя будетъ заступа—не выдадимъ; а теперь денька на три тебѣ надо пріискать какое-ни-

будь укромное мѣстечко. Ко мнѣ нельзя: я живу за Москвою-рѣкою въ слободѣ, а тамъ тебя и ночью-то будутъ сторожить... Знаешь ли что? У меня есть знакомая старушка, она держитъ въ Зарядьѣ постоялый дворъ; сама она старообрядка, и останавливаются у нея всѣ пріѣзжіе и старообрядцы. Старуха добрая; я ей скажу, что ты задолжалъ богатымъ людямъ и что тебя на правежъ тащили, да ты ушелъ, такъ она отведетъ тебѣ такой уголокъ, что тебя въ полгода и земскій приказъ не отыщетъ. Намъ придется опять идти черезъ Красную площадь, да, чай, ужъ эти разбойники давно за Москвой-рѣкой, такъ мы съ ними не встрѣтимся. Пойдемъ, Дмитрій Афанасьевичъ. Пока я не сдамъ тебя съ-рукъ-на-руки моей старухѣ, до той поры у меня отъ сердца не отляжетъ.

Оба сотника, оставивъ Кремль, вышли опять на Красную площадь; съ перваго взгляда они увидѣли, что на ней происходитъ что-то необыкновенное. Народъ волновался, шумѣлъ, и многочисленныя толпы со всѣхъ сторонъ площади спѣшили къ Лобному мѣсту. Увлеченные этимъ людскимъ потокомъ наши молодые стрѣльцы подошли довольно близко къ Лобному мѣсту— и тутъ представилось Левшину совершенно неожиданное для него зрѣлище. Множество людей, изъ которыхъ нѣкоторые были одѣты какъ чернецы, стояло съ иконами, крестами и святымъ евангеліемъ: у иныхъ были въ рукахъ огромные свитки, другіе толпились вокругъ налоевъ, на которыхъ лежали разогнутыя церковныя книги; передъ ними полупьяные мужики держали зажженныя свѣчи, а на Лобномъ мѣстѣ стоялъ въ подрясникѣ человѣкъ высокаго роста, съ косматой бородой и растрепанными длинными волосами. Онъ кричалъ громкимъ голосомъ: «Послушай, народъ христіанскій, обличеніе на новую Никоніанскую вѣру!.. Постойте, православные, за истинную церковь, ибо нынѣ уже нѣтъ православной церкви, и прямая вѣра погибе на земли!.. Се бо антихристъ насталъ!»

— Что это такое?—спросилъ Левшинъ, когда они,

продравшись сквозь толпы и миновавъ церковь Василія Блаженнаго, повернули налѣво по Варваркѣ.—Что это за человѣкъ такой?

— Да все тотъ же разстрига Никита Пустосвятъ. Вотъ ужъ онъ цѣлую недѣлю таскается по всѣмъ площадямъ, рынкамъ и кружаламъ—мутитъ вездѣ народъ.

— И его до сихъ поръ не уймутъ?

— Да, братъ, сунься-ка! За его вѣру стоитъ половина стрѣлецкаго войска, да никакъ и самъ князь-то Иванъ Андреевичъ Хованскій того же толку придерживается... Эхъ, братъ Левшинъ, — плохія времена!.. То-то и есть! помирволили сначала этимъ крамольникамъ—дали повадку, а теперь имъ ужъ удержу нѣтъ!.. Ну, вотъ и церковь Максима Блаженнаго!—Сюда, направо, Дмитрій Афанасьевичъ, ступай за мной,—прибавилъ Колобовъ, начиная спускаться съ крутой деревянной лѣстницы, которая, изгибаясь по скату горы, вела въ одну изъ улицъ *Зарядья*.

Зарядье, то-есть часть города, находящаяся за рядами, и теперь составлена почти изъ однихъ въѣзжихъ домовъ, подворьевъ и харчевенъ; только теперь этотъ набережный кварталъ Китай-города застроенъ весь каменными домами, а тогда, за небольшимъ исключеніемъ, они всѣ были деревянные. Нынѣшніе постоялые дворы по большимъ дорогамъ могутъ дать понятіе о тогдашнихъ подворьяхъ Зарядья; они были только гораздо обширнѣе, и, вмѣсто одной большой избы, составлялись иногда изъ трехъ или четырехъ избъ, соединенныхъ межъ собою крытыми переходами; тутъ были и зимнія теплыя хаты съ широкой печью и палатями, и лѣтнія свѣтлицы съ красивыми рѣзными скамьями, дубовымъ чистымъ столомъ и оловяннымъ висячимъ умывальникомъ. Лучшимъ украшеніемъ этихъ избъ и свѣтлицъ были, такъ же какъ и теперь, живописныя иконы; передъ ними обыкновенно теплилась лампада, а изъ-за нихъ виднѣлась ивовая лоза, то-есть верба, которая смѣнялась однажды въ году послѣ заутрени на Вербное Воскресенье. Иногда также на одной полкѣ

съ образами стояла стклянка съ богоявленской водою и лежало яйцо, которымъ хозяинъ или хозяйка дома похристосовалась въ послѣднее Свѣтлое Воскресенье съ своимъ приходскимъ священникомъ.

Левшинъ и Колобовъ, спустясь по лѣстницѣ въ Зарядье, прошли шаговъ двѣсти вдоль прямой улицы, которая вела къ Москвѣ-рѣкѣ; потомъ, повернувъ налѣво въ кривой и грязный переулокъ, остановились подлѣ воротъ, занимающихъ промежутокъ между двухъ высокихъ избъ. Обѣ эти избы были въ два жилья, крыты гонтомъ и украшены рѣзными коньками и узорчатыми подвѣсками.

— Ну, вотъ и Мещовское подворье!—сказалъ Колобовъ. — Дома ли хозяйка? Эй, бабушка! ты дома что ль?—закричалъ онъ, подойдя къ открытому окну одной изъ избъ.

— Кто тутъ? — раздался въ избѣ писклявый голосъ—и въ небольшое окно сначала высунулся огромный красный носъ, а потомъ вдвинулось, какъ и въ тѣсную раму, толстое, брюзглое лицо съ отвисшимъ подбородкомъ.

— Здорово, Архипьевна!

— Ахъ ты, соколъ мой ясный, Артемій Никифоровичъ!—пропищала эта безобразная рожа, ухмыляясь самымъ привѣтливымъ образомъ. — Милости просимъ, батюшка! Пожалуйте, пожалуйте! калитка отперта.

Наши пріятели взошли со двора въ небольшія сѣнцы, въ которыхъ встрѣтила ихъ хозяйка дома, толстая, здоровая старуха, въ поношенной камчатой тѣлогрѣѣ и красной камлотовой юбкѣ. Голова ея была повязана шелковымъ платкомъ и, какъ видно, на скорую руку, потому что Колобовъ, взглянувъ на нее, засмѣялся и сказалъ:

— Здравствуй Архипьевна!—Что это у тебя шлыкъ-то на сторонѣ?

— Торопилась, батюшка, торопилась! — отвѣчала старуха, поправляя свой головной уборъ.—Вѣдь хуже, если бъ вы застали меня простоволосою. — Милости

просимъ въ мою келью, господа честные, милости просимъ!

Стрѣльцы вошли въ небольшую хату, довольно опрятную, но такую низкую, что Левшинъ, который былъ высокаго роста, едва не доставалъ головою до потолка. Въ переднемъ углу, на полкѣ, вмѣсто обыкновенныхъ живописныхъ иконъ, стоялъ огромный мѣдный складень съ выпуклыми изображеніями святыхъ и висѣли на гвоздикѣ кожаныя четки.

— Архипьевна,—сказалъ Колобовъ,—я привелъ къ тебѣ этого молодца; онъ такъ же, какъ я, стрѣлецкій сотникъ.

— Вижу, батюшка, вижу!

— Мы съ нимъ задушевные пріятели — крестами давно помѣнялись.

— Спрѣчь вы крестовые братья. Такъ, батюшка, такъ!

— Вотъ изволишь видѣть: онъ позадолжалъ и ужъ его сегодня вели на правежъ...

— На правежъ!.. этакого молодца и красавца!.. Помилуй Господи!.. Видала я, какъ на этихъ правежахъ бьютъ прутьями по ногамъ. Мука, батюшка, мука!

— А дѣлать-то нечего, Архипьевна; если бъ онъ не ушелъ, такъ пришлось бы ему стоять босикомъ передъ приказомъ.

— Полно, такъ ли, Артемій Никифоровичъ? Ужъ не хотѣли ли его только пугнуть? То ли время теперь, чтобъ стрѣлецкаго сотника отдавать на правежъ!.. Да какой купецъ или горожанинъ посмѣетъ...

— Вѣстимо, Архипьевна, купецъ не посмѣетъ, да онъ задолжалъ не купцамъ, а своей братьи, начальнымъ стрѣлецкимъ людямъ.

— Вотъ что!.. Ну, это иная рѣчь, батюшка: тутъ ужъ за него вступиться будетъ некому.

— Денька черезъ три онъ какъ-нибудь справится и заплатитъ, да теперь-то не можетъ, такъ, знаешь ли, на это время надобно его куда ни есть припрятать,— понимаешь?

— Смекаю, батюшка.

— Не найдешь ли ты ему какой-нибудь уголокъ?

— Какъ бы не найдти, да на тотъ грѣхъ все мое подворье биткомъ набито проѣзжими—и все, батюшка, издалека, все люди нашей старой вѣры, со всѣхъ мѣстъ: съ Поморья, съ Вятки, изъ Брынскихъ лѣсовъ... Говорятъ, будто бы соборъ будетъ, и наши станутъ спорить съ никоновцами и отстаивать истинную вѣру... Помоги имъ, Господи!

— Эхъ, не о томъ рѣчь, бабушка!—Ты мнѣ скажи: неужли-то у тебя нѣтъ ни одного порожняго уголка?

— Есть-то, есть, кормилецъ! На заднемъ дворѣ знатная свѣтелка! И лѣсенка въ нее особая.

— Такъ чего же лучше!

— А вотъ что, Артемій Никифоровичъ: рядомъ-то съ нею другая свѣтелка, да внизу еще два покоя,—и въ нихъ во всѣхъ живетъ одинъ пріѣзжій...

— Ну, такъ чтожъ?

— Жилецъ-то, батюшка, не простой...

— Да не бояринъ же какой-нибудь!..

— Бояринъ не бояринъ, а кабы вы знали, кто у него вчера былъ тайкомъ...

— А кто, бабушка?

— Да вѣдь вы, пожалуй, разболтаете...

— Нѣтъ, Архипьевна,—нѣтъ! Говори смѣло.

— Къ нему вчера, — продолжала старуха шопотомъ, — приходилъ въ сумерки, одинъ-одинехонекъ... сама, батюшка, видѣла, своими глазами...

— Да кто?

— Вашъ набольшой-то воевода...

— Князь Иванъ Андреевичъ Хованскій?

— Онъ!

— Вотъ что?.. Да нѣтъ ли у твоего жильца дочки?..

— И, полно!.. Что ты, грѣховодникъ!.. Ну, конечно, дочка есть, — да то-то и бѣда: она живетъ въ свѣтлицѣ; такъ если узнаютъ, что я полъ-бокъ къ ней посадила такого молодца...

— Да вѣдь, чай, между нимъ и этой красавицей стѣна будетъ?

— Какая стѣна... такъ изъ дощечекъ; и на бѣду и двери есть; хоть онѣ и заколочены, а все, батюшка, какъ-то непригоже...

— Знаешь ли что, Архипьевна: если тебя спросятъ, такъ ты скажи, что пустила въ эту свѣтелку недужнаго человѣка, старика... Вѣдь онъ никуда выходить не станетъ, и всего-то на три дня...

— Правда, дочка-то проѣзжаго, — продолжала Архипьевна, — днемъ только сидитъ въ свѣтлицѣ, а ночуетъ, обѣдаетъ и ужинаетъ внизу.

— Такъ чего же ты боишься? Лишь только эта красавица въ свѣтлицу, такъ онъ притаится, какъ заяцъ подъ кочкою. Ей и въ голову не придетъ, что подлѣ нея живутъ.

— Ну, инъ быть по вашему! Только смотри, молодецъ, живи смирно, чтобъ тебя и слышно не было.

— Да ужъ не опасайся! — прервалъ Колобовъ. — Вѣдь и онъ у меня ни дать, ни взять красная дѣвушка.

— Я затѣмъ это говорю, батюшка, что этотъ жилецъ-то, кажись, отъ всѣхъ прячетъ свою дочку, — и мнѣ даже не далъ перемолвить съ ней ни словечка; у нихъ дверь всегда на замкѣ.

— А отецъ ея также сидитъ взаперти?—спросилъ Левшинъ.

— Нѣтъ, батюшка, и онъ, и служитель его часто выходятъ: ихъ и теперь нѣтъ дома. Работница его, Дарья, также забѣжитъ иногда ко мнѣ; а дочка, словно затворница какая, никуда ни пядн: весь день сидитъ одна-одинехонька да вышиваетъ въ пяльцахъ. Вотъ была въ Москвѣ, а Москвы не видала!

— Такъ это дѣло слажено, — сказалъ Колобовъ.— Что придется за постой и за хлѣбы, считай на мнѣ, а теперь веди-ка насъ скорѣй въ свѣтлицу. Да смотри, бабушка: коли неравно станутъ пытать, не живетъ ли у тебя какой стрѣлецкій сотникъ...

— Такъ я, батюшка, хоть образъ со стѣны сниму.

Не живетъ да и только! И почему мнѣ знать, что онъ стрѣлецкій сотникъ? Мое дѣло бабье!—Пожалуйте...

Левшинъ и Колобовъ, вслѣдъ за хозяйкою постоялаго двора, прошли задними воротами на другой дворъ, застроенный клѣтьми и амбарами, посреди которыхъ стояла высокая изба въ два жилья и съ двумя крыльцами, одно съ лицевой стороны подъ досчатымъ навѣсомъ, который поддерживали красивыя балясы, другое съ боку и безъ всякихъ украшеній. Архипьевна пробралась сторонкою, завернула за уголъ избы и по крутой лѣсенкѣ ввела стрѣльцовъ въ небольшія сѣни.

— Постойте-ка на минуту, молодцы, — сказала она:—я пойду взгляну, гдѣ моя жилица.

— Да развѣ ты, бабушка, сквозь стѣну-то увидишь?

— И, кормилецъ! въ досчатой стѣнѣ всегда щелочки есть,—отвѣчала Архипьевна, входя въ свѣтлицу.

— Слышишь, Левшинъ? — сказалъ Колобовъ. — Смотри же, братъ, скажи мнѣ, хороша ли твоя сосѣдка. Вѣдь тебѣ дѣлать-то будетъ нечего, сиди себѣ у стѣнки, да въ щелку и посматривай.

— Ступайте, господа честные, — промолвила Архипьевна, растворяя дверь.—Жилица моя внизу.

Наши пріятели вошли въ небольшую свѣтелку съ однимъ окномъ.

— Вотъ, батюшка, — сказала Архипьевна, обращаясь къ Левшину,—тамъ подъ лавкой лежитъ войлочекъ. Не прогнѣвайся, лишней перины у меня нѣтъ, да и подушечекъ-то Богъ не далъ. Чтожъ дѣлать — не взыщите!

— И, бабушка, есть о чемъ хлопотать! — прервалъ Колобовъ,—была бы только крыша. Вѣдь нашъ братъ ратный человѣкъ ходя наѣстся и стоя выспится.

— А что, молодецъ, — сказала Архипьевна, обращаясь къ Левшину,—не принести ли тебѣ поужинать?

— Спасибо, бабушка! Я ужинать не стану,—отвѣчалъ Левшинъ.

— Что ты, что ты, кормилецъ! Безъ ужина, да безъ молитвы никогда спать не ложись...

— Нѣтъ, любезная, я ѣсть не хочу.

— Что нужды, батюшка; ты на это не смотри: и не хочется да покушай.

— Не тронь его, Архипьевна, — прервалъ Колобовъ. — Коли онъ не хочетъ ѣсть, такъ я за него поѣмъ; ты же ономнясь хвалилась, что у тебя есть астраханская бѣлужина.

— Есть, батюшка!.. Да есть также и малиновый медокъ—вотъ тотъ самый, что ты жаловать изволишь.

— Право? Такъ я, бабушка къ тебѣ заверну.

— Милости просимъ! А твоему крестовому братцу видно ужъ принести пораньше позавтракать. Ты что хочешь, молодецъ? Я сама тебѣ состряпаю. Хочешь ли перепечу крупичатую или курникъ съ яичной подсыпкою?

— Все равно, бабушка, все равно!

— Нѣтъ, батюшка, не все равно: перепеча перепечой, а курникъ курникомъ..

— Ну, какъ сама хочешь.

— Такъ лучше курникъ — это будетъ посытнѣе. Теперь пойду на ледникъ, нацѣжу свѣженькаго медку жбанъ, да ужъ такъ и быть... рѣдкій гость!.. есть у меня завѣтная наливочка: прошлаго года гостинецъ изъ Черкасъ привезли... Ну ужъ, батюшка, есть чѣмъ почествовать,—сластынь такая, что и сказать нельзя!.. Прощенья просимъ!.. Смотри же, Артемій Никифоровичъ, я буду тебя дожидаться.

— Да небось, Архипьевна, припасай только намъ своей хваленой наливки-то, а ужъ мы твои гости.

— Такъ я пойду. Счастливо оставаться, господинъ честной!.. Спокойной ночи, крѣпкаго сна... Охъ, да натощакъ-то какой сонъ!

— Засну, бабушка!—сказалъ Левшинъ, улыбаясь.— Прощай!..

— Насилу ушла! — промолвилъ Колобовъ, когда Архипьевна вышла изъ свѣтлицы.—Старуха добрая, а ужъ куда здорова болтать. Ну, братъ Левшинъ, ты самъ покамѣстъ пристроенъ къ мѣстечку, теперь надо

подумать о твоихъ домашнихъ. Тебя эти разбойники не захватятъ на дому, да зато ужъ все твое доброе подымутъ на царя, заберутъ твоихъ служителей, начнутъ отъ нихъ выпытывать, гдѣ ты—замучаютъ ихъ, сердечныхъ!

— Я этого не боюсь,—сказалъ Левшинъ.—Вѣдь я еще и самъ въ домѣ-то не былъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Я сегодня около вечеренъ пріѣхалъ сюда налегкѣ съ однимъ знакомымъ купцомъ изъ Ростова. Онъ взъѣхалъ къ своему родному брату, который служитъ поддьякомъ въ холопьемъ приказѣ, а тотъ не хотѣлъ отпустить меня безъ угощенья; разсказалъ мнѣ почти со слезами обо всѣхъ безбожныхъ дѣлахъ этихъ окаянныхъ мятежниковъ, — и я прямо изъ его дома пришелъ на Красную площадь, гдѣ съ тобой и повстрѣчался.

— Такъ ты одинъ пріѣхалъ изъ Костромы?

— Нѣтъ. Мой слуга Феропонтъ и конюхъ ѣдутъ на долгихъ. Послѣ покойнаго дядюшки досталось мнѣ много всякаго добра...

— А, вотъ что! Такъ у тебя обозецъ сюда идетъ?

— И коней ведутъ, двухъ персидскихъ аргамаковъ. Однимъ изъ нихъ тебѣ челомъ бью, Артемій Никифоровичъ.

— Спасибо, Дмитрій Афанасьичъ!

— А другого оставлю для себя; Султаномъ зовутъ.—Что за конь, братецъ!.. Феропонтъ никогда не бывалъ въ Москвѣ, такъ я велѣлъ ему дожидаться меня по Троицкой дорогѣ у креста.

— Когда ты ихъ ждешь?

— Да завтра поутру должны быть.

— Такъ я вмѣсто тебя ихъ встрѣчу.

— А я было самъ думалъ...

— Нѣтъ, братъ, погоди!.. Неравно еще наткнешься на кого-нибудь изъ своихъ товарищей. Ужъ вѣрно они обо всемъ донесли полковнику Чермнову; чай, онъ теперь и рветъ и мечетъ. Вотъ, какъ перейдешь въ нашъ

полкъ, такъ ты себѣ передъ нимъ хоть вовсе шапки не ломай; а пока еще ты у него подъ началомъ, такъ онъ можетъ тебя и силою потянуть на расправу... Э! да постой-ка!.. Вѣдь ты никакъ знакомъ съ бояриномъ Кириллою Андреевичемъ Буйносовымъ?

— Какъ же! Онъ очень любилъ моего покойнаго батюшку и меня изволитъ жаловать.

— Такъ я завтра же поутру у него побываю. Я слышалъ, что онъ живетъ въ ладу съ нашимъ главнымъ воеводою, княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хованскимъ, и коли замолвитъ ему словечко, такъ тебя завтра же переведутъ въ нашъ полкъ. Ну, братъ Левшинъ, дѣлать нечего, пришлось тебѣ жить затворникомъ!.. И то сказать—впередъ наука! Думай, что хочешь, а языку-то воли не давай. Плетью, братъ, обуха не перешибешь. Ты лучше по-моему: сиди у моря, да жди погоды; будетъ и на нашей улицѣ праздникъ: не все станутъ мирволить этимъ крамольникамъ. Дай только подрости нашему батюшкѣ, Петру Алексѣевичу, такъ онъ приберетъ къ рукамъ и ихъ и сестрицу свою, — промолвилъ вполголоса Колобовъ.—Да что объ этомъ толковать—не наше дѣло!.. Прощай, братъ, до завтрава! Пойду смаковать хваленой наливочки... а ты смотри—на улицу ни ногой!.. Да не забудь, Левшинъ: я завтра спрошу тебя, хороша ли твоя сосѣдка?

Простившись съ своимъ пріятелемъ, Левшинъ сѣлъ на лавку и призадумался не о томъ, что онъ долженъ былъ скрываться, какъ преступникъ, что неосторожной рѣчью возстановилъ противъ себя своихъ сослуживцевъ,—нѣтъ! чистая и благородная душа его не терпѣла нѣмоты. Онъ не могъ не высказать того, что было у него на сердцѣ, и повторилъ бы снова тѣ же самыя слова передъ всѣмъ полкомъ своимъ.—Умереть за правду весело,—думалъ онъ,—а грустно жить такимъ круглымъ сиротою. Что я? Безъ отца, безъ матери, безъ кровныхъ... Я теперь богатъ, а на что мнѣ это богатство? Кого я имъ порадую?.. Ахъ! зачѣмъ Господь не послалъ мнѣ подругу по-сердцу!.. Я же-

лалъ бы, чтобъ она была бѣдна: я осыпалъ бы ее жемчугомъ, одѣвалъ бы въ парчу, тѣшилъ бы какъ малое дитя... а теперь кого я потѣшу? кому скажу: «ты дѣлила со мной и бѣдность и горе; у насъ все было пополамъ,—такъ раздѣли же со мной и мое богатство, и мои радости. Веселись, моя ненаглядная, чтобъ и мнѣ было весело; будь счастлива, чтобъ и я, глядя на тебя, былъ счастливъ?..» Почему знать, можетъ-быть, злодѣи отыщутъ меня?.. Они не пощадили и родственниковъ царя, такъ что же для нихъ убить беззащитнаго бобыля, безъ рода и племени. Почему знать, можетъ-быть, завтра или черезъ нѣсколько дней меня не станетъ и некому будетъ поплакать о горькой долѣ бѣднаго сироты, и развѣ только добрый Колобовъ, да и то тайкомъ, отслужитъ панихиду за упокой души раба Божія Дмитрія!

Никогда еще Левшинъ не чувствовалъ такъ сильно эту непреодолимую тоску одиночества. Нѣтъ! никакія дружескія связи, никакая пріязнь не могутъ замѣнить для души нашей ласки отца и матери, привѣтъ родныхъ сестеръ и братьевъ, и эту святую, неизмѣнную любовь доброй жены, которая—я увѣренъ въ этомъ—и умирая, не покидаетъ своего мужа: она измѣняетъ только свое названіе, и вмѣсто жены становится его ангеломъ-хранителемъ!—Мы, дѣти девятнадцатаго столѣтія, чтобъ разсѣять грустныя мысли, отправляемся въ театръ, скачемъ на гулянье, ѣдемъ на балъ, — а тоска за нами слѣдомъ: отъ нея никуда не ускачешь! У нашихъ предковъ было средство повѣрнѣе этого. Когда ихъ мучила грусть, томило уныніе,—они молились Богу, и горькій плачъ скорби превращался въ тихія слезы умиленія; а эти слезы... о, вѣрьте мнѣ! какъ роса небесная для цвѣтка, попаленнаго зноемъ, такъ эти слезы для души, истомленной земною горестью!—Левшинъ прибѣгнулъ къ этому средству—и, когда усердная молитва облегчила его душу, онъ прилегъ на жесткій войлокъ, положилъ подъ голову свое платье и, какъ на мягкомъ пуховикѣ роскошнаго богача, заснулъ самымъ тихимъ и спокойнымъ сномъ.

III.

Левшинъ проснулся рано поутру и едва успѣлъ одѣться и помолиться Богу, какъ вошла къ нему Архипьевна, неся на деревянномъ блюдѣ завтракъ.

— Ну, вотъ, батюшка,—сказала она, — изволь покушать моей стряпни.—Я принесла къ тебѣ съ позаранкомъ затѣмъ, чтобъ ты позавтракалъ, прежде чѣмъ твоя сосѣдка придетъ въ свѣтлицу. Что, молодецъ, проголодался!.. Чай, у тебя сна вовсе не было?

— Нѣтъ, бабушка, я спалъ хорошо.

— Ну, диво! А я, грѣшница, коли не поужинаю вдоволь, такъ во всю ночь глазъ не сведу... Поболтала бы я съ тобой, да некогда: пора на рынокъ идти... Охъ, сердечный! скучно тебѣ будетъ, не съ кѣмъ словечка перемолвить; а если бъ и было съ кѣмъ, такъ придетъ твоя сосѣдка, и ты, хочешь или не хочешь, а молчи... да ужъ помолчи же, батюшка! Не введи меня, старуху, въ слово.

— И ты думаешь, Архипьевна, сосѣдка не догадается, что подлѣ нея живутъ? Нельзя же мнѣ цѣлый день не пошевелиться.

— Да это, батюшка, ничего! Пустила, дескать, денька на три хвораго старичка. А какъ начнешь говорить, такъ не повѣрятъ: голосъ-то у тебя не стариковскій. Ну, изволь же, батюшка, покушать на здоровье моего курника!.. Да вотъ тебѣ въ этомъ кулечкѣ калачикъ, крупичатый хлѣбъ, штофикъ съ медомъ, а въ сѣняхъ я поставила кувшинъ съ водою... Прощай покамѣстъ, молодецъ!.. Пораньше-то на рынкѣ изъ первыхъ рукъ купишь, — продолжала Архипьевна, уходя:—а только опоздай немного, такъ эти окаянные прасолы все захватятъ. Вѣдь теперь на перекупщиковъ,—промолвила она, остановясь въ дверяхъ,—никакой управы не найдешь. Не прогнѣвайся, они почитай всѣ стрѣльцы... Охъ! батюшка, жутко намъ отъ нихъ приходитъ: все забираютъ въ свои руки!

Несмотря на приглашеніе гостепріимной хозяйки, Левшинъ не дотронулся до завтрака; ему было вовсе не до того: онъ чувствовалъ, что съ нимъ происходитъ что-то небывалое; онъ не могъ присѣсть на одномъ мѣстѣ; кровь приливала безпрестанно къ сердцу, которое поминутно замирало отъ какого-то тревожнаго ожиданія. Вчера еще онъ вовсе не думалъ о своей сосѣдкѣ, а теперь, Богъ вѣсть почему, она не выходила у него изъ головы. Сначала онъ самъ не понималъ, отчего желаетъ съ такимъ нетерпѣніемъ увидѣть вовсе незнакомую ему дѣвицу, быть-можетъ, весьма непригожую собою; но подконецъ какое-то темное и въ то же время непреодолимое предчувствіе овладѣло совершенно его душою. Оно какъ-будто бы говорило ему: «вотъ здѣсь, за этой перегородкою, живетъ та неизмѣнная подруга, неразлучная спутница въ жизни, которая предназначена тебѣ отъ Господа». Нетерпѣніе его умножалось съ каждой минутою. Вотъ прошелъ часъ, другой...—Полно, придетъ ли она сегодня? — думалъ Левшинъ, ходя взадъ и впередъ по своей тѣсной горенкѣ. — Ужъ солнце высоко!.. Чай, скоро благовѣстъ начнется... Чу!.. Вотъ и загудѣлъ успенскій колоколъ!.. Пора бы, кажется... Нѣсколько разъ подходилъ онъ къ досчатой стѣнѣ и смотрѣлъ въ щелку, хотя всякій разъ видѣлъ одно и то же: чистую свѣтлицу, побольше той, которую онъ занималъ, лежанку изъ бѣлыхъ изразцовъ, скамью, столъ, а на столѣ большія пяльцы. Но вотъ, наконецъ, послышался шорохъ... Левшинъ прижался къ перегородкѣ и притаилъ дыханіе. Двери въ свѣтлицу отворились, вошла женщина средняго роста; но прежде, чѣмъ Левшинъ успѣлъ взглянуть на ея лицо, она обернулась спиною къ перегородкѣ, чтобъ, по тогдашнему благостивому обычаю, помолиться предъ иконами. Какъ ни коротка была эта молитва, но Левшинъ успѣлъ полюбоваться прекраснымъ станомъ своей сосѣдки. Она была въ шелковомъ сарафанѣ, съ непокрытой головою, которую опоясывала одна только алая ленточка; ея заплетенные

въ широкую косу волосы, черные и блестящіе, какъ вороново крыло, опускались почти до самой земли; на ногахъ ея были красные черевички, которые показались Левшину похожими на башмачки осьмилѣтняго ребенка. Когда сосѣдка его, помолясь передъ иконами, оборотилась къ нему лицомъ, онъ едва могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія... Нѣтъ! никогда и въ самыхъ пылкихъ мечтахъ своихъ не создавалъ онъ существа прелестнѣе этой красы-дѣвицы, которая теперь представилась ему на яву! Вы, можетъ-быть, знаете изъ старинныхъ пѣсенъ, что тогдашній идеалъ женской красоты немного имѣлъ въ себѣ романтическаго. Бѣлизна, дородность и яркій румянецъ въ щекахъ составляли главное достоинство русской красавицы. Отчего же Левшинъ смотрѣлъ съ такимъ упоеніемъ на эту дѣвицу съ гибкимъ станомъ и почти блѣдными щеками?—Ужъ не потому ли, что истинная, совершенная красота, несмотря на условныя и весьма различныя понятія о красотѣ, просто и безъ всякаго отчета плѣняетъ насъ своей неизъяснимой прелестью?.. Вѣроятно, Левшинъ не думалъ ничего подобнаго, всѣ чувства его слились въ одно зрѣніе. Онъ не разсуждалъ, а смотрѣлъ только съ восторгомъ на эти черные, задумчивые глаза, въ которыхъ выражалось какое-то спокойное уныніе и тихая кротость младенца, на эти алыя уста, на это бѣлое, какъ снѣгъ, дѣвственное чело, на эти обворожительныя ямочки на щекахъ и мелкіе, ровные зубы, которые блеснули, какъ чистый жемчугъ, когда красавица, взглянувъ на свою работу, улыбнулась и молвила довольно громко: «Ну, батюшка будетъ доволенъ! У него еще не было такого наряднаго ручника». Эти слова были сказаны такимъ звучнымъ и очаровательнымъ голосомъ, что въ наше время какой-нибудь меломанъ назвалъ бы его непремѣнно *музыкальнымъ*. Дѣвица, полюбовавшись нѣсколько времени своей работою, сѣла за пяльцы. Съ полчаса Левшинъ не отходилъ отъ перегородки; онъ не спускалъ глазъ съ своей красавицы, слѣдилъ за каждымъ ея движе-

ніемъ, и, когда она встала, чтобъ достать шелкъ, который лежалъ на полкѣ, то сердце въ немъ замерло отъ испуга. Онъ подумалъ, что его сосѣдка хочетъ уйти. Прошло еще нѣсколько минутъ, красавица перестала работать, облокотилась на столъ и задумалась. Повидимому, эти размышленія были не очень пріятны, потому что ея свѣтлыя очи затуманились и налились слезами.—Да что это онъ мнѣ все мерещится,—шепнула она,—и во снѣ и на яву!.. Ахъ, зачѣмъ я его видѣла!.. Прежде мнѣ было только скучно, а теперь!..— Тутъ снова послышался шорохъ.

— Это ты, Дарья—спросила дѣвица тихимъ и привѣтливымъ голосомъ.

— Я, матушка,—отвѣчала, входя въ свѣтлицу, толстая, здоровая дѣвка въ крашенинной душегрѣйкѣ, затрапезной юбкѣ и кожаныхъ чоботкахъ, надѣтыхъ на босую ногу.

— Батюшка дома?

— Нѣтъ, ушелъ вмѣстѣ съ Антономъ... Не съ кѣмъ словечка перемолвить!.. Я было толкнулась къ хозяйкѣ, и та на рынокъ ушла.... вотъ я, Софья Андреевна, къ тебѣ; все-таки вдвоемъ повеселѣе... Да что это?.. Никакъ ты плачешь?..

— Нѣтъ, Дарья, такъ...

— Какъ такъ!.. Смотри-ка, смотри! слезы такъ и льются!..

— Скучно, Дашенька, грустно!

— И, матушка! о чемъ тебѣ грустить?—сказала Дарья, садясь на скамью.—Ужъ тебя ли батюшка не лелѣетъ!.. Чего у тебя нѣтъ?.. И платья шелковыя, и дорогія монисты, и жемчужныя ожерелья...

— Жемчужныя ожерелья!.. А на что мнѣ онѣ?..

— Какъ на что?.. Открой скрынку, да и любуйся?..

— Нѣтъ, Софья Андреевна, не гнѣви Господа!..Коли твое житье не житье, такъ что-же наше?.. Вотъ ты захотѣла Москву посмотрѣть, — батюшка тебя и въ Москву привезъ...

— Въ Москву!.. Такъ по-твоему этотъ постоялый дворъ Москва?

— А какъ же!.. Развѣ ты изъ своей свѣтлицы Ивана Великаго не видишь?

— Москва!..—повторила вполголоса дѣвица. — Да неужели въ самомъ дѣлѣ я вижу Москву въ первый разъ?

— Вѣстимо въ первый, матушка.

— Такъ отчего же мнѣ кажется... Кремль, соборы, Иванъ Великій... да, да! я ужъ ихъ когда-то видѣла... Ахъ, какъ мнѣ тяжело!.. вотъ такъ и хочется о чемъ-то вспомнить... да нѣтъ, не могу!.. Знаешь ли, Даша: у меня въ головѣ бываетъ иногда — ну точь-въ-точь, какъ ночью, когда начинаетъ заниматься заря... станетъ свѣтлѣть... свѣтлѣть... Вотъ, смотришь, сейчасъ и солнышко взойдетъ... вдругъ набѣгутъ тучи, все потускнѣетъ, подернется мглою и опять потемки — опять ничего! Помнишь ли, Даша, когда мы ѣхали Москвою, я вдругъ вскрикнула?

— Помню, матушка!

— А знаешь ли отчего?

— Да оттого, что къ намъ въ повозку заглянули пьяные стрѣльцы.

— О, нѣтъ! я ихъ не видѣла.

— Такъ отчего же?

— А вотъ отчего: мы проѣхали мимо большого дома съ высокимъ теремомъ... какъ я на него взглянула, такъ у меня сердце и забилось!.. Вѣдь этотъ домъ... Ну, вотъ, ты опять станешь надо мной смѣяться...

— Нѣтъ, не стану. Ну, что этотъ домъ, Софья Андреевна?

— Да, да! этотъ домъ, два крыльца съ большими навѣсами, теремъ съ тремя окнами, бѣлая каменная кладовая съ желѣзной дверью—все это показалось мнѣ знакомымъ, роднымъ... вотъ такъ бы туда и бросилась... Помнишь, какъ я заплакала?.. Ты, вѣрно, думала оттого, что меня напугали стрѣльцы?.. Нѣтъ, Дашенька, мнѣ жаль было разстаться съ этимъ домомъ.

— И, матушка, ты опять за старое! Вѣдь ужъ сколько разъ тебѣ толковали, что лѣтъ пятнадцать тому назадъ—тебѣ еще было тогда годка четыре—ты была при смерти больна и какъ выздоровѣла, такъ забыла все прежнее, а помнила только то, что видѣла въ бреду.

— Въ бреду!.. Ахъ, какъ это чудно!.. Я и теперь какъ-будто бы сквозь сонъ, а помню... Даша! вѣдь у меня сестеръ не было?

— Не было, матушка.

— А мнѣ помнится, ихъ было много... и маленькія и большія... У меня и матушка была...

— Ну, конечно, была; да только ты ея не помнишь. Батюшка твой сказывалъ, что тебѣ и году еще не было, какъ она умерла.

— Ахъ, нѣтъ, Даша!.. Я говорю о другой, — ну вотъ что я во снѣ-то видѣла... Постой! — продолжала дѣвица, приложивъ руку къ головѣ. — Да, да!.. у меня и отецъ также былъ, только совсѣмъ не такой, какъ батюшка... и матушка у меня была, и нянюшка... Погоди, погоди!.. кажется, я начинаю вспоминать... Мы все ѣдемъ, ѣдемъ!.. А тамъ какой-то темный лѣсъ... а тамъ... Да, помню... мнѣ что-то сдѣлалось очень страшно... со мною никого нѣтъ, ни матушки, ни нянюшки... А тамъ я какъ-будто бы заснула и долго, долго спала... А что было послѣ—ну, ужъ этого, Дашенька, я никакъ не могу вспомнить!..

— И, Софья Андреевна! охота же тебѣ вспоминать о томъ, что ты видѣла въ бреду! Я тогда у васъ въ дому не жила, а слышала послѣ: у тебя была такая огневица, что ты, почитай, цѣлый мѣсяцъ въ память не приходила, такъ диво ли, что тебѣ и Богъ вѣсть что мерещилось?.. И со мной была однажды такая же болѣзнь, и мнѣ также помстилось, что я боярыня, что у меня золота и серебра полные сундуки насыпаны; а какъ пришлось послѣ опять за квашню приниматься, такъ поневолѣ вспомнила, что я работ-

ница... Да что объ этомъ говорить! Знаешь ли, Софья Андреевна, зачѣмъ я была теперь у нашей хозяйки? Я хочу отъ нея допытаться, что за молодцовъ такихъ она провела вчера черезъ нашъ дворъ; а ужъ нечего сказать—молодцы!.. Особливо тотъ, который пониже; что за личмянной дѣтина такой!..

— Ахъ, нѣтъ, Дашенька! тотъ, который выше, гораздо миловиднѣе.

— Э!.. такъ и ты ихъ видѣла?

— Да... такъ... мелькомъ... Я на ту пору сидѣла у окна... Чему жъ ты, Дарья, смѣешься?

— Тому, матушка, что ты этакъ закраснѣлась... Ну!.. еще! словно маковъ цвѣтъ!.. Э — ихъ, Софья Андреевна!.. молоденька ты, матушка!.. Ну, что за бѣда, что ты взглянула на пригожаго дѣтину? Вѣдь ты не черница какая!

— Знаешь ли что, Дашенька?.. Помнишь, прошлаго года объ святкахъ ты уговорила меня гадать?

— Помню, матушка! Ты еще сказывала мнѣ, что видѣла во снѣ молодца русоволосаго, съ голубыми глазами... Неужели этотъ высокій дѣтина?..

— Ахъ, Дашенька, ну точь-въ-точь такой же! И взглядъ такой же унылый, и платье, помнится, на немъ такое же...

— Вотъ что!.. Ну, Софья Андреевна, видно онъ твой суженый.

— И, полно, Даша!.. Прохожій!..

— Что, матушка, прохожій,—не узнаешь!.. Вотъ и я также: ѣла на святкахъ пересолъ и меня во снѣ напоилъ какой-то вовсе незнакомый дѣтина. Чтожъ ты думаешь? Не прошло мѣсяца, какъ я его увидѣла!.. Да ты знаешь его: работникъ твоего батюшки, Архипка рыжій...

— Архипка!.. Да вѣдь онъ женатъ?

— А почему знать, матушка, можетъ-быть, и овдовѣетъ.

— Такъ ты думаешь, что этотъ прохожій молодецъ мой суженый?

— Да видно, что такъ. А жаль, что не другой!.. Другой-то пригожѣе.

— Ахъ, нѣтъ, Дашенька!

— Да чѣмъ же этотъ высокій показался тебѣ лучше своего товарища?

— Я и сама не знаю; но ужъ только лучше его я въ жизнь свою никого не видала.

Вы можете себѣ представить, каково было Левшину, когда въ эту самую минуту, можетъ-быть, блаженнѣйшую во всей его жизни, двери изъ сѣней отворились, и онъ увидѣлъ Колобова, который манилъ его къ себѣ. Левшинъ отскочилъ отъ перегородки, вышелъ потихоньку въ сѣни и затворилъ за собою дверь.

— Ну, что ты, братецъ?—спросилъ онъ почти съ досадою.

— Да что, Дмитрій Афанасьичъ, — отвѣчалъ Колобовъ, улыбаясь,—я вижу: не въ пору гость хуже татарина!—Ну что, хороша ли?

— Кто хороша?

— Вѣстимо кто—твоя сосѣдка.

— А почему я знаю. Она ни разу не приходила въ свѣтлицу.

— Такъ чего жъ ты смотрѣлъ въ щелку-то?

— Такъ—отъ бездѣлья.

— Хитришь, братъ!.. Ну, если твоей сосѣдки нѣтъ, такъ войдемъ къ тебѣ въ свѣтлицу.

— Нѣтъ, нѣтъ!—прервалъ торопливо Левшинъ.— Лучше здѣсь!.. Неравно кто-нибудь войдетъ, услышитъ, что мы разговариваемъ...

Колобовъ засмѣялся.

— Эхъ, полно, братецъ!—сказалъ Левшинъ,—говори скорѣй, зачѣмъ ты пришелъ?

— Какъ зачѣмъ?.. Повидаться съ тобой, да взглянуть на твою сосѣдку.

— Охота же тебѣ, Колобовъ...

— Ну, ну, не сердись!.. Экій ревнивый какой!.. Вотъ что, братецъ: я сейчасъ былъ у боярина Ки-

риллы Андреевича Буйносова; онъ ужъ все знаетъ: на тебя донесли князю Хованскому, а тотъ ему пересказалъ. Какъ я сталъ говорить, что ты хочешь перейти въ нашъ полкъ, такъ бояринъ покачалъ головою и сказалъ: «Поздненько Левшинъ хватился; теперь ужъ рѣчь не о томъ, а какъ бы только голова-то на плечахъ осталась. Сегодня, какъ совсѣмъ смеркнется, прійди съ нимъ тайкомъ ко мнѣ, такъ авось мы придумаемъ, какъ горю пособить». —Отъ боярина Буйносова я отправился къ Кресту и, какъ туда попалъ, гляжу—тянется по Троицкой дорогѣ обозецъ, телѣгъ шесть, и двухъ коней ведутъ; на задней телѣгѣ ѣдетъ холопъ, такой дюжій, что страшно взглянуть: рожа широкая, рябая...

— Ну, такъ и есть! — прервалъ Левшинъ, — это Ферапонтъ.

— Я закричалъ: стой, ребята! Вы не Димитрія ли Афанасьича Левшина? — «Его — ста», молвилъ передній подводчикъ.—Кто изъ васъ Ферапонтъ? — «Я, ваша милость!»—отвѣчалъ рябой, соскочивъ съ телѣги. Я сказалъ ему, что высланъ навстрѣчу, что имъ теперь на-домъ къ тебѣ ѣхать нельзя, и чтобъ они остановились въ первомъ постояломъ дворѣ и ждали приказа. Оттуда я пошелъ къ тебѣ,—и, знаешь ли что, Левшинъ? какъ я проходилъ черезъ Красную площадь, такъ слышалъ такія непригожія рѣчи, что упаси Господи! Народъ такъ и кипитъ—и все какіе-то разночинцы; а Никита Пустосвятъ стоитъ опять на Лобномъ мѣстѣ и кричитъ: «Пойдемте, православные, въ соборъ изгонять хищнаго волка... Да возстанетъ истинная церковь, и расточатся всѣ враги ея!..»

— И некому унять этого злодѣя!—вскричалъ Левшинъ.

— Какой унять!.. Къ нему весь народъ пристаетъ. Крикъ и гамъ такой, что и сказать нельзя! Мнѣ повстрѣчался нашъ пятисотенный Бурмистровъ и съ нимъ человѣкъ двѣсти стрѣльцовъ: идутъ въ Кремль охранять *царскія* палаты. Я и самъ туда же и сейчасъ побѣгу.

— Какъ!—сказалъ Левшинъ,—неужели эта сволочь осмѣлится ворваться въ чертоги царскіе?

— Чего добраго, отъ нихъ все станется.

— Такъ и я съ тобою!—вскричалъ Левшинъ.

Онъ вбѣжалъ въ свѣтлицу и схватилъ свою саблю.

Увлеченный первымъ порывомъ, этотъ пылкій и благородный юноша забылъ, что его могутъ и видѣть и слышать изъ сосѣдняго покоя.

— Что ты, Левшинъ, что ты?—сказалъ Колобовъ, идя вслѣдъ за нимъ въ свѣтлицу:—да о своемъ ли ты умѣ? Ты хочешь идти въ Кремль... Да развѣ ты не знаешь, что твои злодѣи ищутъ тебя по всему городу?.. И добро бы еще въ другое время, а то теперь, когда эти окаянные крестоизмѣнники опять завозились!... Да ты и до Кремля не дойдешь. Лишь только выйдешь на площадь, такъ тебя тотчасъ же и уходятъ.

— Воля Божія, Артемій Никифорычъ,—чему быть, тому не миновать.

— Да сдѣлай милость—останься!..

— Останься!.. Эхъ, братъ, не тебѣ бы говорить, не мнѣ бы слушать!... Чтобъ я въ то время, какъ нашъ батюшка Петръ Алексѣевичъ будетъ окруженъ измѣнниками и предателями, сидѣлъ, какъ баба, взаперти?.. Нѣтъ, Колобовъ! не тому училъ меня покойный батюшка. «Коли пришлось умирать за вѣру православную и за царя»,—говаривалъ онъ, — такъ не торгуйся: ложись, да и умирай! Тамъ будетъ хорошо».

— И, братецъ! Да что значитъ одинъ лишній человѣкъ?..

— Что значитъ! А почему ты знаешь, можетъ-быть, мнѣ-то Господь и судилъ заслонить моею грудью того, кому я цѣловалъ крестъ и святое евангеліе?

— Эй, Левшинъ—подумай!.. Вѣдь ты идешь на вѣрную смерть.

— Наша жизнь, Колобовъ, въ рукѣ Божіей. Коли мнѣ не суждено погибнуть отъ моихъ злодѣевъ, такъ я останусь живъ; а если суждено, такъ не честнѣе

ли мнѣ умереть съ оружіемъ въ рукахъ у порога царскаго, чѣмъ здѣсь или въ другомъ какомъ захолустьѣ?

Въ эту минуту послышался какой-то глухой и невнятный шумъ, похожій на отдаленный громъ, котораго раскаты слились въ одинъ грозный и протяжный гулъ.

— Чу!.. — сказалъ Левшинъ, — слышишь ли, братецъ?

— Да, Дмитрій Афанасьичъ, и здѣсь слышно, какъ воютъ на площади эти голодные волки. Видно опять крови захотѣлось!..

— Идемъ!..

— Нѣтъ, воля твоя, я тебя ни за что не пущу; лучше самъ не пойду.

— Такъ оставайся же одинъ!—вскричалъ Левшинъ.

Онъ оттолкнулъ своего пріятеля, опрометью бросился вонъ и въ три прыжка очутился внизу лѣстницы. Въ то самое время, какъ онъ выбѣжалъ изъ свѣтлицы, за перегородкою раздался горестный вопль и кто-то прошепталъ: «Боже мой, Боже мой! онъ идетъ на смерть!..»—«Эхъ, жаль молодца!» проговорилъ другой голосъ, и все затихло. Когда Левшинъ вышелъ на дворъ и обернулся, чтобъ посмотрѣть, идетъ ли за нимъ Колобовъ, то невольно взглянулъ на свѣтлицу своей сосѣдки — и чтожъ онъ увидѣлъ? *Она* стояла у открытаго окна. Ея взоръ, исполненный любви и страха, былъ устремленъ на него... О, это уже не случай! Она была у окна для того, чтобы онъ ее видѣлъ... Эти глаза, наполненные слезами, этотъ умоляющій взглядъ, эти сложенныя руки!.. Казалось, она хотѣла ему сказать: «о не ходи, не ходи! останься здѣсь, живи для той, которая тебя любитъ!» Но вдругъ окно затворилось и подлѣ Левшина раздался голосъ Колобова.

— Ну, что ты, братецъ, остановился? Ужъ не передумалъ ли?.. Эй, Дмитрій Афанасьичъ, послушай меня!

Левшинъ стоялъ блѣдный, какъ смерть; онъ едва могъ дышать, онъ чувствовалъ, что кровь застывала въ сердцѣ.. О! кто можетъ разгадать, что происходило въ эту минуту въ душѣ влюбленнаго юноши?.. Святой долгъ—и первая любовь; тамъ, въ Кремлѣ, почти вѣрная смерть,—а здѣсь, быть-можетъ, цѣлый вѣкъ блаженства, подлѣ той, которую избрало его сердце!.. Да! эта душевная борьба была ужасна; но она недолго продолжалась; полумертвое лицо Левшина оживилось снова, взоры вспыхнули, и онъ, схвативъ за руку своего пріятеля, сказалъ твердымъ голосомъ:

— Въ Кремль, мой другъ!.. въ Кремль! А тамъ что Богъ дастъ? Его святая воля!

— Куда вы это, молодцы?—спросила Архипьевна, которая стояла у воротъ постоялаго двора.

— Теперь на площадь, бабушка,—отвѣчалъ Колобовъ.

— Да на площади никого нѣтъ: всѣ въ Кремлѣ.

— Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ?.. Я вамъ говорила, что будетъ соборъ. Грановитая-то палата биткомъ набита; всѣ наши тамъ.

— Слышишь, братъ?—вскричалъ Левшинъ,—а мы еще здѣсь. Скорѣй, скорѣй!

— Что за диво!—прошептала Архипьевна.—Вчера этотъ молодецъ отъ правежа прятался, а теперь въ Кремль идетъ!.. Ахъ, батюшки! бѣгомъ пустились!.. Ужъ не хотятъ ли и они постоять за истинную вѣру?.. Давай Господи!

IV.

Левшинъ и Колобовъ добѣжали въ нѣсколько минутъ до Красной площади; на ней народъ не толпился по обыкновенію, но зато у Спасскихъ воротъ была такая давка, что они должны были по-неволѣ остановиться.

— Что, молодцы,—сказалъ какой-то нищій, кото-

рый сидѣлъ у самыхъ воротъ, пріютясь къ стѣнѣ,—знать ходу нѣтъ?.. Эва какъ народъ-то сперся въ воротахъ—ни туда, ни сюда!

— А! это ты, Гриша?—сказалъ Левшинъ.

— Я, братъ.

— Бѣдненькій! чай, тебя вчера больно стрѣльцы-то прибили?

— Да, братъ, потрепали, дай Богъ имъ здоровья!.. Да что вы напираете—не пройдете, молодцы. Дайте народу схлынуть. Вишь Никита какъ всѣхъ перебулгатилъ: ужъ за нимъ людей-то шло — видимо не видимо!.. Эхъ, Никитушка, Никитушка! — продолжалъ нищій, покачивая головою,—слѣпой вождь слѣпыхъ!.. Жаль мнѣ тебя, голубчикъ! Много за тобой пришло сюда друзей и пріятелей, а много ли ихъ будетъ съ тобой, какъ выведутъ тебя на площадь?..

— Что ты это, Гриша, говоришь?—спросилъ Колобовъ.

— Такъ, братъ, про себя!—сказалъ нищій и запѣлъ вполголоса: Со святыми упокой!.. Ахъ, что-то не поется,—промолвилъ онъ, остановясь, и горько заплакалъ.

— Ахъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ!—сказалъ какой-то приземистый и плечистый дѣтина, лѣтъ тридцати-пяти, подойдя къ нашимъ пріятелямъ, которые какъ ни старались, а не могли подвинуться ни шагу впередъ.

— Это ты, Ферапонтъ?—вскричалъ Левшинъ.—Зачѣмъ ты здѣсь?

— Виноватъ, батюшка, не утерпѣлъ! Хотѣлось поклониться московскимъ угодникамъ.

— Эхъ, братъ!—прервалъ Колобовъ,—напрасно ты ушелъ съ постоялаго двора...

— Да тамъ, батюшка, остались конюхъ Вавила и двое подводчиковъ: ничего не пропадетъ.

— Успѣлъ бы и послѣ побывать въ соборахъ, то ли теперь время.

— А что, сударь?

— Развѣ не видишь?

— Вижу батюшка: народъ такъ и валитъ въ Кремль... Видно, ходъ?

— Какой ходъ!

— Чтожъ это, Колобовъ!—вскричалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ.—Долго ли намъ здѣсь стоять? Пойдемъ лучше къ Никольскимъ воротамъ.

— А вамъ, батюшка, пройти что ль? — спросилъ Ферапонтъ.—Такъ прикажите; я какъ разъ дорожку прочищу.

— Вишь какой Еруслanъ Лазаревичъ!—сказалъ Колобовъ.—Нѣтъ, братъ, тутъ на силу не возьмешь.

— А вотъ посмотримъ!—прошепталъ Ферапонтъ.— Онъ уперся могучимъ плечомъ въ толпу, понатужился, двинулъ—и вся эта плотная масса народа заколебалась.

— Тише, тише!—раздались голоса впереди!

— Батюшки, давятъ!—закричали подъ воротами.— Смерть моя!.. раздавили!.. Куда ты, разбойникъ этакій!.. Тише, тише!..—Но Ферапонтъ, не обращая вниманія на всѣ эти вопли и ругательства, продолжалъ медленно подвигаться впередъ, а за нимъ Левшинъ и Колобовъ.

— Уфъ, жарко! — сказалъ онъ, отдуваясь, когда они выбрались наконецъ за ворота. — Ну, тѣсно! Еще бы этакъ саженей десятка три-четыре, такъ и я бы изъ силъ выбился!

— Экій быкъ! — промолвилъ Колобовъ, глядя съ удивленіемъ на Ферапонта.—Однакожъ, братъ, ступай и здѣсь передомъ: вишь народу-то набралось! А, чай, тамъ, около Грановитой палаты, хоть по головамъ ходи.

И подлинно, вся нынѣшняя Дворцовая площадь запружена была народомъ. Несмотря на охранную стражу, составленную изъ стрѣльцовъ Сухарева полка, толпы всякаго рода и званія людей ежеминутно прорывались къ Красному крыльцу, которое было все усыпано народомъ. Ферапонтъ принялся снова работать плечьми, валилъ народъ направо и налѣво, и лишь только по-

тряхивалъ курчавою головою, когда какой-нибудь невѣжливый кулакъ задѣвалъ его по затылку. Вотъ наконецъ наши пріятели протѣснились до Краснаго крыльца и, оставивъ Ферапонта внизу, начали взбираться по лѣстницѣ. Мимоходомъ они замѣтили, что большая часть людей, захватившихъ всѣ входы въ Грановитую палату, состояла изъ раскольниковъ: у каждаго за поясомъ четки, у иныхъ въ рукахъ книги и почти у всѣхъ за пазухою каменья. Всѣ эти раскольники были въ какомъ-то изступленіи, и у нѣкоторыхъ лица выражали такое нечеловѣческое звѣрство и остервенѣніе, что страшно было на нихъ взглянуть.

Въ сѣняхъ передъ Грановитой палатою столпилось человѣкъ двѣсти этихъ бѣшеныхъ изувѣровъ—пройти было невозможно.

— Посторонитесь, ребята!—сказалъ Левшинъ.—Мы идемъ въ Грановитую палату.

— Постоите и въ сѣняхъ!—промолвилъ одинъ высокій старикъ въ длинномъ балахонѣ.

— Говорятъ вамъ, посторонитесь! — повторилъ вспыльчиво Левшинъ.

— А тебѣ говорятъ, стой тамъ, гдѣ стоишь!.. Вишь, какой выскочка!.. Да не пыли, не пыли, молодецъ, надорвешься.

Колобовъ толкнулъ локтемъ Левшина и, оборотясь къ старику, сказалъ вполголоса:—Экій ты, братецъ-какой!.. Да тамъ въ палатѣ, чай, православныхъ меньше, чѣмъ никоновцевъ, такъ чтожъ вы своихъ-то не пускаете? Вѣдь этакъ мы не одолѣемъ.

— А вы развѣ наши?

— Ваши, ваши!—шепнулъ Колобовъ.

— Посторонитесь, правовѣрные!—закричалъ старикъ.

Толпа разступилась. У дверей Грановитой палаты стоялъ довольно сильный отрядъ изъ стрѣльцовъ и дѣтей боярскихъ; разумѣется, Колобовъ и Левшинъ, какъ стрѣлецкіе *начальные люди*, были пропущены. Они вошли въ палату, и вотъ что представилось ихъ взо-

рамъ: на царскомъ мѣстѣ сидѣли цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи; рядомъ съ ними, по лѣвую сторону, сидѣла на великолѣпныхъ креслахъ *соправительница*, царевна Софья Алексѣевна; подлѣ нея вдовствующая царица Наталья Кирилловна, великія княжны Татьяна Михаиловна и Марья Алексѣевна. Потомъ на скамьяхъ, которыя тянулись вдоль стѣнъ всей палаты, размѣщены были по старшинству думные бояре, окольничьи и прочіе первые государственные и придворные сановники. По правую сторону царскаго мѣста сидѣлъ святѣйшій патріархъ Іоакимъ; одиннадцать митрополитовъ, четыре архіепископа, два епископа [1]) и всѣ московскіе архимандриты. Съ обѣихъ сторонъ царскаго мѣста стояли рынды, младшіе придворные чины и человѣкъ пятьдесятъ вооруженныхъ жильцовъ, одѣтыхъ въ шелковые разноцвѣтные *терлики*. Вся средина палаты была занята толпою раскольниковъ: тутъ были люди всѣхъ званій, и въ томъ числѣ многіе, принадлежащіе, повидимому, къ духовному сословію. Это были бѣглые чернецы, выгнанные изъ монастырей послушники и разстриги изъ бѣлаго духовенства; одни изъ нихъ держали въ рукахъ иконы, другіе огромныя зажженныя свѣчи. Впереди этой буйной сволочи стоялъ передъ налоемъ разстрига Никита Пустосвятъ. По обѣимъ сторонамъ у входа въ Грановитую палату толпились стрѣльцы разныхъ полковъ съ своими начальниками. Колобовъ присоединился къ отряду Сухарева полка; Левшинъ сталъ подлѣ него. Когда они вошли въ палату, дьякъ Борисъ Протасовъ читалъ, по приказу царей, челобитную Никиты, въ которой этотъ мятежный разстрига, называя себя и своихъ единомышленниковъ православными, а все духовенство, начиная съ патріарха, отступниками отъ истинной вѣры, требовалъ собора для всенароднаго обличенія всѣхъ послѣдователей, по словамъ его, нечестивой Никоніанской

---

[1]) Одинъ изъ нихъ былъ, причтенный нынѣ къ лику святыхъ угодниковъ, преподобный епископъ Митрофаній.

ереси. Когда челобитная была прочтена, Никита и нѣкоторые изъ его сообщниковъ, ссылаясь на принесенныя ими древнія рукописи, начали въ самыхъ дерзкихъ и обидныхъ выраженіяхъ обвинять духовенство въ злоумышленномъ искаженіи церковныхъ книгъ. Святѣйшій патріархъ и митрополитъ астраханскій Никифоръ отвѣтствовали имъ, что сдѣланныя при патріархѣ Никонѣ поправки въ церковныхъ книгахъ были необходимы; что нѣкоторые списки, при сличеніи ихъ, оказались несходными межъ собою, и что даже многіе изъ прежнихъ переводовъ греческихъ церковныхъ книгъ не во всемъ были сходны съ своими подлинниками. Но всѣ эти доказательства, основанныя на истинѣ и здравомъ смыслѣ, остались тщетными. Грубое невѣжество и эта фарисейская гордость, которую мы называемъ фанатизмомъ, ненавидятъ истину. Многорѣчіе, пустословіе, превратное толкованіе текстовъ и насиліе—вотъ ихъ здравый смыслъ и логика. Вмѣсто того, чтобъ слушать съ должнымъ уваженіемъ слова своихъ духовныхъ пастырей или, по крайней мѣрѣ, возражать имъ съ кротостію и приличіемъ, Никита и его сообщники, забывъ, что находятся въ присутствіи самихъ царей, подняли такой неистовый крикъ, что заглушили совершенно рѣчи архипастырей и не давали имъ выговорить ни слова. Я думаю, всякому случалось видѣть людей и пообразованнѣе раскольниковъ, которые полагаютъ, что побѣдили своихъ противниковъ, потому что имъ удалось ихъ *перекричать*,—такъ удивительно ли, что Никита и его товарищи, почитая себя побѣдителями, приступили смѣло къ главной своей цѣли, то-есть къ торжественному проповѣдыванію, въ присутствіи царей и всего духовенства, своихъ невѣжественныхъ бредней и богопротивной ереси; но тутъ возсталъ противъ нихъ архіепископъ холмогорскій Аѳанасій. Онъ нѣкогда раздѣлялъ самъ заблужденія этихъ послѣдователей Аввакумовскаго раскола и, слѣдовательно, зналъ лучше другихъ, на чемъ они основывали свои превратныя понятія о вѣрѣ. На всѣ ихъ

лживыя умствованія онъ возражалъ словами Спасителя, его апостоловъ, святыхъ отцовъ, и самыми ясными, неоспоримыми доказательствами изобличалъ всю нелѣпость ихъ противозаконныхъ толковъ и вѣрованій; но это вовсе не усмирило, а только привело въ большую ярость мятежниковъ. — «Эта, по словамъ лѣтописца, гидра изувѣрія, чѣмъ болѣе была поражаема, тѣмъ страшнѣе становилась». Угрозы заступили мѣсто доказательствъ, и разстрига Никита, видя себя совершенно побѣжденнымъ, въ безумной ярости бросился на архіепископа Аѳанасія и ударилъ его въ грудь. Это буйное святотатство было началомъ всеобщаго смятенія. Изступленные крики и неистовые вопли мятежниковъ заглушили все. Раскольники, бывшіе въ сѣняхъ, сломили стражу и ворвались въ палату; тѣ, которые стояли на Красномъ крыльцѣ, обратились къ народу и начали кричать: «Ступайте, правовѣрные, спасайте церковь! на соборѣ насиліе! Никоновцы бьютъ православныхъ!» Въ самой палатѣ раздавались вездѣ мятежные крики: «Очистимъ отъ хищныхъ волковъ церковь!»—вопили раскольники: истребимъ всѣхъ слугъ антихристовыхъ! Въ эту минуту общаго смятенія, царь Іоаннъ Алексѣевичъ, Софья Алексѣевна и весь дворъ, по выраженію того-же лѣтописца, въ несказанномъ страхѣ и слезахъ ушли изъ палаты, и на царскомъ мѣстѣ осталось одно десятилѣтнее дитя; но это дитя былъ Петръ. Окинувъ смѣлымъ взглядомъ мятежную толпу, онъ всталъ, снялъ съ головы своей царскій вѣнецъ и дѣтскимъ, но уже мощнымъ голосомъ сказалъ: «Пока этотъ вѣнецъ на главѣ моей и душа въ тѣлѣ, не попущу воевать святую церковь: и какъ я самъ нарицаю ее матерью и вѣрю, что она есть правая и истинная, такъ и всѣмъ повелѣваю вѣрить! Ну, чтожъ вы?»—продолжалъ онъ, обращаясь къ стрѣльцамъ, и грозные взоры его засверкали гнѣвомъ,—«берите этихъ крамольниковъ!» Въ одно мгновеніе все измѣнилось. Голосъ царя Русскаго, какъ гласъ Божій, поразилъ мятежниковъ. Стрѣльцы, державшіе

сторону раскольниковъ, выдали ихъ руками. Левшинъ первый съ обнаженною саблею кинулся въ толпу, а за нимъ всѣ тѣ изъ стрѣльцовъ, которые не принадлежали къ расколу. Въ нѣсколько минутъ зачинщики были схвачены, и всѣ ихъ сообщники выгнаны изъ палаты.

Во все это время юный государь стоялъ на царскомъ мѣстѣ; его грозный, но спокойный взоръ былъ устремленъ на толпу стрѣльцовъ, которые не принимали участія въ усмиреніи мятежниковъ; казалось, онъ чувствовалъ, что только одинъ всемощный взоръ помазанника Божія могъ оковать буйную волю крамольныхъ стрѣльцовъ, готовыхъ стать грудью за своихъ сообщниковъ. Когда въ палатѣ не осталось ни одного раскольника, то державшіе ихъ сторону стрѣльцы стали также выходить понемногу. Эта вовсе неожиданная развязка, разрушивъ всѣ замыслы дерзкихъ бунтовщиковъ, превратила ихъ въ толпу робкихъ преступниковъ, которые помышляютъ только о томъ, чтобъ избѣгнуть заслуженнаго наказанія. Одни изъ нихъ пробрались потихоньку на Лыковъ дворъ—этотъ главный притонъ мятежныхъ стрѣльцовъ, а другіе присоединились даже къ тѣмъ, которые гнали изъ Кремля раскольниковъ. Вскорѣ не осталось во всей Гранитовой палатѣ никого, кромѣ государя Петра Алексѣевича, нѣсколькихъ ближнихъ его бояръ и всего духовенства. Тогда началось умилительное зрѣлище, о которомъ повѣствуютъ лѣтописцы. Престарѣлый патріархъ Іоакимъ, а вмѣстѣ съ нимъ и весь священный синклитъ, спасенный единымъ словомъ державнаго отрока, пали къ стопамъ его. Владыка православной церкви русской, святители московскіе, всѣ пастыри духовные—старцы, посѣдѣвшіе въ подвигахъ вѣры, трудахъ и молитвѣ—у ногъ десятилѣтняго ребенка!.. Но этотъ ребенокъ былъ уже великій мужъ духомъ, мудростію и силою своей непреклонной воли.

Когда Дворцовая площадь и окружныя мѣста были совершенно очищены отъ мятежниковъ и вся эта сво-

лочь, всегда дерзкая при успѣхѣ и трусливая при малѣйшемъ сопротивленіи, разсыпалась во всѣ стороны, — Левшинъ, который во время этой суматохи разлучился съ Колобовымъ, встрѣтился съ нимъ опять у подворья Крутицкаго монастыря [1]).

— Это ты, Левшинъ? — вскричалъ Колобовъ. Ну, слава тебѣ Господи! А я ужъ было совсѣмъ отчаялся, думалъ, что ты попалъ въ руки къ твоимъ злодѣямъ.

— Нѣтъ, Богъ помиловалъ.

— Погоди-ка, братъ! — сказалъ Колобовъ. — Онъ поглядѣлъ кругомъ; казалось, все было спокойно; изрѣдка прокрадывался около стѣнки какой-нибудь горожанинъ, робко озираясь кругомъ; кой-гдѣ мелькали черныя рясы духовенства, которое помаленьку пробиралось изъ Грановитой палаты въ Чудовъ монастырь, и только вдали, у Спасскихъ воротъ, слышны были крики стрѣльцовъ, которые продолжали гнать изъ Кремля остальной народъ.

— Смотри-ка, — сказалъ Колобовъ, — давно ли здѣсь негдѣ было и яблоку упасть, а теперь хотя шаромъ покати!.. Зато, чай, на Красной площади народъ такъ и кипитъ!.. Дѣлать-то нечего, братъ: придется тебѣ пообождать.

— Да, — отвѣчалъ Левшинъ, — теперь врядъ ли я доберусь благополучно до Мещевскаго подворья.

— Тише, тише, братецъ!.. что ты кричишь! — прервалъ Колобовъ озираясь. — Ну, если кто-нибудь подслушаетъ...

— Да вѣдь мы здѣсь одни.

— Нѣтъ, братъ, не одни!.. Кажись, тамъ за угломъ кто-то кашлянулъ...

— Я ничего не слышалъ.

— А вотъ посмотримъ.

Колобовъ обошелъ кругомъ подворья.

— Ну, что? — спросилъ Левшинъ.

---

1) Это подворье стояло нѣкогда на нынѣшней Разводной площади, рядомъ съ церковью Николы Густонскаго, въ близкомъ разстояніи отъ дома боярина Шереметева.

— Теперь никого нѣтъ. Только вотъ что, Дмитрій Афанасьевичъ: какъ я зашелъ за тотъ уголъ, такъ мнѣ показалось, что кто-то юркнулъ на дворъ къ боярину Шереметеву.

— Кто-нибудь изъ его холопей.

— Статься можетъ, а все-таки лучше, коли ты будешь поопасливѣе... Чу! слышишь, какъ шумятъ на площади?

— Слышу, братецъ.

— Да вотъ скоро разбредутся. Время обѣденное— пора и за кашу приниматься. Ну, Дмитрій Афанасьичъ, хорошу было кашу заварилъ этотъ Никита, какъ-то ему придется ее расхлебывать!.. Вѣришь ли, братецъ, очнуться не могу! Какъ это намъ помогъ Господь?.. Вѣдь въ палатѣ, кромѣ нашихъ Сухаревскихъ, почитай всѣ стрѣльцы были за раскольниковъ; съ тѣмъ и пришли, чтобъ за нихъ стоять.

— Да, Колобовъ, кабы не батюшка Петръ Алексѣевичъ...

— Да, да!.. Исполать ему! Какъ онъ всталъ на своемъ царскомъ мѣстѣ, такъ, вѣришь ли Богу, показался мнѣ выше тебя!.. Подумаешь: всего десять годковъ — чтожъ будетъ, какъ онъ подрастетъ?.. Ну, Дмитрій Афанасьичъ, вотъ это царь такъ царь!

— И всѣ его покинули!—сказалъ Левшинъ;—оставили одного посреди мятежниковъ!..

— Въ томъ-то и дѣло братецъ!.. Охъ, матушка Софья Алексѣевна! хитра ты, а все не будетъ потвоему; кого Господь Богъ хранитъ, тому люди ничего не сдѣлаютъ. Вотъ хоть ты, Левшинъ: видѣлъ ли, какъ въ палатѣ смотрѣлъ на тебя полковникъ Чермновъ? Вотъ такъ бы и проглотилъ живого! И негодяй Чечотка и Ѳедька Лутохинъ глазъ съ тебя не спускали,— а что они тебѣ сдѣлали?

— Не до того было, братецъ.

— И ничего не сдѣлаютъ! Ты, Левшинъ, видѣлъ ли въ палатѣ боярина Кириллу Андреевича Буйносова?

— Нѣтъ, не видѣлъ.

— А онъ тебя видѣлъ, долго шептался съ нашимъ воеводою, княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хованскимъ и они оба на тебя смотрѣли.

— Такъ ты думаешь, князь Хованскій за меня заступится?

— А какъ же?.. Онъ для Кириллы Андреевича все на свѣтѣ сдѣлаетъ; только теперь-то не попадись въ руки къ твоимъ злодѣямъ, а ужъ тамъ дѣло какъ-нибудь уладятъ.

— Постой-ка, — сказалъ Левшинъ,—кажется и на площади все утихло. Не пора ли намъ идти?

— Ну, пожалуй! Пойдемъ къ Спасскимъ воротамъ, а тамъ посмотримъ.

Левшинъ и Колобовъ дошли до Вознесенскаго монастыря, не встрѣтивъ почти никого; но когда они вышли за Спасскія ворота, то увидѣли, что на Красной площади много еще было стрѣльцовъ и народъ толпился около Лобнаго мѣста.

— Погоди, братъ!—сказалъ Колобовъ.—Вотъ, кажется, идутъ сюда стрѣльцы моей сотни... Ну, такъ и есть! Ивашка Троцкій... вонъ Ларька Недосѣкинъ... Знаешь ли что? Я вмѣстѣ съ ними провожу тебя до Зарядья; мы пойдемъ кучкою, ты въ серединѣ: тамъ никто тебя не увидитъ.

— Ну, что вы, молодцы, нейдете? Теперь вѣдь просторно, — раздался позади ихъ знакомый голосъ Гриши. Онъ сидѣлъ на прежнемъ мѣстѣ, прислонясь къ стѣнѣ.—Вотъ, подумаешь,—продолжалъ нищій,—шли въ Кремль какъ на праздникъ, чинно, шажкомъ, съ иконами, а изъ Кремля-то... у!.. батюшки!.. словно дождь—всѣ въ разсыпную! кто куда попалъ: кто домой, кто въ лавки, кто въ разбойный приказъ...

— Въ разбойный приказъ?—спросилъ Левшинъ.

— А какъ же? Вѣдь Никиту не домой отвели... Эхъ, буйная, буйная головушка! Не долго тебѣ головушкѣ на плечахъ оставаться!.. Зачѣмъ пошелъ, то и нашелъ!

— Ты это говоришь — спросилъ Колобовъ — о разбойникѣ Никитѣ?

— Разбойникѣ?.. Дай то Богъ, чтобъ было по-твоему, голубчикъ!.. Разбойникъ что!.. А вотъ худо, какъ онъ въ Іуды попадется—помилуй Господи!..

— Эй, Недосѣкинъ!—закричалъ Колобовъ.—Троцкій!.. Ребята!.. Подите-ка сюда!

Человѣкъ пятнадцать стрѣльцовъ подошли къ Колобову.

— Вы куда, братцы?—спросилъ Колобовъ.—Въ слободу?

— Въ слободу, батюшка Артемій Никифоровичъ!—отвѣчалъ одинъ изъ стрѣльцовъ.

— Такъ и мы съ вами. Пойдемъ, Дмитрій Афанасьичъ!

Окруживъ своими стрѣльцами Левшина, Колобовъ повелъ эту небольшую толпу прямо къ Москворѣцкому мосту. Дойдя до воротъ, которыя также назывались Москворѣцкими, онъ остановился и шепнулъ:

— Теперь съ Богомъ, Дмитрій Афанасьичъ!.. До дому тебя съ такой ватагой довести нельзя: всѣхъ переполошишь. Да и къ чему? Видишь, кругомъ все пусто; ты здѣсь мимо заборовъ прокрадешься такъ, что тебя никто не увидитъ. Ступай теперь налѣво по улицѣ, а тамъ какъ повернешь въ третій переулокъ, ты и дома. Прощай, братъ!.. Вечеромъ я у тебя побываю.

Левшинъ, простясь съ Колобовымъ, добрался благополучно до своего переулка; въ немъ было все тихо и спокойно. Увидѣвъ издали Мещовское подворье, онъ остановился посмотрѣть, можетъ ли пройти въ него такъ, чтобъ никто этого не замѣтилъ. При взглядѣ на это подворье мысль о прекрасной незнакомкѣ снова овладѣла его душою. Кто не знаетъ, что любовь безъ надежды — не радость; но послѣ того, что Левшинъ видѣлъ, уходя съ подворья, ему нельзя было не надѣяться; онъ не могъ чувствовать тогда вполнѣ своего счастія; онъ шелъ навстрѣчу къ своимъ злодѣямъ, его ожидала почти вѣрная смерть или, по крайней мѣрѣ, заточеніе и ссылка; а теперь!.. Господь поми-

ловалъ его; онъ остался живъ и свободенъ; онъ опять ее увидитъ, услышитъ снова ея плѣнительный голосъ... быть-можетъ... о, нѣтъ сомнѣнья!.. она дозволитъ ему говорить съ нею... Но если отецъ ея?.. Да кто жъ онъ такой?.. Знатный и богатый человѣкъ не станетъ жить на этомъ подворьѣ... Такъ неужели онъ не согласится выдать дочь свою за родового человѣка и богатаго помѣщика?.. Нѣтъ, нѣтъ! не можетъ-быть: ей нельзя принадлежать другому — она его суженая!.. И вотъ Левшинъ женатъ!.. вотъ ѣдетъ на житье въ свое костромское помѣстье... О! какимъ земнымъ раемъ будетъ для него это привольное село на берегу Волги-матушки! этотъ свѣтлый и красивый домъ на высокомъ холму, съ котораго вся Кострома какъ на блюдечкѣ! этотъ завѣтный лугъ, эта березовая роща, въ которой онъ станетъ гулять съ своимъ милымъ, ненаглядным другомъ сперва вдвоемъ, а тамъ—если Богъ благословитъ... Нѣтъ, страшно подумать о такомъ счастіи!.. Вѣдь этакъ блаженствуютъ только на небесахъ!.. Такъ мечталъ Левшинъ, подходя скорыми шагами къ подворью. Когда онъ поровнялся съ избою, въ которой жила Архипьева, она высунулась изъ окна и закричала: «Эй, молодецъ, молодецъ! поди-ка сюда!» Но Левшинъ ничего не слышалъ; онъ вбѣжалъ въ ворота и, не обращая вниманія на то, что происходило вокругъ него, спѣшилъ скорѣе дойдти до задняго двора. И до того ли ему было, чтобъ смотрѣть по сторонамъ: въ пяти шагахъ отъ него, въ свѣтлицѣ, у растворенаго окна, на томъ же самомъ мѣстѣ, стояла *она*. Онъ видѣлъ этотъ взоръ, исполненный счастья и любви, онъ слышалъ это радостное восклицаніе, которое при его появленіи вырвалось невольно изъ прелестныхъ устъ незнакомки... Но вдругъ лицо ея покрылось смертной блѣдностію и въ то же время, позади Левшина, загремѣлъ грубый голосъ: «здравствуй, господинъ костромской помѣщикъ».

Левшинъ обернулся—передъ нимъ стояли стрѣлецкіе сотники Лутохинъ и Чечотка, а въ нѣсколькихъ

шагахъ отъ нихъ человѣкъ десять стрѣльцовъ, вооруженныхъ саблями и короткими бердышами,

— Смотри, какой спесивый сталъ! — сказалъ Чечотка. — Къ нему гости пришли, а онъ шапки не ломаетъ.

— Что вамъ надобно? — спросилъ Левшинъ.

— Да такъ! — отвѣчалъ Лутохинъ. — Не угодно ли твоей милости прогуляться съ нами къ полковнику Чермнову.

— Зачѣмъ?

— Видно хочетъ съ тобой побесѣдовать. Вишь ты какой невидимка! пріѣхалъ изъ побывки, да къ начальнику и глазъ не кажешь. Пойдемъ-ка, братъ, пойдемъ!

— А если я не пойду?

— Такъ мы тебя поведемъ.

— И какъ еще! — подхватилъ Чечотка. — Съ почетомъ: руки назадъ, да веревку на шею. — Эй, молодцы! вяжите его.

— Меня! — вскричалъ Левшинъ. Онъ отскочилъ назадъ, прислонился къ избѣ спиною и выхватилъ свою саблю.

— Такъ ты еще драться хочешь? — заревѣлъ Чечотка, вынимая также свою саблю. — Ахъ, ты измѣнникъ этакій! Братцы, — продолжалъ онъ, обращаясь къ стрѣльцамъ, — намъ приказано отыскать и схватить этого предателя живого или мертваго. Не дается живой — такъ рубите его!

— Стрѣльцы бросились всей толпою на Левшина; но вдругъ двери избы отворились и раздался повелительный голосъ: — Стойте, ребята!.. Что вы дѣлаете?

— Князь Иванъ Андреевичъ! — вскричалъ Чечотка, опустивъ свою саблю. — Всѣ стрѣльцы остановились и сняли почтительно шапки, когда къ нимъ подошелъ человѣкъ средняго роста, пожилыхъ лѣтъ, въ шелковомъ полукафтаньи, сверхъ котораго надѣта была простая однорядка изъ чернаго сукна; въ рукѣ у него была костяная трость въ золотой оправѣ, а на головѣ шапка мурмолка съ собольимъ околышемъ. Это былъ

главный начальникъ стрѣлецкаго войска и приказа, князь Иванъ Андреевичъ Хованскій.

— Что у васъ здѣсь за драка была?—спросилъ онъ строгимъ голосомъ.

— Не драка, государь милостивый князь, — отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ Лутохинъ.—А вотъ мы по приказу нашего полковника хотѣли взять этого бунтовщика...

— Бунтовщика... Какого бунтовщика?

— Да вотъ нашего сотника Левшина.

— Левшина!—вскричалъ Хованскій.—Такъ это ты, голубчикъ?.. Ага, сердечный дружокъ, попался!.. О! да ты еще, братъ, отбиваться хотѣлъ,—видишь какой бойкій... Возьмите у него саблю!

Левшинъ молча подалъ ее Лутохину.

— Такъ это ты, измѣнникъ?—продолжалъ Хованскій.—Да если правда, что ты дерзнулъ говорить такія непригожія рѣчи и позорить христолюбивую надворную потѣху...

— Истинно правда, батюшка князь Иванъ Андреевичъ,—сказалъ Лутохинъ.—Пожалуй, онъ теперь отопрется...

— Кто?—сказалъ Левшинъ,—я отопрусь?..

— Молчи, бунтовщикъ!—закричалъ Хованскій.—Я знаю, что ты хочешь сказать.—Мнѣ, дескать, и запираться не въ чемъ, я этого не говорилъ.—Да вотъ погоди, какъ попадешь въ застѣнокъ, такъ смолвишь!.. Да еще то ли я о тебѣ слышалъ!.. Мнѣ Кирилла Алексѣевичъ Буйносовъ все пересказалъ. Ты зачѣмъ ѣздилъ въ Кострому?.. Знаемъ мы — все знаемъ!.. Вишь что затѣяли, окаянные крамольники!..

— Я никогда не былъ крамольникомъ, — сказалъ Левшинъ.—Я ѣздилъ въ Кострому...

— Молчи, говорятъ тебѣ! — прервалъ гнѣвно Хованскій.—Вздумалъ меня учить!.. Я знаю лучше тебя, что говорю!

— А коли тебѣ, батюшка князь Иванъ Андреевичъ,— сказалъ Чечотка,—доподлинно извѣстно, что онъ измѣн-

никъ, такъ ужъ съ нимъ бы одинъ конецъ. Прикажи только: мы его сей-же часъ при тебѣ казнимъ.

— Казнимъ!—повторилъ Хованскій.—Ахъ, ты глупая голова?.. Одного казнишь, а десятеро останутся... Ужъ коли этотъ измѣнникъ говорилъ такія рѣчи на площади, такъ неужели вы думаете, что онъ одинъ?.. Нѣтъ, ребята, ихъ цѣлая шайка. Этого молодца надобно будетъ и въ Кострому спосылать для улики; и коли правда то, о чемъ мнѣ донесли, такъ тебѣ, дружокъ, и на плахѣ-то мѣста не будетъ; а коли неправда, такъ я все-таки ушлю тебя туда, куда и воронъ костей не заносилъ. Лутохинъ! возьми съ собою двухъ молодцовъ, да отведи этого мятежника въ земскій приказъ. Ты мнѣ за него головою отвѣчаешь. А тамъ скажи, что покамѣстъ я за нимъ не пришлю, берегли бы его съ великимъ опасеніемъ. Чего добраго, пожалуй, этотъ сорви-голова самъ на себя руки подыметъ; а намъ улика надобна... Съ Богомъ, ребята! ступайте по домамъ! Благодарствую вамъ за ваше усердіе—и впередъ всѣхъ измѣнниковъ ловите!

— Будемъ, отецъ нашъ, будемъ! — закричали стрѣльцы.

— Ну, батюшка,—сказалъ Лутохинъ, обращаясь къ Левшину,—не угодно ли вашей милости!.. Ты, Сучковъ, ступай по правой сторонѣ; ты, Мутовкинъ, по лѣвой, а я ужъ пойду сзади. Да смотрите, чтобъ онъ стречка не далъ: вѣдь молодецъ-то легокъ на ногу — не догонишь! Пожалуй, батюшка, пожалуй!

Левшинъ, уходя со двора, взглянулъ на свѣтлицу: окно было открыто попрежнему; но гдѣ же его прекрасная незнакомка?.. О, въ эту минуту она была счастливѣе своего суженаго! Она не чувствовала, что, можетъ-быть, разстается съ нимъ навсегда! — Когда толпа бѣшеныхъ стрѣльцовъ, съ поднятыми бердышами, бросилась на Левшина, кровь застыла въ ея жилахъ, сердце перестало биться и она упала безъ чувствъ подлѣ окна своей свѣтлицы.

V.

Вѣроятно мои читатели не забыли, что земскій приказъ, куда велѣно было отвести Левшина, находился на Красной площади, недалеко отъ Лобнаго мѣста. Когда Лутохинъ привелъ въ этотъ приказъ своего арестанта, солнце стояло уже высоко, и вся площадь была пуста. Въ старину, и простой народъ, и купцы, и бояре, однимъ словомъ, всѣ, не исключая самого царя, обѣдали всегда въ одинъ и тотъ же часъ, то-есть около полудня, и непремѣнно отдыхали послѣ обѣда. Въ это время по всему городу распространялась глубокая тишина, и даже бездомные нищіе не бродили по опустѣвшимъ улицамъ; но пообѣдавъ, чѣмъ Богъ послалъ, отдыхали, разумѣется, лѣтомъ, въ хорошую погоду, на погостахъ, а въ дурную на папертяхъ приходскихъ церквей, которыхъ было тогда въ Москвѣ, конечно, вчетверо болѣе, чѣмъ теперь.

Въ передней комнатѣ земскаго приказа, если только можно назвать комнатою какой-то подвалъ съ низкимъ сводомъ, грязнымъ каменнымъ помостомъ и узенькимъ окномъ, сидѣло на скамьяхъ человѣкъ десять *объѣзжихъ* земскихъ ярыжекъ и одинъ очередной *огнищанинъ*, то-есть полицейскій офицеръ тогдашняго времени.

— Здравствуйте, братцы!—сказалъ Лутохинъ, входя въ этотъ покой.—Князь Иванъ Андреевичъ Хованскій прислалъ къ вамъ гостя.

— Милости просимъ!—отвѣчалъ огнищанинъ вставая. — Эге! да онъ никакъ вашъ братъ, стрѣлецкій сотникъ?

— Нашъ братъ?.. Нѣтъ, любезный, мы съ измѣнниками не братаемся.

— Съ измѣнниками?.. Вотъ что! Такъ надобно разбудить нашего дневальнаго поддьяка. То-то разгнѣвается!.. Онъ только-что прилегъ всхрапнуть, — да воля его... измѣнникъ дѣло не шуточное!

Огнищанинъ растворилъ двери въ другой покой и закричалъ: «Вставай, Ануфрій Трифонычъ»!

Вмѣсто отвѣта послышалось что-то похожее на глухой ревъ медвѣдя, котораго потревожили въ берлогѣ; потомъ все опять затихло.

— Слышишь, Ануфрій Трифонычъ? — закричалъ опять огнищанинъ.—Вставай!

— Что тамъ еще? — пробормоталъ охриплый голосъ.—Прахъ бы васъ взялъ! Зачѣмъ?

— Отъ князя Ивана Андреевича... Ступай проворнѣй!

— Иду, иду!

Двери растворились настежь, и изъ сосѣдняго покоя вышелъ, или, вѣрнѣй сказать, вылѣзъ человѣкъ непомѣрной толщины, съ круглымъ багровымъ лицомъ, широкимъ расплющеннымъ носомъ и почти голымъ подбородкомъ, на которомъ два клочка короткихъ волосъ замѣняли бороду. На немъ былъ долгополый, запачканный чернилами, кафтанъ съ высокимъ *козыремъ*, то-есть стоячимъ воротникомъ; на ногахъ поношенные желтые сапоги; на головѣ шелковая *тафья*, или круглая шапочка, похожая на жидовскую ермолку, а за поясомъ висѣла на цѣпочкѣ мѣдная чернилица и футляръ, также мѣдный, для пера.

— Эка служба, подумаешь!—сказалъ онъ, переваливаясь черезъ порогъ и протирая свои заспанные глаза.—Чай, теперь и каторжные-то спятъ въ острогѣ, а ты вставай!.. Нелегкая меня понесла!.. Ну, что вамъ надобно?

— Да вотъ сдать тебѣ этого барина,—сказалъ Лутохинъ, указывая на Левшина.—Князь Иванъ Андреевичъ приказалъ держать его подъ крѣпкою стражею, пока онъ за нимъ не пришлетъ, да присматривать хорошенько, чтобъ онъ тяги не далъ или не поднялъ самъ на себя рукъ.

— Небось, въ кандалахъ не уйдетъ и рукъ на себя не подыметъ: я велю ихъ въ колодку заколотить.

— Ужъ тамъ какъ знаешь!.. Теперь давай мнѣ ярлыкъ, что я тебѣ сдалъ его съ-рукъ-на-руки.

Поддьякъ написалъ на клочкѣ бумаги расписку и отдалъ ее Лутохину.

— Прощай, господинъ костромской помѣщикъ! — сказалъ Лутохинъ, — уходя. Счастливо оставаться!.. Какъ выйдешь въ люди, да будешь стольникомъ, такъ не забудь и насъ грѣшныхъ!

Левшинъ поглядѣлъ съ презрѣніемъ на Лутохина и не отвѣчалъ ни слова.

— Эй, вы!—сказалъ поддьякъ.—Васька Фуфлыга, Андрюшка Бутузъ, ведите-ка этого молодца ко мнѣ.

Двое земскихъ ярыжекъ ввели Левшина во второй покой. Въ немъ стоялъ большой столъ, покрытый краснымъ сукномъ и заваленный бумагами; кругомъ стола съ полдюжины небольшихъ скамеекъ, вдоль стѣны широкая лавка и въ углу на полкѣ икона въ раззолоченномъ кивотѣ.

— Да ты, молодецъ,—сказалъ поддьякъ,—кажись, изъ начальныхъ людей надворной пѣхоты!.. Смотри пожалуй—усъ только пробивается!.. Ну, братъ, раненько ты въ чины заѣлся!.. Вотъ то-то и есть! кабы вашу братью молокососовъ держали въ черномъ тѣлѣ, такъ вы бы жили посмирнѣе.. Ты что?.. Чай, вздумалъ бунтовать противъ начальниковъ!

Левшинъ молчалъ.

— О, да ты спесивъ, голубчикъ,—продолжалъ поддьякъ,—и отвѣчать не хочешь!.. Да вотъ погоди, какъ сведутъ тебя въ Константино-Еленскую башню, такъ тамъ, братъ, заговоришь! Въ застѣнкѣ-то не по нашему допрашиваютъ. Ребята, обыщите его: нѣтъ ли съ нимъ ножа. Вишь, онъ смотритъ какимъ разбойникомъ!

Земскіе ярыжки не нашли ничего у Левшина, кромѣ небольшого кошелька съ серебряною монетою.

— Э! да ты, братъ, съ денежками!—сказалъ поддьякъ.—Дайте-ка сюда!

Онъ взялъ кошелекъ и высыпалъ всѣ деньги на столъ.

— Ого!—шепнулъ онъ, и глаза у него засверкали.— Да тутъ рублей десять будетъ!.. Эхъ, любезный! жалъ

мнѣ тебя,—видитъ Богъ, жаль!.. Человѣкъ ты молодой, непривычный... какъ посидишь этакъ сутокъ двое въ колодкѣ, да въ цѣпяхъ, такъ жутко покажется!.. Фуфлыга! что вѣсу-то въ нашихъ кандалахъ?

— Да пудика полтора съ походцемъ будетъ,—отвѣчалъ ярыжка.

— Слышишь, молодецъ?... И въ колодку-то, какъ руки забьютъ, такъ, — не прогнѣвайся! больно косточки побаливать станутъ... Бутузъ! помнишь того купца?..

— Какъ-же,—отвѣчалъ другой ярыжка.—Вотъ ужъ третій мѣсяцъ, какъ онъ руками не владѣетъ.

— Слышишь, молодецъ?.. И покоецъ - то, куда вашу братью сажаютъ, со всячинкой: лечь коротко, стать низко, присѣсть не на чемъ...

— Для чего ты все это мнѣ говоришь?—спросилъ Левшинъ.

— А вотъ для чего, молодецъ: хочешь ли, я не велю тебя ковать, и ты останешься здѣсь со мною?

— Какъ не хотѣть.

— Только вотъ что, любезный: жаль-то мнѣ тебя жаль, да и на свой страхъ брать не хочется Я человѣкъ небогатый, семейный: жена, дѣти...

— Ну, ну, хорошо!—прервалъ Левшинъ:—я знаю, чего ты хочешь. Возьми эти деньги себѣ.

— Спасибо, добрый молодецъ, спасибо!.. Только не всѣ: надо подѣлиться. Вотъ вамъ полуполтинникъ, ребята!—продолжалъ поддьякъ, обращаясь къ ярыжкамъ.—Да вотъ еще два алтынника: купите винца и попотчивайте своихъ товарищей, чтобъ имъ завидно не было. Ну, ступайте, ребята!.. А ты, молодецъ, хочешь присѣсть, такъ садись; а коли хочешь отдохнуть, такъ ложись,—вонъ тамъ на лавкѣ. Я и самъ прилягу: глаза такъ и слипаются... Да ты что на окна-то посматриваешь? — промолвилъ поддьякъ.—Нѣтъ, голубчикъ! всѣ съ желѣзными рѣшетками; да и безъ нихъ не пролѣзешь—узеньки! А изъ дверей не выпустятъ. Ложись-ка лучше, братъ, да сосни.

Поддьякъ положилъ себѣ подъ голову связанную кипу бумагъ, протянулся на скамьѣ, зѣвнулъ раза два и захрапѣлъ, какъ удавленный. Левшинъ прилегъ также на лавку, но только не для того, чтобъ спать. Говорятъ, что сонъ утѣшитель несчастныхъ; да ихъ-то онъ рѣдко и посѣщаетъ. Эта лиходѣйка, томительная безсонница, почти всегда бываетъ неразлучной подругой душевной грусти и тоски. О себѣ Левшинъ не очень заботился: ему не трудно было отгадать, что князь Хованскій вовсе не имѣетъ желанія погубить его, и что всѣ эти строгія рѣчи и угрозы не значатъ ничего. Хованскій не могъ иначе говорить при стрѣльцахъ; и еслибъ сталъ имъ явно противорѣчить, то, вѣроятно, они вышли бы изо всякаго повиновенія. Даже самое обвиненіе, что будто бы Левшинъ участвовалъ въ какомъ-то костромскомъ заговорѣ, и что его должно отправить туда для улики, доказывало, что князь Хованскій хотѣлъ только подъ этимъ предлогомъ услать его подалѣе отъ Москвы. Однимъ словомъ, Левшинъ могъ надѣяться, что жизнь его теперь въ безопасности; но зато для него исчезла вся надежда увидѣть опять свою незнакомку. Онъ не зналъ, кто она, кто этотъ, чудакъ, ея отецъ, который прячетъ отъ всѣхъ свою дочь,—живетъ въ Зарядьѣ на плохомъ подворьѣ, какъ самый простой горожанинъ или какой-нибудь иногородный небогатый купецъ — и котораго однакожъ посѣщаетъ старшій воевода всего стрѣлецкаго войска, властолюбивый и надменный князь Хованскій. Почему знать, можетъ-быть, этотъ проѣзжій сегодня, завтра или черезъ нѣсколько дней уѣдетъ навсегда изъ Москвы?.. И вотъ чѣмъ кончились всѣ надежды бѣднаго юноши! Эта приволжская деревня, этотъ рай земной, эти вечернія прогулки съ милымъ другомъ, всѣ эти радости, все это блаженство земное—обманчивый призракъ, безумная мечта, необычайный минутный сонъ!

Чего не передумалъ, чего не перечувствовалъ Левшинъ въ эти два часа, въ продолженіе которыхъ толстый поддьякъ пыхтѣлъ и храпѣлъ попеременно то

басомъ, то дискантомъ. Наконецъ этотъ стражъ, котораго впрочемъ нельзя было назвать неусыпнымъ, потянулся, зѣвнулъ и всталъ.

— Ну что, молодецъ,—спросилъ онъ,—вздремнулъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ отрывисто Левшинъ. — Я не сплю послѣ обѣда.

— Не спишь? Не хорошо, любезный, не хорошо! Всѣ православные должны спать послѣ обѣда; одни только еретики,—вотъ какъ былъ самозванецъ Гришка Отрепьевъ,—и въ баню по субботамъ не ходятъ, и не отдыхаютъ, поѣвши. Да ты, молодецъ, обѣдалъ ли сегодня?

— Нѣтъ, не обѣдалъ.

— Такъ чтожъ ты не скажешь, голубчикъ? Ужъ коли я взялъ тебя на руки, такъ ты мой гость.

Поддьякъ подошелъ къ столу, выдвинулъ ящикъ и вынулъ деревянное блюдо, на которомъ лежало полпирога.

— На-ка, любезный,—сказалъ онъ, — покушай на здоровье. Знатный пирогъ, съ кашею!

Вы уже знаете, любезные читатели, что Левшинъ вовсе не походилъ на этихъ героевъ любви и самоотверженія, которые умираютъ, произнося имя своей любезной и въ продолженіе нѣсколькихъ томовъ питаются одной любовью и воздухомъ. Онъ не ѣлъ болѣе сутокъ и хотя чувствовалъ непреодолимое отвращеніе отъ своего собесѣдника, однакожъ присѣлъ къ его пирогу и утолилъ свой голодъ.

— Ну, теперь, молодецъ,—сказалъ поддьякъ,—не хочешь ли подкрѣпить себя травничкомъ?

— Спасибо! Я вина не пью, — отвѣчалъ Левшинъ.

— И это напрасно, любезный!.. Вино веселитъ сердце человѣческое, и одни поганые татары его не пьютъ, а вѣдь мы съ тобой православные. Выкушай чарочку!

— Нѣтъ, право, не могу.

— Ну, какъ хочешь!—Поддьякъ спряталъ блюдо съ остатками пирога, сѣлъ къ столу и началъ что-то

писать, а Левшинъ прилегъ опять на лавку и предался своимъ грустнымъ думамъ. Такъ прошло часа два или три. Вдругъ въ передней комнатѣ послышались громкіе голоса: «Ступай, ступай!»—кричалъ кто-то.—«Ребята, помогите! Вишь, онъ въ притолку упирается!»

— Что у васъ тамъ?—спросилъ поддьякъ, вставая. Двери отворились, и вошелъ огнищанинъ, а за нимъ трое земскихъ ярыжекъ, изъ которыхъ одинъ велъ за воротъ мужика, оборваннаго, замараннаго грязью, съ подбитыми глазами и окровавленнымъ лицомъ.

— А! это ты, Антошка Шелыганъ? — сказалъ поддьякъ, обращаясь къ земскому ярыжкѣ, который тащилъ за собою мужика.—Кого ты это подтенетилъ?

— Да вотъ, батюшка Ануфрій Трифонычъ, идемъ мы, я да Ивашка Кучумовъ, по Зарядью; глядимъ—лежитъ этотъ хмѣльной на улицѣ на самой серединѣ. Ну, долго ль до грѣха,—мѣсто проѣзжее. Мы стали его подымать, а онъ учалъ драться, да еще вздумалъ народъ скликать: кричитъ, что мы его обобрали.

— Ахъ, онъ мошенникъ!.. пьяница этакій!

— Помилуй, батюшка!—промолвилъ мужикъ.

— Молчи!—закричалъ поддьякъ.—Ты кто таковъ? Колотырникъ какой-нибудь!.. Бездомный бродяга!..

— Нѣтъ, батюшка! я живу при мѣстѣ, работникомъ на подворьи.

— А валяешься пьяный по улицамъ.

— Отецъ родной!—вскричалъ мужикъ, кланяясь въ ноги,—прикажи слово вымолвить!

— Ну, что? Говори!

— Вотъ какъ дѣло было: стою я у стѣнки...

— У стѣнки! — прервалъ огнищанинъ. — Видно, ноги-то не держатъ!

— Батюшка! да я хмѣльного въ ротъ не беру!.. Видитъ Богъ, не беру!

— Добро, добро!—сказалъ поддьякъ.—Ну, говори: стоишь ты у стѣнки...

— Вотъ они, батюшка, ко мнѣ и подошли, да ни съ того, ни съ другого—и ну ко мнѣ придираться:

что, дескать, ты тутъ стоишь?—Да такъ, молъ, стою!—Ты, дескать, воръ, высматриваешь, какъ бы что стянуть!..—Да и ну меня по скуламъ!.. Сбили съ ногъ, вытащили мошну съ деньжонками...

— Не слушай, Ануфрій Трифонычъ, — прервалъ одинъ изъ земскихъ ярыжекъ.—Онъ вретъ; мы его пальцемъ не тронули, а, видно, онъ самъ съ пьяна гдѣ-нибудь рожей-то на уголъ наткнулся.

— Не тронули!—повторилъ мужикъ. Бога вы не боитесь!.. Посмотрите-ка на мои глаза!

— Что глаза?—прервалъ поддьякъ. — Глаза какъ глаза! заплыли съ перепоя--вотъ и все!

— Съ какого перепоя, батюшка?.. Я и по праздникамъ-то вина не пью.

— Не пьешь... да ты и теперь еле живъ—пьяница этакій!.. Алексѣй Пахомычъ!—продолжалъ поддьякъ, обращаясь къ огнищанину:—ну, посмотри, хмѣленъ ли онъ?

— Какой хмѣленъ!—сказалъ огнищанинъ;—лыкомъ не вяжетъ!.. Бутузъ, подойди-ка къ нему поближе... Ну, что?

— Фу ты, батюшки!—промолвилъ земскій ярыжка, наморщивъ рожу.—Да отъ него, какъ отъ бочки, такъ винищемъ и несетъ!

Мужикъ заревѣлъ:—Господи Боже мой! — говорилъ онъ, всхлипывая. — Вотъ грѣхъ какой! Ни за что ни про что избили — да я же виноватъ! — Кормилецъ!.. отецъ родной!.. да вели мнѣ хоть деньжонки-то отдать!

— Ахъ, ты дуракъ этакій! — подхватилъ огнищанинъ.—Да почему ты знаешь, кто твои деньги взялъ? На улицѣ народу-то много: какъ валяешься пьяный, такъ тебя всякій прохожій оберетъ.

— Пустите, пустите!—раздался въ передней комнатѣ женскій голосъ.—Я дойду и до вашего старшаго, что вы, въ самомъ дѣлѣ!.. Иль на васъ управы нѣтъ?

— Кто тамъ это кричитъ?—спросилъ поддьякъ.

— Я, батюшка! — сказала толстая пожилая горожанка, входя въ комнату.

— Что ты, голубушка?

— А вотъ что, кормилецъ: управы прошу... дневной грабежъ!..

— Что ты это мелешь?

— Нѣтъ, не мелю!.. Этотъ парень мой батракъ...

— Такъ чтожъ?

— А то, что его избили и ограбили вотъ эти озорники.

— Врешь ты, дура! Они подняли его пьянаго на улицѣ.

— Пьянаго?.. Что ты, батюшка, перекрестись! Да онъ вина-то сродясь не пивалъ!

— Такъ, видно, сегодня въ первый разъ хлебнулъ,— сказалъ одинъ изъ ярыжекъ.

— Неправда!.. Моя работница стояла у воротъ и все видѣла. — Вотъ что, батюшка, — продолжала старуха: — этотъ земскій ярыжка на меня злится: въ прошлый праздникъ я ему ничего не дала, такъ онъ и хотѣлъ выместить на моемъ работникѣ.

— Ахъ ты, разбойница!—вскричалъ поддьякъ.—Да какъ ты смѣешь такія рѣчи говорить?..

— Постой-ка, голубушка!—сказалъ огнищанинъ.— Вѣдь ты держишь Мещевское подворье?

— Я, батюшка!

— Заявляли ли тебѣ наказъ боярина нашего князя Михайлы Никитича Львова, чтобъ мести каждый день улицу передъ домомъ—а?

— Заявляли.

— Такъ чтожъ ты не исполняешь этого приказа? Вотъ ужъ четвертый день, Апуфрій Трифонычъ, не могу добиться; самъ заходилъ, — не слушаетъ, да и только!

— Помилуй, батюшка: вѣдь всю прошлую недѣлю дождикъ такъ и лилъ, грязь по колѣно—чего тутъ мести?

— Чего мести? — заревѣлъ поддьякъ. — Ахъ ты бунтовщица этакая!.. Сказано, мести, такъ мети!

— Да она никогда не мететъ,—подхватилъ огнищанинъ.—Всѣ сосѣди жалуются.

— Сосѣди! —повторила старуха.—Ну, такъ я всю же правду скажу. У меня, какъ просохнетъ передъ домомъ, такъ пылинки не найдешь; а вотъ мой сосѣдъ, Михей Бутрюмовъ, у него и метлы-то въ заводѣ нѣтъ, а все съ рукъ сходитъ—и не диво: онъ къ твоей милости каждый праздникъ съ поклономъ ходитъ.

— Эге!—вскричалъ поддьякъ:—извѣтъ!.. доносъ въ лихоимствѣ!.. О, старуха! да это дѣло не шуточное!.. Алексѣй Пахомычъ! садись-ка, братъ, да пиши, а я порядкомъ ее допрошу.

— Что ты, что ты, кормилецъ! — вскричала старуха испуганнымъ голосомъ.—Какой извѣтъ?.. Я это... такъ—къ слову молвила.

— Къ слову?.. Вотъ мы тебѣ дадимъ слово!.. Пиши: такого-то мѣсяца и числа, земскіе ярыжки, Ивашка Кучумовъ и Антошка Шелыганъ, подняли на улицѣ въ Зарядьи пьянаго батрака съ Мѣщевскаго подворья. Хозяйка батрака... Какъ тебя зовутъ?..

— Батюшка, помилуй!—завопила старуха, повалясь въ ноги.—Сглуповала, отецъ мой, сглуповала!

— Чего тутъ миловать! Говори, какъ тебя зовутъ?..

— Ѳедосья Архипова.

— Ѳедосья Архипова... хорошо!.. Женка Ѳедосья Архипова... Да ты что? замужняя, вдова или дѣвка?

— Горькая вдова, батюшка, сиротинка горемычная!... Взмилуйся, отецъ родной! не погуби!.. Баба я старая, глупая!..

— А вотъ какъ тебя вспрыснутъ шелепами, да посидишь въ острогѣ, такъ будешь умнѣе!.. Ну, пиши: хозяйка вышесказаннаго батрака, вдова Ѳедосья Архипова, съ великимъ шумомъ и буйствомъ и насиліемъ ворвалась въ земскій приказъ, и учла она, вышереченная вдова Ѳедосья Архипова, говорить непригожія рѣчи и разными хульными словами позорить честь не токмо земскаго ярыжка Шелыгана, но и начальнаго человѣка, огнищанина Алексѣя Подпекалова, якобы оный, Подпекаловъ, предаваясь злому лихоимству и хищенію...

— Батюшка, я этого не говорила!—вскричала ста-

руха. — Видитъ Богъ, не говорила!.. Къ присягѣ пойду...

— Пиши, Алексѣй Пахомычъ, пиши:

— Послушай, Ануфрій Трифонычъ,—сказалъ Левшинъ, подойдя къ столу.—Мнѣ надо съ тобой словечко перемолвить.

— Ну что, молодецъ?—спросилъ поддьякъ, отойдя къ сторонѣ съ Левшинымъ.

— А вотъ что: денегъ у меня нѣтъ...

— Знаю, любезный, знаю!

— А есть золотой перстень—вотъ посмотри.

— Да!.. перстенекъ хоть куда.

— Возьми и носи его на здоровье, только дозволь мнѣ поговорить съ этой старухою и отпусти ее домой вмѣстѣ съ работникомъ.

— Нельзя, любезный, право, нельзя! Какъ дашь повадку, такъ послѣ съ ними и не сладишь.

— Такъ ты не берешь?

— Какъ бы не взять... Да, право, надобно поучить уму-разуму эту старую коргу—выскочка этакая!

— Ну, полно!.. Надѣнь-ка перстень на палецъ...

— Дай-ка, дай!.. Смотри, пожалуй!.. какъ по мнѣ дѣланъ!.. И онъ, точно, золотой?

— Я не стану тебя обманывать.

— Ну, что съ тобой дѣлать! быть по-твоему.

Поддьякъ подошелъ къ огнищанину, пошептался съ нимъ и сказалъ старухѣ, которая дрожкомъ дрожала и едва держалась отъ страха на ногахъ:

— Что, голубушка, присмирѣла небось? Будешь помнить?..

— Буду, батюшка, буду!

— И напредки не забывай: выше лба уши не растутъ

— Такъ, батюшка, такъ!

— На носу себѣ заруби!..

— Зарублю, батюшка, зарублю!

— То-то-же!.. Ну, ужъ такъ и быть, Богъ тебя проститъ!.. Ступай домой съ своимъ батракомъ, — да смотри, старуха, впередъ всегда мети передъ домомъ!

— Кормилецъ! да я и такъ каждый день...

— Опять заговорила!.. Ужъ коли сказано, что не метешь—такъ не метешь! Да смотри за работникомъ, чтобъ онъ впередъ по улицамъ-то пьяный не валялся.

— Батюшка! дѣло прошлое, а вѣдь онъ человѣкъ терезвый,—пожарай меня Господь...

— Эка назойливая баба!—вскричалъ поддьякъ.—Ты у ней хоть колъ на головѣ теши, а она все свое!.. Ужъ коли въ земскомъ приказѣ по обыску окажется, что ты и сама пьяна, такъ не смѣй поперечить—дура этакая!.. Безъ вины виновата!

— Слышу, батюшка, слышу!

— То-то слышу!.. Смотри, попадешься въ другой разъ... да и теперь... кланяйся вотъ этому молодцу. Кабы не онъ упросилъ...

— Ахъ, Господи!—вскричала старуха.—Да это никакъ... Ну, такъ и есть!.. Ахъ, ты мой ясный соколъ!

— Да, бабушка, это я. Поди-ка сюда на минутку.

Левшинъ отвелъ ее къ сторонѣ и сказалъ:

— Ну что, Архипьевна, чай, твои жильцы, сосѣди-то мои, больно перепугались?

— Ахъ, батюшка! какихъ страстей я-то натерпѣлась!.. Думаю, убьютъ у меня въ дому человѣка!

— А мои сосѣди что?

— Вѣдь я тебя все у окна дожидалась. Хотѣла сказать, что на дворѣ-то засада; кликала тебя, да ты, какъ шальной, такъ на дворъ и пробѣжалъ.

— Не о томъ рѣчь, Архипьевна. Ты мнѣ скажи, что мои сосѣди?..

— Да что, батюшка, видно, больно переполошились: лишь только тебя со двора свели, такъ жилецъ-то мигомъ собрался...

— Собрался!.. Куда?

— А кто его знаетъ! Въ дорогу, батюшка.

Левшинъ поблѣднѣлъ. — Въ дорогу! — повторилъ онъ.—Кто?.. Вотъ тотъ постоялецъ?

— Ну, да! у котораго дочка-то жила рядомъ съ

тобою, въ свѣтелкѣ. Батюшки, какъ заторопились!.. Запрягли двѣ тройки, расплатились со мной, да и поминай, какъ звали!

— Такъ они уѣхали?

— Уѣхали, батюшка.

— Послушай, Архипьевна: ты вѣрно знаешь, кто такой этотъ проѣзжій?

— Нѣтъ, родимый, видитъ Богъ не знаю!

— Да развѣ ты не могла спросить у работницы?

— Пыталась, да, видно, заказано: не говоритъ да и только... На что, дескать, тебѣ, Архипьевна, знать, кто твои жильцы? Платили бы они только исправно за постой.

— И ты не знаешь также, куда они поѣхали?

— Не вѣдаю, батюшка!.. Ну, прощенья просимъ, мой отецъ!.. Охъ, скорѣй бы отсюда убраться!.. Спасибо тебѣ, что ты меня старуху изъ бѣды выручилъ!.. Не даромъ, батюшка, говорится: «языкъ мой, врагъ мой!» Эка я дура, подумаешь, пришла управы просить!.. Вотъ то-то и есть: вѣкъ прожила, а ума не нажила!.. Ну, дай Богъ тебѣ добраго здоровья!.. Счастливо оставаться!

Вслѣдъ за старухою и ея работникомъ вышли всѣ изъ покоя, и Левшинъ остался попрежнему одинъ съ поддьякомъ, который принялся разсматривать съ большимъ вниманіемъ перстень. Онъ снялъ его съ пальца, положилъ на ладонь, привѣсился и сказалъ вполголоса:

— Что за прахъ такой!.. Легокъ, больно легокъ!.. А кажись не дутый!.. Ну, молодецъ, поддѣлъ ты меня!.. Вѣдь перстень-то не золотой!..

— Мнѣ однакожъ давали за него пятнадцать рублей,—отвѣчалъ Левшинъ.

— Пятнадцать!.. Что больно много! Кабы мнѣ дали за него пять, такъ я бы въ ножки поклонился!.. Ну, да дѣлать нечего: что съ воза упало, то пропало!.. А только если онъ мѣдный, такъ это, любезный, на твоей совѣсти останется. Вѣдь мы не жиды: намъ грѣшно другъ друга обманывать.

— Да кто тебя обманываетъ?—прервалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ.—Вольно жъ тебѣ не вѣрить!

— Ну, ну, не гнѣвись!—молвилъ поддьякъ, принимаясь опять за письмо.—И то сказать: даровому коню въ зубы не смотрятъ.

Левшинъ сѣлъ на скамью и предался снова своимъ грустнымъ размышленіямъ. И такъ все кончено! Сбылись его предчувствія: она уѣхала изъ Москвы!.. Онъ навсегда разстался съ нею... О, конечно навсегда... Гдѣ станетъ онъ искать ее?.. И въ Москвѣ не найдешь того, кого не знаешь по имени; а не въ Москвѣ чета наша матушка святая Русь: широко она раскинулась; въ ней одной полтретья всего міра Божьяго и, куда ни поѣдешь, вездѣ люди живутъ.

— Нѣтъ!—думалъ Левшинъ,—не судилъ мнѣ Господь быть счастливымъ? Сиротой я живу—сиротой и умереть придется!.. Я знаю, Колобовъ сказалъ бы мнѣ: «Что ты, братъ! развѣ одна звѣзда на небѣ свѣтитъ? Мало ли красныхъ дѣвицъ на Руси живетъ! Приглянулась тебѣ одна—погоди: приглянется другая!—Нѣтъ, коли не она моя суженая, такъ не обходить мнѣ налоя рука въ руку съ сердечнымъ другомъ, не мѣняться съ нимъ кольцами?.. Видно моя суженая-ряженая—мать сыра земля. Много звѣздъ на небѣ... да, много—не перечтешь... да солнышко-то одно!.. И то слава Богу—поглядѣлъ я на нея, полюбовался... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! лучше бъ вовсе ея не видать!..»

На дворѣ стало смеркаться; поддьякъ прибралъ къ сторонѣ свои бумаги, вынулъ изъ поставца сулею съ травникомъ, ковригу хлѣба, студень, горшокъ съ гречневой кашей, накрылъ столъ ширинкою и расположился на немъ ужинать вмѣстѣ съ огнищаниномъ Разумѣется, онъ пригласилъ также и своего арестанта; но Левшинъ отказался. Когда поддьякъ и огнищанинъ опорожнили по нѣскольку чарокъ травника, то у нихъ пошла такая разгульная рѣчь, побасенки, которыя они принялись разсказывать другъ другу, были до такой степени отвратительны и развратны, что Левшинъ не

могъ скрыть своего омерзенія; онъ легъ на лавку, повернулся къ нимъ спиною и притворился спящимъ. Часа полтора продолжалась эта пытка, наконецъ полупьяные собесѣдники разошлись. Поддьякъ скинулъ съ себя верхнее платье, пробормоталъ молитву, отвѣсилъ нѣсколько земныхъ поклоновъ—и лишь только повалился на скамью, то въ ту же минуту заснулъ мертвымъ сномъ. Левшинъ не скоро послѣдовалъ его примѣру. Онъ также помолился—и, вѣроятно, молитва его была усерднѣе; но глаза его не смыкались почти во всю ночь. Онъ заснулъ передъ самымъ разсвѣтомъ или, лучше сказать, задремалъ, потому что этотъ сонъ не мѣшалъ ему слышать безпрестанный стукъ, похожій на работу плотниковъ, которые что-то строили въ близкомъ разстояніи отъ земскаго приказа.

VI.

На восточной сторонѣ небосклона начинали уже тухнуть звѣзды; но увѣнчанный своими заборами, высокій кремлевскій холмъ былъ еще покрытъ ночною тѣнью. Внизу, у его подошвы, какъ сѣдое море, волновался утренній туманъ надъ обширнымъ Замоскворѣчьемъ. Все было погружено въ глубокій сонъ. Но вотъ, темноголубые небеса начинаютъ становиться прозрачнѣе; вотъ осыпались искрами и засверкали кресты высокихъ колоколенъ; вотъ облились свѣтомъ и позлащенныя главы церквей; народъ зашевелился по улицамъ. Москва проснулась.

Межъ тѣмъ тревожный сонъ Левшина все еще продолжался; этотъ ночной стукъ, который онъ слышалъ въ своемъ забытьи, превратился въ какой-то невнятный говоръ людей; потомъ началось громкое чтеніе, вслѣдъ за нимъ послышались стоны, плачъ и рыданія, а тамъ какъ будто бы упало что-то тяжелое; раздался глухой вопль—и все затихло. Во все это время Левшинъ не спалъ, а находился въ томъ полу-

сознательномъ состояніи, когда мы сквозь сонъ слышимъ близкіе къ намъ звуки и, хотя не очень ясно, однакожъ различаемъ окружающіе насъ предметы, но въ то же самое время грезимъ и видимъ сны, въ которыхъ, разумѣется, ложь и истина безпрестанно смѣняютъ другъ друга. Левшинъ слышалъ очень ясно этотъ говоръ, чтеніе, плачъ и вопли; полузакрытымъ глазамъ его представлялись, какъ будто бы въ туманѣ, низкіе своды земскаго приказа, его тяжелыя стѣны, окно съ желѣзной рѣшеткою; онъ видѣлъ лампаду, которая висѣла передъ иконою—и межъ тѣмъ ему казалось, что онъ стоитъ въ церкви, гдѣ, при тускломъ свѣтѣ погребальныхъ свѣчей, отпѣваютъ покойника; что священникъ читаетъ разрѣшительную молитву; что родные и друзья усопшаго лобызаютъ его съ плачемъ и рыданіемъ; что вдругъ тяжелая гробовая крыша съ громкимъ стукомъ падаетъ на церковный помостъ—и среди общаго мертваго молчанія раздается удушливый вопль покойника. Онъ медленно подымается изъ гроба. Левшинъ слышитъ вокругъ себя какой-то непонятный шопотъ; всѣ тѣснятся, спѣшатъ къ церковнымъ дверямъ, а онъ стоитъ, какъ прикованный, и не можетъ пошевелиться ни однимъ членомъ. Вотъ тухнутъ всѣ свѣчи, но вмѣсто темноты разливается кругомъ кровавый свѣтъ, похожій на зарево отдаленнаго пожара; церковный помостъ начинаетъ колебаться. По всѣмъ угламъ, вдоль стѣнъ, вездѣ подымаются надгробныя плиты и сотни мертвецовъ въ бѣлыхъ саванахъ начинаютъ показываться изъ своихъ могилъ. Покойникъ окидываетъ бездушнымъ ледянымъ взоромъ всю церковь. Глаза его встрѣчаются съ глазами Левшина: онъ подымаетъ свою изсохшую руку, указываетъ на него пальцемъ—и вотъ вся толпа мертвецовъ, заскрежетавъ зубами, бросается прямо къ нему; одинъ изъ нихъ хватаетъ его за грудь... Онъ вскрикиваетъ и въ ту же самую минуту подлѣ него раздается знакомый голосъ: «Что ты, что ты, молодецъ?.. Это я!»

Левшинъ очнулся и вскочилъ.

— Экъ ты какъ заспался!—продолжалъ поддьякъ.— Не прогнѣвайся, раненько я тебя бужу, да дѣлать нечего; меня—прахъ бы ихъ взялъ—еще ранѣе твоего разбудили, а теперь-то самый лучшій сонъ и есть!.. За тобой, молодецъ, пришли отъ князя Ивана Андреевича.

— Отъ князя Хованскаго?

— Ну, да! Тамъ въ прихожей дожидается тебя пятидесятникъ съ двумя стрѣльцами! Пойдемъ, любезный!

Поддьякъ сдалъ пятидесятнику своего арестанта, и когда вышелъ вслѣдъ за нимъ на крыльцо, то сказалъ: «Взгляни-ка, братъ, сюда налѣво!» Левшинъ обернулся. Почти рядомъ съ земскимъ приказомъ, на высокихъ подмосткахъ, лежалъ трупъ человѣка, одѣтаго въ черное платье; подлѣ, на окровавленной плахѣ, стояла отрубленная голова его. Это блѣдное, обезображенное лицо, на которомъ замерло судорожное выраженіе нестерпимой муки и отчаянія, было до того ужасно, что Левшинъ невольно отворотился.

— Кто это?—спросилъ онъ вполголоса.

— Да вотъ этотъ разстрига, что такъ вчера храбровалъ,—отвѣчалъ поддьякъ.

— Никита?

— Да! Никита Пустосвятъ.

«Боже мой!—подумалъ Левшинъ,—давно ли этотъ мятежникъ, окруженный безчисленной толпою народа, шелъ въ Кремль, какъ торжествующій побѣдитель; а теперь!.. Куда дѣвались всѣ его защитники?.. Онъ умеръ одинъ—и трупъ его, выставленный на позоръ, брошенъ, покинутъ всѣми!»

Въ самомъ дѣлѣ, вся площадь была пуста; въ нѣсколькихъ шагахъ отъ мѣста казни стояли вооруженные стрѣльцы; по временамъ останавливались прохожіе и, взглянувъ издалека на казненнаго преступника, продолжали спокойно идти своей дорогою. Одинъ только нищій въ изорванномъ рубищѣ, съ распущенными по

плечамъ волосами и непокрытой головою, стоялъ на подмосткахъ подлѣ казненнаго преступника; склонивъ надъ нимъ свою сѣдую голову, онъ тихимъ голосомъ творилъ молитву и слезы его капали на окровавленный трупъ. Этотъ нищій былъ Гриша.

— Ну, прощай, любезный!—сказалъ поддьякъ, облобызавъ Левшина.—Дай Господи, чтобъ все кончилось благополучно!.. Жаль мнѣ тебя—видитъ Богъ жаль?.. Парень ты добрый, а коли правду говорятъ, что ты измѣнникъ...

— Мнѣ нечего бояться,—прервалъ Левшинъ:—совѣсть моя чиста.

— Совѣсть?.. Что совѣсть, любезный... Коли у тебя другой заступы нѣтъ, такъ дѣло-то плоховато!.. Конечно, Богъ не безъ милости,—почему знать, можетъ статься пожалѣютъ твоей молодости... только смотри, любезный, коли тебя не казнятъ, такъ не забудь, заверни опять сюда.

— Зачѣмъ?

— А вотъ зачѣмъ: ты говорилъ, что тебѣ давали за перстень пятнадцать рублей; ну, хочешь ли, другъ сердечный... такъ и быть! я тебѣ этотъ перстень за четырнадцать рублей уступлю?

— Хорошо, хорошо! — сказалъ Левшинъ, уходя вслѣдъ за своими провожатыми. Они вышли изъ Китай-города Каретными воротами и повернули налѣво.

— Куда вы меня ведете?—спросилъ Левшинъ.

— Куда велѣно,—отвѣчалъ пятидесятникъ.

— Да вѣдь, кажется, домъ князя Ивана Андреевича Хованскаго не въ этой сторонѣ?

— Вѣстимо, не въ этой. Онъ живетъ на Знаменкѣ.

— Такъ мы идемъ не къ нему?

— Нѣтъ.

— Куда-же?

— А вотъ какъ придешь, такъ узнаешь.

Левшинъ замолчалъ. Дойдя до того мѣста, гдѣ рѣчка Неглинная впадаетъ въ Москву-рѣку, они повернули направо, и когда, миновавъ церковь Илья Обы-

деннаго и Зачатейскій монастырь, переправились Крымскимъ бродомъ на ту сторону рѣки, то Левшину не трудно было догадаться, что его ведутъ къ боярину Кириллѣ Андреевичу Буйносову: онъ жилъ недалеко отъ Калужскихъ воротъ и, вѣроятно, одинъ изъ всѣхъ ближнихъ бояръ не имѣлъ дома въ Кремлѣ, или, по-крайней-мѣрѣ, въ его окрестностяхъ. Подходя къ этимъ брусянымъ хоромамъ, которыя стояли въ глубинѣ обширнаго двора, Левшинъ увидѣлъ, что у воротъ дожидается дворецкій боярина Буйносова. Пятидесятникъ сдалъ ему съ-рукъ-въ-руки Левшина и отправился со своими стрѣльцами въ обратный путь.

— Милости просимъ, Дмитрій Афанасьичъ!—сказалъ дворецкій, отпирая калитку.—Боринъ давно ужъ тебя дожидается.—Всѣ твои пожитки—продолжалъ онъ, идучи съ Левшинымъ по двору—перевезли сегодня къ намъ. Ужъ не изволь опасаться, батюшка: сиряго пороха не пропадетъ!.. У насъ, слава Богу, кладовыхъ довольно.

— Да это, кажется, Ферапонтъ?—спросилъ Левшинъ.

— Вонъ что тамъ у конюшни держитъ двухъ осѣдланныхъ коней?.. Да, батюшка, это твой служитель.

Войдя по широкому крыльцу въ обширныя сѣни, въ которыхъ толпилось человѣкъ двадцать боярскихъ холопей, дворецкій отворилъ двери въ первый покой и сказалъ:

— Пожалуй сюда, батюшка! Я пойду, доложу о тебѣ боярину; а ты побесѣдуй покамѣстъ съ его милостію, — прибавилъ онъ, указывая на Колобова, который кинулся на шею къ своему пріятелю и закричалъ:

— Здравствуй, Дмитрій Афанасьичъ! Ну, слава тебѣ, Господи! Не чаялъ я видѣть тебя живымъ.

— И ты здѣсь, Артемій Никифоровичъ?

— Какъ же! Ты помнишь, мы вчера съ тобой уговорились придти сюда попозднѣе вечеркомъ?.. Вотъ я этакъ въ сумерки и отправился за тобою на Мещов-

ское подворье; лишь только дошелъ до Зарядья, глядь — навстрѣчу мнѣ Архипьевна бѣжитъ бѣгомъ, шушунъ на распашку — въ попыхахъ. — «Куда бабушка?—«Въ земскій приказъ».—«Зачѣмъ?»—«Управы просить!.. Душегубцы этакіе! разбойники!.. кнутобойцы!..»—«Да что такое?»—«Ограбили, батюшка, прибили до полусмерти моего Ѳедотку!»—«Да кто?»—«А вотъ эти живодеры, кровопійцы, земскіе ярыжки!.. Ни за что, ни про что изувѣчили у меня парня!.. Да его же, за то, что онъ кричалъ, въ земскій приказъ оттащили... воры этакіе, висѣльники!..» — «А я, Архипьевна, иду къ тебѣ на подворье».—«Ужъ не къ твоему ли крестовому братцу?» — «Къ нему».—«Ахъ, родной ты мой, да вѣдь его захватили стрѣльцы?»—«Какъ такъ?»—«А вотъ какъ: пришли прежде его ко мнѣ на подворье, засѣли по угламъ и какъ твой крестовый братецъ вошелъ на дворъ—они его и цапъ-царапъ!»—«И увели съ собой?»—«Увели батюшка!.. Ну, ужъ перепугалась я!.. Экій денекъ! и стрѣльцы и земскіе ярыжки!.. Да съ ними-то я справлюсь! Слыханое ли дѣло: дневной грабежъ!.. Нѣтъ, батюшка, я ихъ доѣду!.. Ударю на нихъ челомъ боярину князю Львову; а коли онъ суда не дастъ, такъ я закричу слово и дѣло!.. до царей дойду!.. Прощай, батюшка, — прощай!»—Я было хотѣлъ ее поразспросить хорошенько—куда! Моя старуха пустилась благимъ матомъ по улицѣ, а я кинулся къ боярину Кириллѣ Андреевичу, разсказалъ ему все; онъ отправился къ князю Хованскому, а мнѣ приказалъ перевести сюда всѣ твои пожитки. Ну, братъ Левшинъ, истинно Господь тебя помиловалъ! Вчера у насъ въ слободѣ одинъ молодецъ, сотникъ полку Лопухина, сболтнулъ по-твоему, такъ его тутъ же уходили. Нѣтъ, братъ, что Богъ дастъ впередъ, а теперь держи ухо востро!..

— Дмитрій Афанасьичъ! пожалуй, батюшка, къ боярину!—сказалъ дворецкій, выходя изъ сосѣдняго покоя.

Въ этомъ покоѣ, въ которомъ обыкновенно хозяинъ *трапезничалъ* со своими гостями, вся домашняя утварь

состояла изъ большого дубоваго стола, лавокъ, покрытыхъ коврами, и двухъ огромныхъ поставцовъ, наполненныхъ серебряною посудою. Разумѣется, въ переднемъ углу стояли на полкѣ святыя иконы въ великолѣпныхъ окладахъ; но голыя стѣны комнаты не были ничѣмъ украшены, и только на одной изъ нихъ висѣлъ, весьма дурно написанный масляными красками, портретъ царя Алексѣя Михайловича. Пройдя этой комнатой, Левшинъ вошелъ въ угольный покой, убранный по тогдашнему времени весьма роскошно: стѣны въ немъ были обтянуты кожаными позолоченными обоями, которыя вывозились тогда изъ Голландіи, а полъ обитъ краснымъ сукномъ. Въ одномъ углу подымалась до самаго потолка, росписанная крупными узорами, изразцовая печь, на ножкахъ или столбикахъ, также изразцовыхъ. Вдоль стѣнъ стояло нѣсколько стульевъ съ высокими спинками; посреди комнаты, за столомъ, сидѣлъ въ креслахъ, обитыхъ малиновымъ рытымъ бархатомъ, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ; на немъ былъ шелковый *ходильный зипунъ*, а сверхъ него камлотовый *опашень*. Это былъ боярин Кирилла Андреевичъ Буйносовъ. Несмотря на грустное выраженіе его взоровъ, которые изобличали какую то глубокую душевную скорбь, онъ вовсе не казался ни угрюмымъ, не суровымъ. Его блѣдное и худое лицо, на которомъ были еще замѣтны остатки прежней красоты, исполнено было благородства, безъ всякой примѣси этой смѣшной боярской спеси, которая и въ старину, и въ нашъ вѣкъ, и вѣроятно въ будущія времена, всегда останется вѣрнымъ признакомъ или грубаго невѣжества, или природной глупости, слегка прикрытой *европейскимъ* просвѣщеніемъ.

— Здравствуй, Дмитрій Аѳанасьичъ! — сказалъ ласковымъ голосомъ Буйносовъ.—Садись, голубчикъ!

Левшинъ съ низкимъ поклономъ отказался отъ предложенной чести.

— Ну, полно, безъ чиновъ!.. Садись, любезный!.. Ты, я чаю, больно умаялся!

— Я не знаю, какъ мнѣ тебя благодарить, боярин...—промолвилъ Левшинъ.

— Что я, Дмитрій Аѳанасьичъ? — прервалъ Буйносовъ.—Я тутъ не причемъ!.. Благодари, во-первыхъ, Бога, а во вторыхъ, князя Ивана Хованскаго. Что я хлопоталъ о тебѣ, такъ это не большое диво: ты сынъ задушевнаго моего пріятеля — дай Богъ ему царство небесное!.. И тебя самого я люблю, почитай, какъ родного, а все бы мнѣ не удалось вырвать тебя изъ злодѣйскихъ рукъ, кабы не князь Иванъ Андреевичъ. Да и ты, молодецъ, охота же тебѣ дразнить этихъ бѣшеныхъ собакъ!

— Чтожъ дѣлать, боринъ, не утерпѣлъ... Когда я услышалъ и увидѣлъ самъ, до чего дошло буйство этихъ богоотступныхъ мятежниковъ, такъ сердце во мнѣ заговорило.

— Сердце?.. Да неужели ты думаешь, что мы, старики, смотримъ на это, какъ на потѣху?.. Нѣтъ, Дмитрій Аѳанасьичъ, и наше сердце обливается кровью, и мы, называя это мятежное войско православнымъ и христолюбивымъ, скорбимъ и сокрушаемся душою; да дѣлать-то нечего: пришлось мирволить, коли сила не беретъ.

— Власть твоя, боринъ, а по мнѣ лучше погибнуть, чѣмъ мирволить злодѣямъ. Вѣдь за правду умереть не бѣда.

— Кто говоритъ... Дай Господи и мнѣ умереть за правду, лишь только бы смерть-то моя пошла въ прокъ; а коли я умру только для того, чтобъ убавилось число вѣрныхъ слугъ царскихъ, которыхъ и безъ того немного остается, такъ что въ этомъ толку? Князья Долгорукіе, Ромодановскіе, боринъ Матвѣевъ— попытались стать грудью противъ крамольниковъ — чтожъ вышло?.. Они погибли, а мятежники унялись ли злодѣйствовать?.. Нѣтъ: они еще больше ожесточились. Когда дикій звѣрь сорвется съ цѣпи, да отвѣдаетъ крови человѣческой, такъ не присмирѣетъ, а сдѣлается еще злѣе.

— Такъ чтожъ, боярин, неужели давать волю этому звѣрю?..

— Коли сила есть, такъ не давай; а коли тебѣ одолѣть его нельзя, такъ не лучше ли до поры до времени прикармливать его, да втихомолку обкладывать тенетами, чѣмъ дразнить и гибнуть понапрасну?.. Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ! и я былъ молодъ, какъ ты, и у меня такъ же кровь кипѣла въ жилахъ — да уходился! Не даромъ говорятъ: вѣкъ пережить, не поле перейдти; чего не увидишь, чего не услышишь, чего не натерпишься!.. А горя-то горя!..—промолвилъ боярин, и на глазахъ его навернулись слезы. — Да, Дмитрій Афанасьичъ! — продолжалъ онъ, — и тебѣ грустно жить въ одиночествѣ; но ты еще молодъ: Богъ дастъ, у тебя будетъ своя семья, добрая жена, милыя дѣти; а каково быть круглымъ сиротою тому, кто смотритъ ужъ въ могилу?.. Какъ подумаешь: умереть на рукахъ челядинцовъ, не оставить послѣ себя ни роду, ни племени... Да что говорить объ этомъ! Коли Господь послалъ крестъ, такъ неси его безъ ропота и покоряйся... Поговоримъ-ка лучше о другомъ. Тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ, нельзя въ Москвѣ оставаться, и чѣмъ скорѣе ты отсюда уѣдешь, тѣмъ лучше. Я на будущей недѣлѣ хочу отправиться въ мою Брянскую вотчину, такъ возьму тебя съ собою, а теперь поѣзжай въ мою подмосковную; она на Серпуховской дорогѣ и только въ пяти верстахъ отъ Коломенскаго, да зато въ сторонѣ, кругомъ лѣсная дача, проѣзжей большой дороги нѣтъ, такъ ты покамѣстъ можешь тамъ жить безъ всякаго опасенія. Только смотри—въ Коломенское ни ногой! Туда часто изволитъ наѣзжать государь Петръ Алексѣевичъ, такъ иногда бываетъ очень людно. Неравно еще съ кѣмъ ни есть повстрѣчаешься, а на первыхъ порахъ не худо бы, чтобъ твои сослуживцы вовсе о тебѣ забыли: пусть себѣ думаютъ, что ты безъ вѣсти пропалъ. Можетъ статься, денька черезъ четыре я съ тобой увижусь, а теперь прощай, любезный!.. Мѣшкать нечего. Съ тобой мо-

ѣдетъ твой слуга и одинъ изъ моихъ домашнихъ. Ну, съ Богомъ, Дмитрій Афанасьичъ,—отправляйся!

Когда Левшинъ откланялся боярину и вышелъ на дворъ, то увидѣлъ, что все уже готово къ его отъѣзду: у воротъ дожидался боярскій вершникъ, а у крыльца стоялъ Ферапонтъ, держа подъ уздцы двухъ осѣдланныхъ коней. Въ одномъ изъ нихъ Левшинъ узналъ своего аргамака. Колобовъ былъ тутъ-же. Онъ смотрѣлъ съ нѣмымъ восторгомъ на Султана. Этотъ гордый персидскій конь, почуя своего сѣдока, заходилъ ходуномъ, заплясалъ и началъ грызть свои, покрытыя пѣною, удила.

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Колобовъ,—достался тебѣ конь! Я еще его подъ сѣдломъ-то не видѣлъ. Вотъ ужъ подлинно всѣмъ взялъ!.. Огонь, а не лошадь!.. Жилки всѣ играютъ!.. Хорошъ и тотъ, котораго ты мнѣ пожаловалъ, а все не то... Ну, прощай, другъ сердечный!.. Когда-то приведетъ Господь опять увидѣться?

— И, батюшка! — сказалъ Ферапонтъ, подводя къ Левшину Султана:—гора съ горой не сойдется, а человѣку съ человѣкомъ какъ не сойтись!

— Бояринъ не сказалъ мнѣ, куда тебя отправляетъ,—продолжалъ Колобовъ,—а намекнулъ только, что врядъ ли ты скоро въ Москву вернешься. Ну, да Богъ милостивъ, увидимся когда-нибудь.

Левшинъ обнялъ Колобова, вскочилъ на коня и черезъ нѣсколько минутъ доѣхалъ до земляного вала, то-есть нынѣшней Садовой улицы. Выѣхавъ Калужскими воротами за городъ, онъ, по старинному обычаю, снялъ шапку и помолился на соборы. Ферапонтъ послѣдовалъ его примѣру, перекрестился и сказалъ: «Прощай, матушка Москва бѣлокаменная! Не долго мы въ тебѣ погостили! Слава тебѣ Господи, что я въ Кремлѣ побывалъ, а то бы не удалось и угодникамъ-то московскимъ поклониться!» Оставя въ правой рукѣ Калужскую дорогу, Левшинъ пустился по Серпуховской. Онъ не говорилъ ни слова, но душа его была

преисполнена грусти. Два дня тому назадъ онъ спѣшилъ возвратиться въ свой родимый городъ, а теперь бѣжитъ изъ него, какъ изгнанникъ. Онъ былъ въ Москвѣ и не успѣлъ даже сходить на могилу отца своего и матери. Привязанность къ родимой сторонѣ всегда становится сильнѣе, когда мы переживаемъ всѣхъ близкихъ нашему сердцу; намъ кажется, что мы еще не вовсе осиротѣли, если живемъ тамъ, гдѣ покоятся кости нашихъ кровныхъ и родныхъ, гдѣ мы родились, гдѣ встрѣчаемъ тѣхъ, съ которыми свыклись еще въ ребячествѣ; гдѣ все напоминаетъ намъ о прежней семейной жизни, о дѣтскихъ нашихъ радостяхъ... Покинуть это мѣсто, быть-можетъ, навсегда разстаться съ своей родимой стороною — о, конечно, это второе сиротство едва ли легче перваго!

Солнце было уже довольно высоко, когда наши путешественники, отъѣхавъ верстъ семь отъ Москвы, стали спускаться съ крутой горы. Левшинъ продолжалъ ѣхать молча, но спутники его давно разговаривали межъ собою. Боярскій челядинецъ, пожилой человѣкъ лѣтъ пятидесяти, узнавъ, что Ферапонтъ видѣлъ Москву только мимоѣздомъ, пустился въ росказни.

— Я голубчикъ,—говорилъ онъ, — старожилъ московскій и не только въ ней всякій закоулочекъ назову тебѣ по имени, да и что вокругъ-то ея, все знаю... Да вотъ, примѣромъ сказать, хоть это урочище: оно прозывается Котлы—и деревню также зовутъ—знаешь ли, любезный, что на этомъ самомъ мѣстѣ сожгли проклятаго самозванца Гришку Отрепьева?

— Живого?

— Нѣтъ, мертваго. Вотъ ужъ лѣтъ тридцать, какъ мнѣ это разсказывалъ мой дѣдушка — упокой Господи его душу! А онъ ужъ и тогда доживалъ седьмой десятокъ. Господи Боже мой, чего онъ не насмотрѣлся!.. и боярскихъ смутъ, и польскихъ погромовъ, и какъ ляхи завладѣли Москвою, какъ воевода князь Пожарскій бился съ ними на Лубянкѣ, какъ онъ послѣ, вмѣстѣ

съ Кузьмой Мининчемъ, привелъ изъ Понизовья православное войско подъ Москву; какъ ляхи отсиживались въ Кремлѣ, какъ наши, при помощи Божіей, ихъ одолѣли—все видѣлъ!.. Вотъ онъ-то мнѣ сказывалъ, что вывезли сюда окаянное тѣло Гришки Отрепьева, сожгли на кострѣ, потомъ собрали весь пепелъ, зарядили имъ пушку, да и шарахнули по вѣтру.

— А ради чего — спросилъ Ферапонтъ, — сожгли этого самозванца? Или ужъ такъ бояре присудили и царь указалъ?

— А вотъ ради чего, любезный. Онъ сначала лежалъ убитый трое сутокъ на пожарѣ...

— На пожарѣ?

— Спрѣчь на Красной площади: ее, братъ, въ старину этакъ называли. Во все это время, кругомъ въ околодкѣ, никому покоя не было: каждую ночь, вплоть до первыхъ пѣтуховъ, начнется, бывало, надъ нимъ такая бѣсовщина дѣяться, что всѣ и по домамъ то дрожкой дрожатъ: и въ бубны бьютъ, и въ сопѣлы играютъ, и шумъ, и гамъ, и свистъ!.. Вотъ стащили его въ убогій домъ за Яузскія ворота — и тамъ возня поднялась! Ночью всѣ мертвецы въ убогомъ домѣ повставали, да ну-ка пѣсни орать!.. Мало того: поднялись бури, вихри, всякая непогодица, и послѣ вешняго Николы выпалъ снѣгъ по колѣно. Вотъ бояре-то и призадумались. Доложили царю Василію Ивановичу, а царь Василій Ивановичъ, видя, что дѣло-то плохо, и указалъ его сжечь поодаль отъ Москвы.

— Вотъ что!.. Только правда ли это, любезный?

— Экій ты, братецъ, какой! Да развѣ ты не знаешь, что Гришка то Отрепьевъ былъ колдунъ и чернокнижникъ?

— Право?

— Какъ же!.. Вѣдь онъ и родную-то матушку царевича Дмитрія обморочилъ и боярину Басманову глаза отвелъ.

— Ну, это дѣло иное!.. Коли онъ былъ колдунъ, такъ не диво!

— Чтожъ ты думаешь? — продолжалъ разсказчикъ.—Гришку Отрепьева казнили и сожгли на кострѣ— кажись, чего бы еще?.. Такъ нѣтъ! Не прошло двухъ лѣтъ, какъ опять проявился такой же самозванецъ.— «Это, дескать, не меня сожгли... меня, дескать, хотѣли извести, да не удалось». Простой народъ сталъ къ нему приставать — пошла опять кутерьма: кто за него, кто за царя Василія Ивановича. Вотъ и этотъ самозванецъ подступилъ къ Москвѣ и долго стоялъ съ войскомъ въ подмосковномъ селѣ Тушинѣ. Покойный дѣдушка самъ туда ходилъ.

— Чтожъ это? — прервалъ Ферапонтъ. — Да коли вся Москва видѣла, какъ сожгли самозванца, такъ какъ же народъ повѣрилъ этому вору?

— Ну, вотъ, поди ты!.. Вѣстимо, нашъ братъ дворовый человѣкъ не повѣритъ, а вѣдь простой-то народъ глупъ!.. Принесетъ ему сорока на хвостѣ вѣсточку, а онъ уши-то и развѣситъ!.. Глупой бабѣ да сермяжнику, что хочешь, братъ, плети, они съ дуру всему повѣрятъ... Э! да чтожъ это твой баринъ?.. Куда онъ своротилъ! Дмитрій Афанасьичъ! не туда: направо по дорожкѣ.

Левшинъ повернулъ по узенькой тропинкѣ, которая, пробираясь между засѣянныхъ полей, вела къ густому березовому лѣсу. Когда онъ увидѣлъ себя подъ тѣнью этихъ столѣтнихъ березъ, то ему стало еще грустнѣе. Онъ невольно вспомнилъ и о своей березовой рощѣ на берегу Волги и о той, которая превратила бы для него эту рощу въ земной рай. Проѣхавъ версты три этимъ заповѣднымъ лѣсомъ, наши путешественники очутились на обширной полянѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ густымъ чернолѣсьемъ. Когда Левшинъ окинулъ взглядомъ это лѣсное *удолье*, то забылъ на минуту все свое горе. Средину всей поляны занимала боярская усадьба. Въ глубинѣ двора, застроеннаго съ обѣихъ сторонъ службами, стоялъ господскій домъ, то-есть большая брусяная изба, крытая тесомъ, у которой, вмѣсто обыкновеннаго крыльца,

былъ устроенъ подъ навѣсомъ досчатый *рундукъ* или помостъ, похожій на нынѣшнія террасы. Передъ самымъ домомъ, въ пушистыхъ зеленыхъ берегахъ, разливался прихотливо широкій проточный прудъ; съ одной стороны онъ оканчивался плотиною, обсаженною ракитникомъ, съ другой вливался въ него довольно большой ручей. Поодаль отъ пруда, кругомъ ветхой, деревянной церкви, какъ дѣти вокругъ родной матери пріютились низенькія крестьянскія избы, съ ихъ соломенными кровлями и плетневыми заборами. Конечно, все это вмѣстѣ не составляло ничего особенно прекраснаго или живописнаго; но эта тишина, этотъ лѣсъ, этотъ свѣтлый прудъ, эта зелень, усыпанная цвѣтами, и даже простота и убогость приходской церкви и боярскаго дома,—все наполняло душу какимъ-то кроткимъ, неизъяснимымъ спокойствіемъ. Левшинъ вовсе не желалъ—да и вы бы не захотѣли — встрѣтить въ этомъ смиренномъ уголкѣ ни великолѣпный храмъ Божій, ни каменныя палаты барскія; все, что напоминаетъ намъ о земномъ величіи, роскоши и суетѣ мірской, показалось бы вамъ не у мѣста въ этомъ тихомъ и спокойномъ убѣжищѣ, поселясь въ которомъ, вы могли бы думать, что живете за тысячу верстъ отъ Москвы.

— Ну, вотъ и пріѣхали! — сказалъ провожатый, слѣзая съ коня.—Добро пожаловать!—промолвилъ онъ съ низкимъ поклономъ.—Милости просимъ, Дмитрій Афанасьичъ, въ наше село Богородское!.. Въ немъ часто гащивалъ покойный твой батюшка; вотъ Богъ привелъ и тебѣ съ нами пожить. Милости просимъ.

Онъ отворилъ околицу, и Левшинъ, объѣхавъ правымъ берегомъ пруда, сошелъ съ коня у воротъ боярскаго дома.

VII.

Вотъ уже прошло болѣе трехъ недѣль, какъ Левшинъ оставилъ Москву. Въ селѣ Богородскомъ ждали со-дня-на-день боярина Буйносова, но онъ не ѣхалъ.

Впрочемъ, Левшинъ вовсе не скучалъ: въ хорошую погоду онъ ходилъ иногда съ мѣткой пищалью стрѣлять дичь, а ея очень много было въ этихъ заповѣдныхъ дачахъ, въ которыхъ изрѣдка только охотился самъ бояринъ; въ дурную погоду бесѣдовалъ съ приходскимъ священникомъ или проводилъ время въ разговорахъ съ словоохотнымъ челядинцемъ боярскимъ и своимъ добрымъ Ферапонтомъ. Въ нашъ вѣкъ это послѣднее занятіе показалось бы довольно страннымъ; но тогда еще просвѣщеніе не положило въ отечествѣ нашемъ этой рѣзкой грани между господиномъ и его слугою. Въ старину было много и такихъ господъ, которымъ грамота вовсе не далась; да и дворяне, по тогдашнему образованные, отличались, по бо́льшей части, отъ своихъ безграмотныхъ домочадцевъ не образомъ мыслей, не познаніями и ученостію, а только тѣмъ, что *умѣли* читать и писать. Сверхъ того между служителями и ихъ господами существовала тогда связь особеннаго рода: ее почти можно назвать семейною. Господа называли своихъ слугъ домочадцами, и эти *чады дома* готовы были при всякомъ случаѣ умереть за своихъ бояръ, которые въ свою очередь любили ихъ какъ *домашнихъ* и дарили иногда за вѣрную службу цѣлыми деревнями [1]). Чаще всего Левшинъ бродилъ безъ всякой цѣли по лѣсу, особенно тамъ, гдѣ должно было прокладывать себѣ дорогу; онъ любилъ продираться сквозь эту глушь, гдѣ сплошныя деревья сплетаются своими вершинами и ни одинъ лучъ полуденнаго солнца не падаетъ на влажную землю, покрытую полусгнившими листьями и валежникомъ. Эта пустынная, мрачная дичь была ему по душѣ. Въ одну изъ своихъ прогулокъ онъ зашелъ въ глубокій, поросшій мелкимъ лѣсомъ, оврагъ. На днѣ его журчалъ ручей,

[1]) При царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ опальный бояринъ, Иванъ Григорьевичъ Нагой, отдалъ своему слугѣ, Богдану Сидорову, за вѣрную его службу и усердіе, наслѣдственную свою вотчину сельцо Ануфріево съ деревнями. Вѣроятно, въ старину подобные случаи повторялись нерѣдко.

тотъ самый, который передъ господской усадьбою вливался въ прудъ. Въ концѣ этого оврага, сквозь густыя вѣтви дикой черемухи, виднѣлся высокій плетень, а за нимъ соломенная кровля небольшой избушки. Левшинъ пошелъ къ этому жилью. Онъ не успѣлъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ изъ-за плетня показался служитель его, Ферапонтъ, съ довольнымъ лицомъ и съ распухшимъ прищуреннымъ глазомъ.

— Это ты, Ферапонтъ?—сказалъ Левшинъ.

— Я, батюшка, — отвѣчалъ Ферапонтъ, вытирая рукою свои длинные усы и бороду.

— Что это у тебя глазъ-то?

— Ничего, Дмитрій Афанасьичъ! Я былъ вотъ здѣсь на пчельникѣ у Савельича, такъ пчела ужалила. Что за медъ!.. Ну, ужъ нечего сказать: бѣлый, зернистый!.. Да не угодно ли, батюшка, и тебѣ отвѣдать?..

— Пожалуй.

— Только самъ туда не ходи: какъ разъ облѣпятъ пчелы. Побудь здѣсь на минуту, я сейчасъ вынесу тебѣ свѣжій сотникъ, прямехонько изъ улья.

Ферапонтъ ушелъ опять на пчельникъ, а Левшинъ прилегъ подъ тѣнь черемухи у ручья, который тихо струился въ своихъ берегахъ, поросшихъ осокою. Вотъ послышались ему вдали охотничьи рога. Эти невнятные, исчезающіе въ воздухѣ, звуки долетали до него только по вѣтру—и черезъ нѣсколько минутъ вмѣстѣ съ нимъ затихли. Межъ тѣмъ Ферапонтъ возвратился, неся деревянное блюдо, на которомъ лежалъ свѣжій сотъ меду, ножикъ и ломоть чернаго хлѣба.

— Покушай, Дмитрій Афанасьичъ, на здоровье,— сказалъ онъ, подавая ему блюдо.—Савельичъ при мнѣ подрѣзалъ этотъ сотъ. Ну, батюшка, какой онъ досужій пчеловодъ!.. А знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ? Вѣдь Савельичъ-то жилъ въ скиту у твоего дядюшки, Андрея Яковлевича Денисова.

— Въ какомъ скиту?

— Да вотъ тамъ за Онегою.

— Какъ же онъ туда попалъ?

— Въ бѣгахъ былъ. Савельичъ мнѣ все разсказалъ. Вотъ изволишь видѣть: онъ долго былъ раскольникомъ; лѣтъ шесть тому назадъ Господь вразумилъ его принять опять православную вѣру, такъ онъ пришелъ съ повинной головой къ боярину. Боярин,—дай Богъ ему здоровье!—принялъ его не съ гнѣвомъ, а съ милостію, и порадовался, что онъ, хотя и поздненько, а все-таки сбратился на путь истинный.

— Послушай, Ферапонтъ: я все еще путемъ не знаю, покойный дядюшка, Семенъ Яковлевичъ, въ ссорѣ что ль былъ съ своимъ братомъ, Андреемъ Яковлевичемъ?

— Въ ссорѣ, батюшка. А, говорятъ, въ старину они жили душа въ душу. Андрей Яковлевичъ продалъ всѣ свои вотчины и уѣхалъ сначала въ Соловки, а тамъ долго жилъ за Онегою и присылалъ часто гонцовъ къ твоему покойному дядюшкѣ, и тотъ также писалъ къ нему грамотки.

— А за что они поссорились.

— Вотъ за что, батюшка: можетъ-быть, ты не знаешь, что покойный твой дядюшка, а нашъ баринъ, Семенъ Яковлевичъ, держался одного толку съ своимъ братомъ, спрѣчь—не прогнѣвайся, батюшка!—былъ такой же еретикъ, какъ и онъ. Правда, только-то и было въ немъ худого... Этакой доброй души поискать! Не токма свои, да и всѣ чужіе-то шли къ нему словно къ отцу родному. Случится ли съ кѣмъ бѣда: домишко сгоритъ—къ Семену Яковлевичу! Выбьетъ ли поле градомъ — къ Семену Яковлевичу!.. Сосѣди межъ собой повздорятъ—къ нему же на судъ! А ужъ объ нищей братіи и говорить нечего: со двора не сходили. Грѣшно также сказать, чтобъ онъ обижалъ нашъ церковный причетъ; онъ и имъ въ нуждѣ помогалъ, только ни самъ въ Божью церковь не входилъ, ни священника къ себѣ съ крестомъ не допускалъ; а молился у себя въ образной по какимъ-то стариннымъ книгамъ. Намъ никому не было помѣхи говѣть, исповѣдываться и хо-

дить къ причастію, да самъ-то онъ никогда не исповѣдывался и не пріобщался. Вотъ, батюшка, годовъ пять тому назадъ наслалъ на него Господь какую-то немощь; сталъ онъ чахнуть: что день, то хуже. Приводили къ нему всякихъ знахарей — все лучше нѣтъ! Вотъ послали въ Москву по какого-то досужаго человѣка изъ нѣмчинъ. Пріѣхалъ и тотъ, прожилъ у насъ сутокъ трое, давалъ барину всякія снадобья, да какъ увидѣлъ, что ему отъ нихъ льготы никакой нѣтъ, а стало еще тяжелѣе, и что вся дворня посматриваетъ на него изъ-подлобья, такъ онъ за добра ума, поворотя оглобли, да и былъ таковъ!.. Прошло этакъ еще съ недѣлю; баринъ пересталъ ужъ и съ постели вставать; не ѣстъ, не пьетъ — кости да кожа. Худо дѣло!.. Однажды подъ вечерокъ собрались мы всѣ въ людскую, да и толкуемъ межъ собой: что съ нами сиротами станется, кто будетъ у насъ бариномъ?.. Вотъ нашъ дворецкій, Прокофій Иванычъ—ты ужъ его не засталъ, батюшка—и началъ намъ говорить: «Что вы, ребята, о пустякахъ-то болтаете?.. Кому достанемся, кто бариномъ будетъ?—Вѣстимо дѣло, безъ барина не останемся; а вы о томъ подумайте, что нашъ батюшка Семенъ Яковлевичъ—кормилецъ нашъ, родной отецъ! — умираетъ какъ собака!» Вотъ всѣ мы такъ руками и всплеснули. «Ахъ, батюшки! вѣдь правда: умретъ онъ безъ покаянія!»—«Да чтожъ дѣлать-то, Прокофій Иванычъ?» — сказалъ ключникъ Терентій. — «А вотъ что: ступай хоть ты скорѣй къ отцу Василію, скажи ему, что Семенъ Яковлевичъ умираетъ и зоветъ его къ себѣ; а мы пойдемте всѣ къ барину, повалимся ему въ ноги. Господь милостивъ — авось упросимъ его, чтобъ онъ души-то своей не губилъ!»—«Идемте, ребята!»—закричали всѣ, да цѣлой гурьбой, и старый и малый, всѣ до единаго пошли къ барину. Стали входить потихоньку въ его опочивальню—глядимъ, лежитъ сердечный, чуть живъ!—«Что вы, братцы?—промолвилъ онъ,—зачѣмъ пришли?»—«Кормилецъ ты нашъ!—сказалъ дворецкій,—ты былъ намъ всѣмъ вмѣсто отца родного, и мы,

какъ дѣти, пришли просить тебя—не откажи намъ въ послѣдней нашей просьбѣ!» Дворецкій повалился въ ноги, а за нимъ и мы всѣ упали на земь.—«Ну, что?—шепнулъ Семенъ Яковлевичъ, — говори!»—«Батюшка баринъ! — сказалъ Прокофій Ивановичъ, — ты человѣкъ добрый, за тебя богомольцевъ много будетъ, да всѣ ихъ молитвы-то въ прокъ не пойдутъ, коли ты умрешь, какъ нехристь какая. Прикажи позвать священника!» Глядимъ — баринъ нахмурился.—«Ступайте вонъ, дурачье!—молвилъ онъ гнѣвно.—Не ваше дѣло!»—«Какъ, батюшка, не наше!—заговорилъ дворецкій.—Да коли ты, отецъ нашъ, умрешь безъ покаянія, такъ какой отвѣтъ дадимъ мы Господу Богу, когда на страшномъ судѣ онъ скажетъ намъ: «Окаянные! вашъ добрый господинъ кормилъ и поилъ васъ, берегъ какъ дѣтей родныхъ, а вы, рабы нечестивые, не лежали у его порога, не умоляли его покаяться!» Братцы! — промолвилъ дворецкій, заливаясь слезами, — просите всѣ барина!»—Вотъ поднялся, батюшка, такой вопль и плачь, что и сказать нельзя! Баринъ долго крѣпился, все гналъ насъ вонъ, да видно подъ конецъ слезы-то наши одолѣли.—«Ну, ну, глупые!—промолвилъ онъ,—позовите попа!»—А батька и въ двери!—Ты, Дмитрій Афанасьичъ, и его также не засталъ: о спожинкахъ будетъ ровно годъ, какъ онъ померъ... Вотъ ужъ былъ подлинно Божій человѣкъ!.. Такой смирный, любовный! И горя-то ему, сердечному, много было: похоронилъ подъ старость жену, да семерыхъ дѣтей, а все не унывалъ! Иногда ему сгрустнется—заплачетъ, да тутъ же и начнетъ каяться: «Ахъ, я грѣшникъ, грѣшникъ! да развѣ Господь не воленъ въ своемъ?.. Онъ далъ, Онъ и взялъ—буди Его святая воля». Утретъ глаза и какъ ни въ чемъ ни бывало.—Вотъ какъ онъ вошелъ въ барскую опочивальню,—какъ теперь все помню, — помолился на святыя иконы и сказалъ:—«Миръ дому сему!..—Здравствуй, Семенъ Яковлевичъ!—промолвилъ онъ, подойдя къ барину. — Ну, слава тебѣ, Господи! видно попомнились передъ Богомъ твои добрыя дѣла,

и милостыня твоя принесла свой плодъ. Ты желаешь, Семенъ Яковлевичъ, исполнить послѣдній долгъ христіанскій?»—«Не я,—проговорилъ бояринъ,—а вотъ они пристали».—«А самъ-то ты, Семенъ Яковлевичъ?..»—спросилъ священникъ.—«Я бы тебя, Василій Алексѣичъ, не потревожилъ!»—«Вотъ что,—молвилъ отецъ Василій. — Такъ прощай, бояринъ! Мнѣ у тебя дѣлать нечего».

Мы всѣ кинулись къ священнику: «Батюшка, не уходи!»—«Эхъ, дѣтушки!—сказалъ отецъ Василій,—не знаете сами, чего просите. Да коли онъ хотѣлъ приступить къ такому дѣлу ради того только, чтобъ отъ васъ отвязаться, такъ это будетъ ему не во спасеніе, а въ пущую гибель. Ужъ по мнѣ лучше ему умереть еретикомъ, чѣмъ лукавымъ Іудою».—«Іудою!»—прошепталъ баринъ привставая. — «Да, Семенъ Яковлевичъ,—сказалъ отецъ Василій.—Вѣруешь ли, что я служитель истинной, православной церкви и желаешь ли отъ всей твоей души примириться съ нею!.. Отвѣчай, Семенъ Яковлевичъ!»

У насъ у всѣхъ сердца такъ и замерли. Глядимъ на барина, ждемъ, что онъ скажетъ... Ни словечка! Молчитъ, какъ убитый.

— Ну, вотъ видишь ли, бояринъ,—заговорилъ опять отецъ Василій, — ты молчишь, такъ не правду ли я говорилъ? Лукавый Іуда, предавая Спасителя, называлъ Его своимъ наставникомъ и лобзалъ Его, а ты что хотѣлъ дѣлать? развѣ не то же самое?

— Да знаешь ли,—промолвилъ наконецъ баринъ,—что скоро уже тридцать лѣтъ...

— Какъ ты самъ отлучилъ себя отъ церкви,—перебилъ отецъ Василій. — Знаю, бояринъ!.. Великій грѣхъ—подлинно великій!.. А все не бѣда! Ты грѣшникъ—такъ чтожъ? Мы всѣ грѣшники: да для кого-же Христосъ и распинался, какъ не для насъ? Не онъ ли самъ сказалъ: «Приде бо сынъ человѣческій взыскати и спасти погибшаго!..» Вотъ онъ и пришелъ къ тебѣ. А ты, Семенъ Яковлевичъ, прими Его съ вѣрой

и любовью—не такъ, какъ Іуда, но какъ мытарь. Не бойся грѣха твоего: Господь милосердъ. Вѣдь Онъ, нашъ батюшка, несетъ на себѣ грѣхи всего міра, такъ ужъ твои немного Ему тяготы прибавятъ.

Мы всѣ словечка не могли вымолвить отъ слезъ, а баринъ молчалъ, только въ щекахъ у него заигралъ румянецъ, и глаза изъ мутныхъ сдѣлались такими свѣтлыми.

— Да, Семенъ Яковлевичъ,—сказалъ опять отецъ Василій,—кто кается, того Господь не отвергаетъ. Не намъ, грѣшнымъ, чета великій апостолъ Петръ, а вѣдь и онъ трижды отрекся отъ Христа, да какъ покаялся, такъ остался попрежнему первымъ ученикомъ Господнимъ. Ты также отрекся отъ православной церкви, покайся и ты—возвратись къ ней, какъ блудный сынъ къ отцу, и она такъ же, какъ этотъ сердобольный отецъ, приметъ тебя съ радостію, согрѣетъ на груди своей, отретъ твои слезы и облечетъ въ лучшую свою одежду!..

Тутъ самъ отецъ Василій заплакалъ; глядимъ — и баринъ нашъ, молчалъ, молчалъ, да какъ вдругъ зарыдаетъ!.. а слезы-то—слезы! такъ рѣкой и потекли!.. Отецъ Василій махнулъ намъ рукой; мы всѣ вышли, и что-жъ, Дмитрій Афанасьичъ? покойный твой дядюшка исповѣдался, пріобщился, и съ того самаго часа пошло ему все лучше, да лучше, такъ что онъ недѣли черезъ двѣ почитай совсѣмъ оправился. Вотъ радость-то была, когда онъ, отецъ нашъ, въ первый разъ пріѣхалъ къ обѣднѣ... Ну, вѣришь ли Богу, Дмитрій Афанасьичъ, такое было для всѣхъ веселье, словно въ великій день Христовъ!.. Народу набилось въ церковь видимо-невидимо: и дѣды и внучата, всѣ поднялись!.. Иной старикъ ужъ года два не слѣзалъ съ полатей, а тутъ—откуда ноги взялись—бредетъ въ церковь, чтобъ на барина взглянуть, да помолиться о его здоровьи. Вотъ какъ обѣдня отошла, отецъ Василій вышелъ на амвонъ и сказалъ: «Православные! возблагодаримъ теперь всѣмъ міромъ Господа за душевное и тѣлесное

исцѣленіе благочестиваго раба Его, боярина нашего Симіона». Онъ началъ служить благодарственный молебенъ; мы всѣ пали на колѣни, а баринъ повалился передъ иконою Спасителя, да такъ во всю службу и не вставалъ. Спустя недѣлю послѣ этого, дядюшка твой отправилъ гонца съ грамотой къ братцу своему. Эту грамоту возилъ Алешка Косой. Какъ Андрей Яковлевичъ прочелъ ее, такъ распалился такимъ гнѣвомъ, что и Господи!.. Учалъ кричать, топать ногами!.. «Скажи, дескать, твоему барину, что изо всѣхъ моихъ родныхъ я любилъ только его одного, а теперь онъ хуже для меня всякаго татарина... Вонъ отсюда, холопъ предателя! Нѣтъ тебѣ здѣсь ни хлѣба, ни воды, ни кровли! Я скорѣй приму въ свой домъ разбойника и накормлю бѣшенаго пса, чѣмъ слугу окаяннаго отступника!»—Вѣстимо дѣло, Алешка Косой поклонился, да и давай Богъ ноги!—Вотъ, Дмитрій Афанасьичъ, какъ поссорились твои дядюшки. Не знаю, что Андрей Яковлевичъ, а покойный твой дядюшка Семенъ Яковлевичъ, очень объ этомъ горевалъ и не разъ еще посылалъ къ своему брату, только пріемъ-то посланнымъ былъ всегда одинакій: на порогъ д въ шею!

— А что, Ферапонтъ, дядюшка Андрей Яковлевичъ женатъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, батюшка, объ этомъ и рѣчи никогда не было... Э! да что это?.. Чу! слышишь, Дмитрій Афанасьичъ?

— Да, слышу: охотничьи рога.

— И кажись недалеко... Пойдемъ-ка, батюшка, посмотримъ, что это такое.

— Пойдемъ,—сказалъ Левшинъ, вставая.—Да лѣсомъ-то еще далеко?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, и полверсты не будетъ. Вонъ по той дорожкѣ мы какъ разъ выйдемъ вонъ изъ лѣсу.

Левшинъ и Ферапонтъ пошли по узенькой тропинкѣ и черезъ нѣсколько минутъ повстрѣчались съ

боярскимъ челядинцемъ, который также пробирался въ поле.

— И ты, Сидорычъ, идешь туда же? — сказалъ Левшинъ.

— Какъ-же, Дмитрій Афанасьичъ, и я хочу взглянуть на царскую охоту.

— На царскую?

— Да, батюшка! Вѣдь это изволитъ охотиться государь Петръ Алексѣевичъ съ ближними своими боярами. Сейчасъ пріѣхалъ на село стремянный нашего господина, Антонъ Курышовъ; онъ сказывалъ, что сегодня поутру собралось въ Коломенскомъ до двадцати бояръ.

— И все съ охотами?—спросилъ Ферапонтъ.

— Вѣстимо съ охотами.

— То-то, чай, народу-то!

— Какъ-же! Однихъ стремянныхъ человѣкъ до тридцати, да только имъ приказано всѣмъ остаться, и за своими боярами на охоту не ѣздить.

— Какъ такъ?.. Вѣдь ловчіе-то и псари будутъ съ гончими порскать по лѣсу, да звѣря поставлять въ чистое поле, а при борзыхъ да собакахъ кто останется?

— Видно, одни господа. Антонъ говорилъ, что и нашему боярину пришлось взять четырехъ собакъ на свору: Злодѣя, Налета, Буяна и Касатку. Онѣ привыкли рыскать за стремянными, такъ за бариномъ нейдутъ. Лихія собаки — что и говорить! Да какъ-то онъ съ ними справится!.. Коли онѣ завидятъ сердечнаго дружка, а онъ не успѣетъ ихъ со своры спустить...

— Да!.. не усидитъ на конѣ... Я самъ былъ у покойнаго барина стремяннымъ; ѣздокъ не плохой и силишка есть, а такъ грохнулся однажды съ лошади, что небо съ овчинку показалось! Нѣтъ, любезный, коли собаки у тебя на сворѣ, такъ не зѣвай!.. Да что это боярамъ-то вздумалось?..

— А Богъ ихъ знаетъ!.. За споромъ что ль дѣло стало, или такъ, ради потѣхи.

— Хороша потѣха!.. И что за неволя, подумаешь!..

— Эхъ, братъ! да вѣдь у бояръ-то часто охота бываетъ пуще неволи.

— Ну, вотъ припомни мое слово, Сидорычъ: безъ грѣха дѣло не обойдется.

Въ продолженіе этого разговора они дошли непримѣтнымъ образомъ до конца лѣса. Передъ ними открылись обширныя, холмистыя поля. Направо по суходолу разстилались заповѣдныя луга села Богородскаго; налѣво по лощинамъ тянулся длинный рядъ болотъ, поросшихъ мелкимъ кустарникомъ. Прямо передъ ними въ живописномъ безпорядкѣ разбросано было нѣсколько отдѣльныхъ рощъ, которыя на охотничьемъ языкѣ называются *отъемными островами*. Между этими рощами и лѣсомъ, на опушкѣ котораго стоялъ Левшинъ, было не болѣе полуверсты. Одѣтые въ разноцвѣтныя платья псари, ловчіе и доѣзжачіе, которые, очевидно, принадлежали разнымъ господамъ, стояли поодаль отъ крайней рощи и дожидались только приказанія, чтобъ *бросить* гончихъ въ островъ. Бояре на красивыхъ персидскихъ коняхъ разъѣзжали по полю, держа на шелковыхъ сворахъ борзыхъ собакъ, которыя безпрестанно путались между собою, подбѣгали подъ лошадей и, повидимому, весьма тревожили непривычныхъ къ этому дѣлу господъ. Вотъ бояре начали занимать мѣста по перелѣскамъ, нѣкоторые изъ нихъ потянулись къ Богородскому лѣсу и стали шагахъ въ пятидесяти отъ его опушки.

— Кто этотъ господинъ? — спросилъ Ферапонтъ у боярскаго челядинца, — вонъ что прямо противъ насъ на соврасомъ конѣ?

— Въ голубомъ аксамитномъ кафтанѣ?

— Да... кажись такой строгій, смотритъ все изъподлобья.

— Это, любезный, ближній комнатный стольникъ государя Петра Алексѣевича, князь Ѳеодоръ Юрьевичъ Ромодановскій.

— А вотъ этотъ бояринъ — такой дородный, что стоитъ у куста?

— Въ скарлатномъ зипунѣ и парчевой мурмолкѣ?.. Это князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгорукій; а вотъ подъѣхалъ къ нему князь Троекуровъ... Экъ онъ собакъ-то нацѣплялъ! никакъ съ полдюжины будетъ!.. Ахъ, онѣ проклятыя, такъ и рвутся!.. А вонъ онъ перелѣску ѣдетъ сюда на ворономъ конѣ бояринъ Иванъ Максимовичъ Языковъ...

— Да ты никакъ всѣхъ бояръ-то знаешь, Никита Сидорычъ!

— А какъ-же!.. Вѣдь они почитай всѣ къ намъ жалуютъ... Э! смотри-ка—смотри!.. Долгоруковскія-то собаки начали грызться съ Троекуровскими... Ну!.. пошла свалка!.. Вотъ оно безъ стремянныхъ-то!.. Куда боярамъ ладить съ этими псами!.. Гляди-ка, братъ, подъ княземъ Троекуровымъ конь-то никакъ испугался!.. Экъ онъ началъ прядать!.. Ахти, батюшки! убьетъ онъ его.

— Нѣтъ,—сказалъ Ферапонтъ,—ничего!.. Вонъ и собакъ-то кой-какъ растащили...

— Да это что!—молвилъ боярскій челядинецъ.— Погоди, братъ, то ли еще будетъ!

Посмотри-ка сюда, Никита Сидорычъ; кто это тамъ изъ-за рощи выѣхалъ... вотъ этотъ, безъ собакъ?

— На сѣромъ конѣ?

— Да, въ красномъ кафтанѣ съ золотыми петлицами... Ого, братъ! да передъ нимъ всѣ бояре шапки снимаютъ!..

— Постой-ка—постой!.. Ужъ не онъ ли это, нашъ батюшка?.. Ну, такъ и есть—онъ! точно онъ!.. Шапку долой, братецъ!...

— Да чтожъ это за бояринъ такой?— спросилъ Ферапонтъ, снимая шапку.

— Что ты?.. Какой бояринъ!.. Развѣ не видишь? Это самъ государь Петръ Алексѣичъ!

— Право!.. Вѣдь я сродясь его не видывалъ!.. Кабы онъ, нашъ батюшка, поближе сюда подъѣхалъ!

— Нѣтъ, изволилъ поворотить направо... Вонъ взъѣхалъ на холмикъ... Знать оттуда будетъ смотрѣть на охоту.

— А эти-то, что позади его ѣдутъ, видно самые набольшіе бояре?

— Ну, вѣстимо!.. Одинъ, чай, дядька его, Кирилла Полуектовичъ Нарышкинъ! а другой... нѣтъ, любезный!.. кажись и не бояринъ, и не ратный человѣкъ... Вишь какъ онъ позади плетется... Лошаденка невзрачная и самъ-то онъ сидитъ на ней такимъ увальнемъ... Долженъ быть учитель государя Петра Алексѣевича.

— А развѣ царскій-то учитель не бояринъ?

— Нѣтъ. Дьякъ челобитнаго приказа, Никита Алексѣевичъ Зотовъ... Ну, вотъ и псари зашевелились!.. Видно приказано спускать гончихъ!..

Тутъ словоохотный челядинецъ и Ферапонтъ перестали разговаривать; они обратили вниманіе на толпу псарей, которые спѣшились и начали суетиться около своихъ гончихъ собакъ.

VIII.

Пока охотники дѣлали всѣ нужныя распоряженія и *распаривали* гончихъ собакъ, сцѣпленныхъ попарно желѣзными *смычками*, прошло довольно времени. Вотъ двинулись, наконецъ, псари со своими стаями; за ними потянулись ловчіе и доѣзжачіе, и въ нѣсколько минутъ вся эта пестрая толпа разсыпалась по рощѣ.

— Что, братъ,— сказалъ вполголоса Никита,— твой баринъ охотникъ или нѣтъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ отрывисто Ферапонтъ.

— То-то, я гляжу: мы ждемъ, не дождемся, когда потѣха начнется, а ему, кажись, и дѣла нѣтъ!.. Прислонился къ дереву, задумался, глазъ кверху не подымаетъ!.. Ну, я не въ него!.. Не знаю, какъ ты, а у меня теперь такъ сердце и замираетъ; такъ и поджидаю; вотъ тявкнетъ первая!

— Что дѣлать, любезный! — сказалъ Ферапонтъ, покачивая головою.—Диковинка, да и только!.. Подумаешь, какъ не любить псовую охоту?.. Да есть-ли на свѣтѣ потѣха лучше этой?.. У покойнаго дядюшки Дмитрія Афанасьича знатная была охота — и гончія отличныя. За одного выжлеца сосѣдъ давалъ ему двѣ семьи крестьянъ, такъ онъ и слышать не хотѣлъ! Чтожъ ты думаешь, любезный: вѣдь баринъ всѣхъ перевелъ!

— Неужли?

— Видитъ Богъ, такъ!

— Чѣмъ же онъ забавлялся, когда жилъ въ своей вотчинѣ?

— Хозяйничалъ, судилъ и рядилъ крестьянъ, да также, какъ здѣсь, пострѣливалъ и гулялъ по лѣсу.

— Видно ужъ, братъ, такой у него обычай!.. А вѣдь баринъ, кажись, добрый?

— Такой-то добрый, что мы всѣ за него сейчасъ въ огонь и въ воду!.. Да ты что это, Сидорычъ, все посматриваешь?..

— А вотъ смотрю: чтожъ это они ни изъ короба, ни въ коробъ? Пора бы на слѣдъ напасть; кажись, народу не мало!.. Чу!.. никакъ тявкнула!.. Такъ и есть!.. Натекла!.. Ну! подхватили?..

Вся роща оживилась; громкіе крики, свистъ и порсканье псарей начали сливаться съ лаемъ собакъ. Бояре стояли неподвижно на своихъ мѣстахъ, устремивъ внимательные взоры на рощу; борзыя собаки, приподнявъ уши, прислушивались къ гоньбѣ гончихъ. Эта гоньба, сначала слабая, безпрестанно усиливаясь, превратилась наконецъ въ какой-то безумный лай и визгъ.

— Ого! — вскричалъ челядинецъ, — напали на горячій слѣдъ!

— Какой слѣдъ! — прервалъ Ферапонтъ. — Чу?.. слышишь! гонятъ по зрячему.

— Да, любезный, да, точно по зрячему!

— Такъ чтожъ они такъ разметались?—продолжалъ Ферапонтъ.—И тутъ и тамъ. Ну, братъ! видно зай-

цевъ-то у васъ въ рощѣ довольно!.. Вотъ, вотъ!.. Гляди, гляди!..

Въ одномъ перелѣскѣ мелькнулъ заяцъ, въ то же время съ полдюжины другихъ, отдѣлясь отъ лѣсной опушки, понеслись по полю — и тутъ началась эта чудная охота, описанная довольно подробно въ Дѣяніяхъ Петра Великаго и въ одной русской лѣтописи [1]). Всѣ бояре разсыпались въ разныя стороны, поднялась бѣшеная скачка, крикъ, безпорядица. Кто не успѣлъ спустить своихъ собакъ, того онѣ стаскивали съ коня; кто успѣлъ, тотъ летѣлъ вслѣдъ за ними по кочкамъ и пенькамъ. Не привыкшія къ такой отчаянной ѣздѣ лошади спотыкались, падали и давили подъ собой перепутанныхъ въ своры собакъ. Тутъ лежала лошадь, прижавъ къ землѣ своего всадника; тамъ мчался конь безъ сѣдока; здѣсь валялась въ грязи боярская шапка, а подлѣ купался въ лужѣ самъ бояринъ. Однимъ словомъ, въ нѣсколько минутъ все пространство между рощами и Богородскимъ лѣсомъ превратилось въ настоящее поле сраженія, или, по крайней мѣрѣ, кавалерійской схватки.

— Вотъ тебѣ и охота! — вскричалъ челядинецъ.— Ну, бояре-то сегодня понатѣшутся — будутъ помнить!.. Батюшки свѣты! куда это скачетъ вонъ тотъ бояринъ?. Прямехонько въ трясину!.. Правѣй, бояринъ!.. Правѣй!. болото!.. Ну!!! сѣлъ!.. Вонъ и другой!..

— Совсѣмъ завязли! — прервалъ Ферапонтъ. — Экъ лошади-то бьются!.. Да побѣжимъ, Никита Сидорычъ, вытащимъ ихъ какъ-нибудь!

— Вытащимъ!.. Поди-ка, братъ, сунься!.. Я однажды забрелъ ночью въ это болотце, такъ по поясъ втюрился. Нѣтъ, братъ, тутъ безъ жердей ничего не сдѣлаешь.

— Да здѣсь валежнику-то много; вонъ лежитъ цѣлая елка.

---

[1]) Исторія послѣдованія царствъ отъ Рюрика до Петра Великаго.

Въ продолженіе этого разговора, направо отъ нихъ показался пожилыхъ лѣтъ боярин, подъ которымъ испуганный конь летѣлъ, какъ стрѣла. Закусивъ удила, онъ мчался во всю прыть вдоль самой опушки лѣса. Вдругъ цѣлая стая собакъ, гонясь за зайцемъ, который пробирался въ Богородскій лѣсъ, кинулась подъ ноги бѣшеному коню; онъ запрыгалъ, началъ бить и передомъ, и задомъ, но боярин, повидимому, хорошій ѣздокъ, удержался въ сѣдлѣ, и конь, какъ будто бъ чувствуя, что не можетъ сбить своего сѣдока, взвился на дыбы, скакнулъ впередъ и со всѣхъ четырехъ ногъ грянулся о-земь.

— Господи!.. что это?—вскричалъ челядинецъ.— Да это никакъ нашъ боярин!.. Ну, такъ и есть!

Ферапонтъ съ Никитою, вслѣдъ за нимъ и Левшинъ, бросились на помощь къ боярину Буйносову. Они подняли его на ноги.

— Батюшка ты нашъ!—сказалъ челядинецъ,—да ты, я чай, совсѣмъ расшибся?

— Ничего,—отвѣчалъ Буйносовъ.—Кажись, я не очень ушибся... вотъ только на правую-то ногу ступить не могу.

— Ужъ не переломилъ ли ты ее, Кирилла Андреевичъ?—спросилъ съ безпокойствомъ Левшинъ.

— Не знаю, только больно, кажется, зашибъ. Помогите-ка мнѣ сѣсть на коня, да поскорѣй въ Богородское.

Буйносова посадили на лошадь; Ферапонтъ взялъ ее подъ уздцы и пошелъ шагомъ, а Левшинъ пошелъ подлѣ стремени, чтобъ въ случаѣ нужды поддержать ушибленнаго боярина. Межъ тѣмъ челядинецъ побѣжалъ на пчельникъ за Савельичемъ, который не только былъ хорошимъ пчеловодомъ, но слылъ также во всемъ околодкѣ лучшимъ костоправомъ и *досужимъ* человѣкомъ; у него всѣ лѣчились и многіе выздоравливали, вѣроятно, потому, что его медицинскіе способы ограничивались, по бо́льшей части, *наговорами* и слѣдовательно не мѣшали дѣйствовать натурѣ, этому медику,

которому хорошіе доктора иногда помогаютъ, а дурные почти всегда задаютъ двойную работу. Черезъ полчаса бояринъ Буйносовъ доѣхалъ до своей подмосковной. Когда его раздѣли и уложили въ постель, явился Савельичъ, мужикъ пожилой, но еще здоровый, съ угрюмымъ лицомъ и окладистой бородою, которая начинала уже сѣдѣть. Прочитавъ длинную молитву, онъ подошелъ къ боярину, перекрестилъ три раза его ногу, приговаривая: «помоги, Господи!»—и началъ ее ощупывать. Эта операція продолжалась нѣсколько минутъ. Наконецъ Савельичъ вымолвилъ: «Слава Тебѣ, Господи? ножка твоя, батюшка Кирилла Андреевичъ, цѣлехонька, суставчики по своимъ мѣстамъ, только кость-то крѣпко зашиблена. Прикажи ее припаривать трухою, такъ, Богъ милостивъ, все пройдетъ».

— А что, Савельичъ,—спросилъ бояринъ,—дня черезъ три можно ѣхать въ дорогу?

— Нѣтъ, кормилецъ. Велика будетъ милость Божья, коли ты и черезъ недѣлю встанешь съ постели.

— Черезъ недѣлю?.. Какъ же это, Савельичъ! а вѣдь мнѣ крайняя нужда...

— Чтожъ дѣлать, батюшка, потерпи!

— Я сбирался ѣхать въ знакомую тебѣ сторону, такъ хотѣлъ и тебя взять съ собою.

— Власть твоя, батюшка!

— И ты думаешь, что прежде трехъ недѣль...

— Можетъ статься, немного и попрежде, только наврядъ.

— Ну, дѣлать нечего!.. Ступай Савельичъ, да только никуда не отлучайся, неравно ты мнѣ понадобишься.

— Слушаю, батюшка.

Савельичъ поклонился въ поясъ своему боярину и вышелъ вонъ изъ покоя.

— Садись-ка, Дмитрій Афанасьичъ!..—сказалъ Буйносовъ, —вотъ здѣсь—подлѣ моей кровати. Ну что, всѣмъ ли доволенъ?

— Всѣмъ, Кирилла Андреевичъ. По милости твоей, я живу здѣсь, какъ въ родномъ своемъ дому.

— Вотъ подумаешь, — продолжалъ Буйносовъ,— загадывать-то никогда не должно. Завтра я хотѣлъ отправиться въ дорогу—и вмѣсто этого... А все князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій!.. Кабы не онъ, такъ не лежать бы мнѣ сегодня въ растяжку.

— Чтожъ онъ такое сдѣлалъ?

— А вотъ что: онъ давно уже приставалъ къ царю Петру Алексѣевичу: «Пожалуй дескать, государь, позабавься когда ни есть любимою потѣхою твоего покойнаго родителя, царя и великаго государя Алексѣя Михаиловича—дозволь намъ, вѣрнымъ слугамъ твоимъ, хоть разъ потѣшиться вмѣстѣ съ тобою псовой охотою». Глядя на него, и я и другіе бояре начали о томъ же государю челомъ бить. Онъ все изволилъ отнѣкиваться: времени дескать, нѣтъ, учиться надобно—и то и другое. — Такъ нѣтъ! Князь Ромодановскій не унялся и насъ все подбивалъ о томъ же. Третьяго дня учитель царскій, Никита Алексѣевичъ Зотовъ, сказалъ мнѣ, будто бы государь Петръ Алексѣевичъ изволилъ говорить, что и боярамъ-то не слѣдъ ѣздить съ собаками; это дескать, и забава-то псарская, а не боярская; бояре, дескать, должны не за зайцами рыскать, а съ врагами воевать или засѣдать въ царской думѣ. — Послушайтесь меня,—промолвилъ Зотовъ,—отстаньте отъ государя Петра Алексѣевича, а не то ужъ онъ сыграетъ съ вами шуточку. Ну, вотъ и вышло такъ! Вчера князь Ромодановскій началъ опять подзывать государя на охоту; къ нему пристали князь Иванъ Андреевичъ Хованскій, – а вѣдь онъ краснобай!—началъ расписывать такъ псовую охоту, что и Господи!.. Это почитай, дескать, то же ратное дѣло; тутъ, дескать, потребны и проворство, и смѣтка, и воинская хитрость, и то и се. — Подлинно, не даромъ прозвали этого Хованскаго тароруемъ—закидалъ всѣхъ словами. Государь Петръ Алексѣевичъ слушалъ, ухмылялся, да и сказалъ: «Ну, инъ быть по вашему, бояре. Просимъ

завтра ко мнѣ въ Коломенское; оттуда поѣдемъ охотиться въ дачахъ Кириллы Андреевича Буйносова. Мы слышали, что въ его заповѣдныхъ рощахъ много всякаго звѣря». Вотъ сегодня поутру и собрались мы съ нашими охотами въ Коломенское. Какъ государь Петръ Алексѣевичъ вышелъ садиться на коня, то изволилъ сказать, указывая на стремянныхъ: «На что этотъ народъ? Дѣло другое псари: они при гончихъ, а съ борзыми-то собаками мы сами станемъ охотиться». Я было промолвилъ, что намъ безъ стремянныхъ остаться нельзя; но Государь изволилъ заговорить свое: «Мнѣ дескать не пригоже тѣшиться охотою съ вашими холопами; я, дескать, бояре, хочу охотиться съ одними вами».—Что будешь дѣлать? воля его царская; пришлось брать на своры собакъ. Ты, чай, видѣлъ, Дмитрій Афанасьичъ, какъ мы охотились? Кто съ лошади слетѣлъ, кто въ болото попалъ. А батюшка Петръ Алексѣевичъ сталъ въ сторонкѣ, глядитъ, какъ мы рыскаемъ словно шальные по полю, да посмѣивается. Ну, нечего сказать, уменъ, дай Богъ ему здоровья!.. Охъ нога!.. Вотъ ужъ подлинно разумъ не по лѣтамъ! Коли онъ и теперь нашу братью стариковъ учитъ уму, такъ чтожъ будетъ впередъ... Ой, батюшки!.. вотъ и бока-то стали побаливать!

— Не послать ли, Кирилла Андреевичъ, за Савельичемъ?

— Нѣтъ, а потрудись сказать, что бъ пришли скорѣе припарить мнѣ ногу, да не мѣшало бы и баню истопить. Теперь я отдохну немного, а ты ступай, Дмитрій Афанасьичъ, покушай; и коли мой дворецкій пріѣхалъ изъ Москвы, такъ пошли его ко мнѣ.

Левшинъ, передавъ людямъ приказаніе боярина, пообѣдалъ на скорую руку и отправился, по своему обыкновенію, бродить по лѣсу. Дикое мѣстоположеніе пчельника, близъ котораго Левшинъ былъ поутру, очень ему приглянулось, и онъ захотѣлъ побывать еще разъ въ этомъ лѣсистомъ оврагѣ, въ глубинѣ котораго было свѣжо и прохладно даже въ самый знойный день. Под-

ходя къ пчельнику, онъ повстрѣчался опять съ Ферапонтомъ.

— Э, голубчикъ!—сказалъ Левшинъ,—да ты видно до меду-то большой охотникъ?

— Да, батюшка,—отвѣчалъ Ферапонтъ;—я былъ на пчельникѣ, только не затѣмъ, чтобъ медку поѣсть. Мнѣ надобно было кой-о-чемъ потолковать съ Савельичемъ.

— Да развѣ ты боленъ?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ. Я все разспрашивалъ Савельича о Брынскихъ лѣсахъ. Вѣдь онъ и тамъ бывалъ. Я этой стороны вовсе не знаю, такъ не мѣшаетъ поразспросить о ней бывалыхъ людей... Ну, Дмитрій Афанасьичъ, какъ онъ мнѣ поразсказалъ, такъ ѣзда-то по этимъ Брынскимъ лѣсамъ со всячинкою!.. Не худо намъ запастись всякимъ оружіемъ.

— Намъ?.. Да развѣ бояринъ посылаетъ меня въ Брынскіе лѣса?

— Такъ ты ничего не слышалъ?

— Ничего.

— Ну, видно, бояринъ не успѣлъ еще тебѣ сказать. Какъ ты отъ него вышелъ, такъ онъ позвалъ къ себѣ дворецкаго, велѣлъ ему снарядить меня въ дорогу и дать добраго коня съ своей конюшни. Я выбралъ себѣ, батюшка, лошадку не такъ чтобъ очень взрачную собою—а ужъ лошадь!.. убить, да уѣхать! Бояринъ купилъ ее на Дону; первая лошадь во всемъ косякѣ была.

— Да почему ты знаешь?..

— Что тебя, Дмитрій Афанасьичъ, посылаютъ въ Брынскій лѣсъ?.. Мнѣ дворецкій объ этомъ сказывалъ.

— Вѣдь это, кажется, далеко отсюда?

— Не такъ чтобы очень. Савельичъ говоритъ, что по зимнему пути и порожнякомъ можно на четвертыя сутки доѣхать.

— Такъ это путь недальній.

— И дорога-то, говорятъ, бредетъ, да только до Мещовска, и тамъ лѣсами больно плоха; а съ тѣхъ

поръ, какъ въ нихъ развелись раскольничьи скиты, такъ проселочнымъ дорогамъ и перекресткамъ счету нѣтъ, какъ разъ заплутаешься. Да и сброду всякаго много: коли вора сослѣдили и ему придержаться негдѣ, такъ онъ юркнетъ въ Брынскій лѣсъ и поминай какъ звали!.. Разбойникъ ли уйдетъ изъ острога—куда? въ Брынскій лѣсъ; разстрига какой-нибудь, бѣглый холопъ—всѣ туда!.. Не то, чтобъ всякій раскольничій скитъ былъ воровской пристанью, — нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ! Савельичъ говоритъ, что въ иныхъ скитахъ живутъ очень смирно и зазнамо разбойника держать не станутъ; да вѣдь у него на лбу не написано, что онъ разбойникъ; а мошеннику что вѣру перемѣнить?.. Придетъ въ любой скитъ, да скажетъ: «хочу, дескать, спасаться и постоять за истинную вѣру»,— такъ его какъ разъ примутъ.

— Коли это правда, такъ Брынскій-то лѣсъ настоящее разбойничье гнѣздо?

— Да, батюшка, въ старину, говорятъ, и проѣзду не было. Теперь начали тамъ селиться и завелись большія помѣстья, такъ стало потише; а съ той поры, какъ переѣхалъ туда на житье въ свою вотчину какой-то боярин Куродавлевъ,—по дорогамъ-то шалить почитай вовсе перестали. Знаешь ли что, батюшка, ужъ не къ этому ли Куродавлеву посылаетъ насъ боярин?.. Вѣдь они старинные пріятели.

— Можетъ-быть и къ нему.

— Э!.. постой-ка, батюшка!.. Да это никакъ тебя кличутъ?.. Ну, такъ и есть!.. Здѣсь!.. здѣсь!.. Видно боярин тебя спрашиваетъ... Сюда, Сидорычъ, сюда!.. Дмитрій Афанасьичъ здѣсь.

— Что это, батюшка, въ какую ты зашелъ трущобу?—сказалъ Сидорычъ, продираясь сквозь густые кусты.—Насилу я тебя нашелъ! Пожалуй къ боярину; онъ давно ужъ изволитъ тебя спрашивать.

Левшинъ поспѣшилъ исполнить приказаніе Буйносова. Онъ нашелъ его за столомъ, на которомъ было все нужное для письма. Боярин перечитывалъ про

себя довольно большой столбецъ, исписанный его рукою. Окончивъ чтеніе, онъ свернулъ въ круглый свитокъ эту длинную полосу бумаги, обвязалъ ее шнуркомъ и сталъ прикладывать къ концамъ этого шнурка восковую печать съ изображеніемъ преподобнаго Кириллы чудотворца Новозерскаго.

— Присядь, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Буйносовъ, продолжая заниматься своимъ дѣломъ.—Мнѣ надо съ тобою поговорить.

— А что твоя нога, Кирилла Андреевичъ!—спросилъ Левшинъ.

— Да побаливаетъ, а ужъ стать на нее вовсе не могу. Это бы ничего—я еще, по милости Божіей, дешево отдѣлался, и кабы мнѣ не нужно было ѣхать въ дорогу, такъ и охъ бы не молвилъ... А нужда крайняя!.. Ну, да видно Богу не угодно, дѣлать нечего! Ты помнишь, я думаю, что я сбирался ѣхать въ мою Брынскую вотчину и хотѣлъ тебя взять съ собою?.. Здѣсь тебѣ оставаться нельзя, Дмитрій Афанасьичъ; хоть моя подмосковная и въ сторонѣ, а все какъ-то не надежно—близко больно; того и гляди, что забредутъ сюда прежніе твои сослуживцы, или кто-нибудь изъ моихъ домашнихъ проболтается—долго ли до грѣха!.. А тамъ хоть цѣлый вѣкъ живи, никто о тебѣ не провѣдаетъ. Тебѣ надобно будетъ ѣхать за Мещовскъ, Брынскими лѣсами. Въ этихъ лѣсахъ живетъ, въ своей вотчинѣ, въ полуверстѣ отъ проѣзжей дороги, старинный мой пріятель, Юрій Максимовичъ Куродавлевъ. Ты отвезешь ему эту грамотку,—продолжалъ бояринъ, подавая запечатанный свитокъ Левшину,—и погостишь у него до моего пріѣзда. Юрій Максимовичъ человѣкъ очень добрый; есть у него свои причуды,—да у кого ихъ нѣтъ! Въ старину онъ былъ чудо-богатырь, удалой воинъ, лихой наѣздникъ и за круговой братиною такой весельчакъ, что хоть кого распотѣшитъ; теперь онъ поуходился, а все еще удали-то въ немъ на трехъ молодцовъ станетъ. А какой радушный хозяинъ, какой хлѣбосолъ!.. Только ужъ не прогнѣвайся: что ему въ

голову засѣло, того, какъ говорится, клиномъ не выколотишь. Да вотъ хоть теперешнее его житье; ну, что за радость? забился въ этакую глушь! И добро бы еще былъ человѣкъ семейный, а то вдовецъ, дѣтей нѣтъ; я чаю, вовсе одичалъ!.. Бывало, водилъ хлѣбъ-соль съ своею братьею боярами, жилъ всегда съ людьми, а теперь живетъ съ разбойниками, медвѣдями, волками да и тѣхъ-то скоро не будетъ: онъ ихъ всѣхъ переведетъ. А все вѣдь по упрямству: задумалъ считаться мѣстами, когда покойный государь Ѳеодоръ Алексѣевичъ указалъ быть безъ мѣстъ. Я пытался было вызвать его опять въ Москву, да нѣтъ, и слышать не хочетъ. «Я, дескать, обиженъ крѣпко—стою въ томъ, и самъ ни за что не попячусь: безъ царскаго указа не вернусь въ Москву!» Что будешь съ нимъ дѣлать... Я недавно получилъ отъ него вѣсточку:—пишетъ онъ мнѣ, что до него дошли слухи о послѣднемъ стрѣлецкомъ мятежѣ. «Да я, дескать, и вѣры этому не даю—не можетъ статься, чтобъ русскіе люди дерзнули возстать противъ своего Царя и помазанника Божія. Да этакого, дескать, срама никогда не бывало на святой Руси».—Вотъ ты будешь для него живой грамоткой, Дмитрій Афанасьичъ, и когда онъ узнаетъ, ради чего ты бѣжалъ изъ Москвы, такъ онъ съ тобою и разстаться не захочетъ. Юрій Максимовичъ пишетъ также ко мнѣ... Да что!.. и вѣрить этому и говорить объ этомъ не хочу!.. А то еще, пожалуй, дашь себѣ волю—обнадѣешься!.. Зачѣмъ?.. Я ужъ привыкъ къ моей грусти и давно пересталъ надѣяться...—Бояринъ опустилъ голову, закрылъ руками глаза и, помолчавъ нѣсколько времени, заговорилъ опять, обращаясь къ Левшину: — Тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ, должно отправиться сегодня въ ночь, такъ, чтобъ къ свѣту верстъ тридцать отъѣхать. Днемъ около Москвы вездѣ стрѣльцы шатаются, какъ разъ кому-нибудь попадешься. Коли дастъ Господь, и я смогу дней черезъ пять пуститься въ дорогу, такъ мѣшкать не стану. Да скажи-ка мнѣ, Дмитрій Афанасьичъ, не нужны ли тебѣ деньги?..

— Нѣтъ, Кирилла Андреевичъ, благодарствуй за твое отеческое попеченіе!.. Денегъ у меня довольно: онѣ вѣдь не всѣ со мною были, когда я попался въ руки къ моимъ злодѣямъ; а коли милость твоя будетъ, такъ прикажи мнѣ дать какое-нибудь оружіе: меня привели къ тебѣ съ пустыми руками.

— А вотъ,—сказалъ бояринъ,—сними-ка со стѣнки эту саблю... Нѣтъ! не эту.. Эту пожаловалъ мнѣ царь Алексѣй Михайловичъ; ее дѣлали на заказъ въ оружейной мастерской палатѣ... А водъ подлѣ-то... Сабля казылбашская, въ серебряной оправѣ... Ну, да! вотъ эта!.. Изволь владѣть ею. Сабля добрая, булатная, и вѣрно тебѣ по рукѣ придется... Да возьми-ка еще съ собою вотъ эти турскіе пистоли...

— Зачѣмъ, боярин?.. и такъ много твоихъ милостей,—сказалъ Левшинъ, любуясь великолѣпной полосою своей сабли.—Будетъ съ меня и этого товарища.

— Такъ скажи дворецкому, чтобъ онъ отпустилъ слугѣ твоему пищаль или пару пистолей. По дремучимъ лѣсамъ спустя рукава ѣздить не надо; почему знать?.. не разбойникъ, такъ медвѣдь попадется. Теперь, Дмитрій Афанасьичъ, потрудись вынуть изъ кіота—вонъ эту икону Иверской Божіей Матери, въ серебряномъ золоченомъ окладѣ.

Левшинъ исполнилъ приказаніе Буйносова.

— Подай мнѣ ее сюда,—продолжалъ бояринъ.—Я хочу благословить тебя на дорогу. Да сохранитъ тебя отъ всякаго зла Пречистая Дѣва подъ святымъ покровомъ Своимъ. Она заступница и мать всѣхъ сиротъ, а ты вѣдь также, какъ я, круглый сирота.

Когда Левшинъ приложился къ иконѣ, бояринъ поцѣловался съ нимъ и сказалъ:

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ, я снабдилъ тебя оружьемъ земнымъ и духовнымъ, теперь съ Богомъ!.. Да смотри же, лишь только смеркнется, такъ и отправляйся; чѣмъ дальше ты за ночь отъѣдешь отъ Москвы, тѣмъ лучше.

Простясь съ Буйносовымъ, Левшинъ вошелъ въ

свою свѣтлицу. Онъ засталъ въ ней Ферапонта, который, уложивъ въ небольшой кожаный чемоданъ свои и барскіе пожитки, набивалъ суконную кису съѣстными припасами.

— Что это?— сказалъ Левшинъ,—жареный гусь!.. крупичатый пирогъ!.. цѣлый окорокъ ветчины!... Да мы всего этого и въ десять дней не съѣдимъ.

— Такъ чтожъ, батюшка?.. Люди умные говорятъ: ѣдешь въ дорогу на день, бери хлѣба на недѣлю!

— А это хлѣбъ что ль?—спросилъ Левшинъ, указывая на огромную жестяную сулею, штофа въ два.

— Подчасъ лучше хлѣбца, Дмитрій Афанасьичъ! Съ людьми дорожными всяко бываетъ: иной разъ придется ночевать въ чистомъ полѣ, подъ дождемъ — промокнешь, продрогнешь, такъ было бы чѣмъ душу отвести.

То-то, смотри! не больно часто въ эту сулею-то заглядывай!

— И, что ты, батюшка! Да развѣ я пьяница какой?.. Выпилъ стаканъ, другой — много три, да и шабашъ!

Левшинъ пошелъ проститься съ священникомъ, а Ферапонтъ отправился въ людскую поужинать; хлебнулъ на дорогу винца и принялся сѣдлать лошадей.

Вотъ солнышко сѣло и по ночнымъ небесамъ разсыпались звѣзды. Левшинъ простился въ послѣдній разъ съ этимъ тихимъ убѣжищемъ, въ которомъ провелъ нѣсколько дней, если не вовсе чуждыхъ грусти, то, по крайней мѣрѣ, спокойныхъ. Наши путешественники, выѣхавъ за околицу села Богородскаго, добрались проселкомъ до большой Калужской дороги и пустились по ней рысью. Утренняя заря только еще стала заниматься, когда они, *пробѣжавъ*, съ небольшими отдыхами, слишкомъ тридцать верстъ сряду, своротили въ сторону и остановились покормить лошадей въ небольшой деревнѣ, которая, притаясь за лѣскомъ, стояла въ полуверстѣ отъ проѣзжей дороги.

IX.

Въ концѣ семнадцатаго столѣтія, въ числѣ непроходимыхъ лѣсовъ, покрывавшихъ нѣкогда большую часть Россіи, одно изъ первыхъ мѣстъ занимали, находящіеся въ нынѣшней Калужской губерніи, дремучіе лѣса, посреди которыхъ протекаетъ небольшая рѣчка *Брынь*. И теперь еще лѣса *Брынскіе*, о которыхъ нерѣдко упоминаютъ въ народныхъ сказкахъ и повѣрьяхъ, представляются воображенію простолюдиновъ какими-то безвѣстными дебрями, мрачнымъ и пустыннымъ жилищемъ косматыхъ медвѣдей, голодныхъ волковъ, лѣшихъ, оборотней и разбойниковъ; въ этомъ отношеніи они берутъ даже первенство надъ знаменитымъ Муромскимъ лѣсомъ, и если крестьянинъ степныхъ губерній желаетъ сказать про какого-нибудь бѣглаго, что онъ пропалъ безъ-вѣсти, то нерѣдко выражается слѣдующимъ образомъ: «Кто его отыщетъ, кормилецъ!.. чай, ушелъ въ Брынскіе лѣса». Въ 1682 году, среди этихъ непроходимыхъ лѣсовъ, на старой Мещовской дорогѣ, стоялъ, близъ рѣчки Брыни, верстахъ въ шестидесяти отъ ея впаденія въ рѣку Жиздру, постоялый дворъ. Окруженный со всѣхъ сторонъ дремучимъ лѣсомъ, онъ былъ единственнымъ пріютомъ для проѣзжихъ. Верстъ на десять кругомъ не было, какъ говорится, ни кола, ни двора, и зимою голодные волки приходили выть подъ самыми окнами *Краснаго стана*: такъ назывался этотъ постоялый дворъ.

Въ одинъ жаркій лѣтній день человѣкъ до двадцати дорожныхъ людей, изъ которыхъ одни ѣхали въ Мещовскъ, а другіе въ Брянскъ, остановились кормить въ Красномъ станѣ. Въ избѣ было душно, и почти всѣ проѣзжіе, по большей части простые обозники, пообѣдавъ чѣмъ Богъ послалъ, то-есть похлебавъ щей и поѣвъ крутой гречневой каши съ масломъ, отдыхали на завалинѣ передъ избою. Шагахъ въ пятидесяти отъ нихъ, вдоль длинной поляны, обхваченной со всѣхъ сторонъ сплошнымъ боромъ, струилась рѣчка Брынь,

по лѣвому ея берегу тянулась песчаная дорога, которая, въ полуверстѣ отъ постоялаго двора, какъ-будто бы соскучивъ слѣдовать за всѣми изгибами рѣчки, круто оборачивала въ сторону и терялась въ лѣсной глуши. У самыхъ воротъ постоялаго двора, поодаль отъ другихъ, сидѣлъ на скамьѣ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, въ короткомъ суконномъ балахонѣ съ узкими рукавами. Это платье, не подпоясанное ни кушакомъ, ни поясомъ, было застегнуто въ двухъ мѣстахъ на мѣдныя круглыя пуговицы. На лѣвой рукѣ его висѣли кожаныя чотки, которыя оканчивались, вмѣсто креста, двумя треугольниками, также кожаными. Этотъ проѣзжій держалъ у себя на колѣняхъ деревянную, крытую олифой, чашку, изъ которой ѣлъ гречневую кашу оловянной ложкою, а подлѣ него на скамьѣ стояла сулея, оплетенная берестою. Онъ остановился кормить въ одно время съ другими проѣзжими, но не захотѣлъ обѣдать за общимъ столомъ и ѣсть изъ посуды, принадлежащей хозяину постоялаго двора. Наружность этого проѣзжаго была довольно замѣчательна. Длинная съ просѣдью борода, приглаженная и расчесанная съ большимъ стараніемъ, но къ которой, сколько можно было замѣтить, никогда не прикасались ножницы; курчавая голова, крутой, широкій лобъ, вздернутый кверху носъ и сѣрые угрюмые глаза, по временамъ задумчивые, а иногда сверкающіе и исполненные жизни — все это вмѣстѣ составляло физіономію не очень красивую, но весьма выразительную и носящую на себѣ отпечатокъ какого-то самобытнаго и твердаго характера. Съ краю на завалинѣ сидѣлъ другой проѣзжій, котораго можно было принять, по одеждѣ, за простого горожанина или слугу богатаго боярина. Подлѣ него отдыхалъ, также на завалинѣ, худощавый купецъ съ длинной бородою и подбритымъ затылкомъ, который прикрывался высокимъ *козыремъ*, то-есть стоячимъ воротникомъ суконнаго *охабня* съ закинутыми назадъ рукавами. Этотъ купецъ разговаривалъ съ своимъ сосѣдомъ протяжно, свысока и какимъ-то вычурнымъ языкомъ,

который, повидимому, казался его собесѣднику верхомъ краснорѣчія и премудрости человѣческой.

— Ну, господинъ приказчикъ, — говорилъ этотъ сладко-глаголивый купецъ, обращаясь къ своему сосѣду, — если бы я вѣдалъ, что по симъ Брынскимъ лѣсамъ лѣтняя дорога столь тяжка и многотрудна, то ни за какія блага въ мірѣ не поѣхалъ бы самъ изъ Москвы въ этотъ Брянскъ, который, — прости Господи! — словно кладъ намъ не дается.

— А ваша милость обыватель московскій? — спросилъ почтительно приказчикъ.

— Да, любезный! — отвѣчалъ купецъ, поглаживая съ довольнымъ видомъ свою длинную бороду. — Мы, благодаря, во-первыхъ, Господа, а во-вторыхъ, родителей нашихъ, числимся въ Московской гостиной сотнѣ.

— Такъ-съ, батюшка, такъ-съ!.. А что, я думаю, куда красна наша матушка-Москва бѣлокаменная?.. Хоть бы издалека однимъ глазкомъ на нее взглянуть!

— А развѣ ты никогда не бывалъ въ нашемъ престольномъ градѣ?

— Нѣтъ, батюшка!.. Бояринъ посылаетъ меня по своимъ отчинамъ, а въ его московскій домъ ѣздитъ другой приказчикъ.

— Вотъ что!.. Да, братецъ, да! благолѣпна наша матушка-Москва златоглавая, различнымъ зодчествомъ украшена; а сколько храмовъ Божьихъ!.. какіе терема царскіе!..

— Чай, все, батюшка, такъ золотомъ и горитъ?

— Да, любезный, да!.. Истинно очеслѣпительное велелѣпіе! И златомъ чистымъ, и каменьемъ честнымъ, и жемчугомъ многоцѣннымъ, и мусіемъ дивнымъ — всѣмъ украшены чертоги царскіе.

— Такъ, батюшка, такъ!.. То-то, подумаешь, наше деревенское дѣло — что мы? Люди темные, ничего не видали, ничего не слыхали!.. Что и говорить: въ лѣсу росли, пенькамъ Богу молились. А, чай, въ Москвѣ-то и другихъ всякихъ диковинокъ много?.. Вотъ мнѣ недавно разсказывали про какую-то заморскую вещь.

Она стоитъ на царскомъ дворѣ за Благовѣщенскимъ соборомъ—сама въ колоколъ бьетъ.

— А, знаю, знаю!—подхватилъ купецъ.—Эта вещь, любезный, называется часомѣрье, на всякій часъ ударяетъ молотомъ, размѣряя часы дневные и ночные. Не бо человѣкъ ударяше, но человѣковидно, самозвонно, страннолѣпно и сотворено человѣческою хитростію...

— А вся хитрость человѣческая суета бо есть,— прервалъ громко проѣзжій въ балахонѣ, — и всѣ дѣла ея богомерзки и богопротивны.

Купецъ обернулся и поглядѣлъ съ удивленіемъ на проѣзжаго, который принялся снова ѣсть свою гречневую кашу.

— А что, батюшка,—сказалъ приказчикъ, не обращая вниманія на слова проѣзжаго,—давно ли ты изъ Москвы?

— Да близко недѣли, любе́зный.

— Ну что, хозяинъ, какъ здравствуютъ государи и великіе цари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи? И все ли благополучно въ нашемъ престольномъ градѣ?

— Теперь, благодареніе Господу, нечестивые крамольники перестали злодѣйствовать, смятенія народныя прекратились—и заступленіемъ Владимірской Божіей Матери и московскихъ угодниковъ, устыжены и попраны всѣ враги православія. А съ мѣсяцъ тому назадъ куда тяжко было!.. Смуты да мятежи!.. Бывало каждый день гудитъ всполошный колоколъ и буйные стрѣльцы, яко звѣри хищные, рыскаютъ по стогнамъ градскимъ!.. Сколько знаменитыхъ бояръ они перегубили!.. Да еще мало того: соорудили на Красной площади столбъ съ таковою надписью, якобы они, проклятые крестоизмѣнники, постояли за правду и казнили не честныхъ бояръ, а предателей и злодѣевъ. Вотъ стрѣльцы поугомонились, такъ залаяли эти псы нечестные — стригольники, авакумовцы и разные другіе еретики; а пуще-то всѣхъ этотъ продерзостный авакумецъ, разстрига Никита Пустосвятъ,—сей волкъ несытый, достойно стяжавшій...

— Вѣнецъ мученическій! — прервалъ проѣзжій въ балахонѣ.

Купецъ нахмурилъ брови и сказалъ вполголоса: — Ну, такъ и есть - раскольникъ!.. Экъ они, окаянные, плодятся! словно саранча какая!.. Вотъ ужъ третьяго сегодня вижу.

— Да развѣ ты не знаешь, хозяинъ, — прервалъ также вполголоса приказчикъ, — вѣдь здѣсь въ Брынскихъ-то лѣсахъ настоящій ихъ притонъ и есть?

— Притонъ!.. Имъ теперь вездѣ притонъ!.. Кабы ты зналъ да вѣдалъ, у кого они подъ крылышкомъ!.. Ну, дастъ отвѣтъ передъ Господомъ царевна Софья Алексѣевна... Богъ съ ней!..

— Какъ такъ?.. Да неужели благочестивая наша царевна Софья Алексѣевна...

— Да, любезный, — продолжалъ купецъ, понизивъ еще голосъ, — она-то имъ, окаяннымъ, и мирволитъ... Что грѣхъ таить: и смуты, и мятежи, и всякія безчинства стрѣлецкія — все было по ея наущенію; такъ диво ли, что она раскольниковъ приголубливаетъ?.. Вѣдь стрѣльцы-то почитай, всѣ еретики: кто стригольникъ, кто авакумецъ, кто субботникъ — такой сбродъ, что не приведи Господи!.. Прилучилось мнѣ однажды, по моимъ торговымъ дѣламъ, зайти къ нимъ на Лыковъ дворъ, — вотъ что въ Кремлѣ у Троицкихъ воротъ, — такъ я не зналъ, куда дѣваться отъ ихъ богохульныхъ рѣчей. И въ старину бывали еретики: еще при дѣдушкѣ царя Іоанна Васильевича Грознаго, ближній дьякъ Курицынъ, по прозванью Волкъ, казненъ за жидовскую ересь, да тогда они отметались отъ церкви тайно и во услышаніе всѣмъ не дерзали богохульствовать, — а нынѣ... Истинно любезный, неусыпающая скорбь душѣ моей, какъ помыслю, до чего мы дожили!.. Окаянные раскольники съ буйными воплями вызываютъ на состязаніе святителей православной церкви; крамольные стрѣльцы врываются въ царскіе чертоги, губятъ неповинныхъ бояръ — и чтожъ любезный?.. Имъ же даютъ похвальныя грамоты и, ради почета, жалуютъ

изъ стрѣльцовъ въ надворную пѣтоху!.. А все вѣдь Софья Алексѣевна!.. Эхъ, кабы не она, такъ благодать Божья!.. У насъ былъ бы одинъ царь Петръ Алексѣевичъ,—а то двое!.. Ну, когда это бывало на святой Руси?.. И Господь Богъ единъ на небесахъ, такъ на что же намъ двухъ царей?

— Да вѣдь они, хозяинъ, родные братья, такъ почему жъ имъ обоимъ не царствовать?

— Нѣтъ, господинъ приказчикъ! То ли дѣло, когда одна глава правитъ всѣмъ тѣломъ. Хорошъ царь — Божья милость; неблагой и немилосердый—чтожъ дѣлать, любезный — наказанье Господне!.. Вѣдь все отъ Господа: и благораствореніе воздуховъ небесныхъ, и изобиліе плодовъ земныхъ, и язва, и гладъ, и трусъ, и казнь, и милость, — все въ руцѣ Божіей!.. Такъ чтожъ намъ мудровать?.. Вотъ хоть въ Бозѣ почивающій покойный государь Алексѣй Михайловичъ царствовать началъ съ юныхъ годовъ; были противъ него и смуты народныя и самозванцы. Одинъ разбойникъ Стенька Разинъ чего стоилъ! Да какъ никто царю не мѣшалъ, такъ онъ со всѣми управился, распространилъ и увеличилъ Царство Русское, воротилъ назадъ Смоленскъ, выгналъ ляховъ изъ Украины, а царство Миритинское само ему поддалось.

— Такъ батюшка, такъ!.. Что и говорить: былъ царь-государь! Врядъ ли вымолимъ у Господа другого подъ-стать ему, покойнику.

— Да врядъ, любезный!.. То-то было времячко!

— Такъ, батюшка! было, было,—да видно быльемъ поросло!

— Вотъ ужъ истинно,—продолжалъ купецъ,—пожили мы во всякомъ гобзованіи и довольствѣ!.. А веселья-то какія бывали!.. И псова охота съ рогами и трубами за селомъ Алексѣевскимъ, и соколиная потѣха... А игрища-то какія!.. Какъ теперь гляжу: была комедь въ Преображенскомъ, потѣшали государя иноземцы, какъ Олоферну царю голову отсѣкли; да еще о Новуходоносорѣ царѣ, о телѣ златѣ и о трехъ отроцѣхъ...

А ужъ лучше-то всего было однажды, зимою — кажись въ день Аксиньи полухлѣбницы—въ домѣ боярина Артамона Сергѣевича Матвѣева, дворовые люди его лицедѣяли, какъ царь Артаксеркъ указалъ повѣсить Амана; и нѣмцы въ органы играли, и на фіолахъ, и всякія другія потѣхи разныя...

— Да какъ это, хозяинъ,—прервалъ приказчикъ,— удалось тебѣ побывать на этихъ игрищахъ? Хоть ты и гость московскій, да вѣдь, чай, на такія игрушки и потѣхи царскія допускаютъ однихъ только князей да бояръ?

— А вотъ какъ, любезный: въ Преображенскомъ есть у меня пріятель, подключникъ кормового дворца, по прозванію Ершъ Кутерма; а на пиру боярина Артамона Сергѣевича Матвѣева приказалъ пропустить меня въ потѣшную палату свойственникъ его, а мой благодѣтель, Кирилла Андреевичъ Буйносовъ.

— Кирилла Андреевичъ Буйносовъ?.. Да вѣдь онъто и есть мой бояринъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Ну, любезный, въ сорочкѣ же ты родился!.. Да такихъ господъ, каковъ твой, на бѣломъ свѣтѣ мало.

— Что и говорить, батюшка,—дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!

— Дай Господи!.. Да что онъ у васъ все такой грустный!.. Вотъ ужъ я его милость третій годъ знаю, а никогда не видывалъ, чтобъ онъ изволилъ распотѣшиться. Все какъ-будто бы сердце ему что-то щемитъ.

— Охъ, батюшка! да какъ у него сердцу-то и не болѣть: вѣдь онъ круглый сирота!.. А семья-то какая была! одиннадцать дочерей, одна другой лучше!

— И ни одной въ живыхъ не осталось?

— Ни единой! всѣхъ прибралъ Господь. Три утонули, переѣзжая на паромѣ черезъ Оку, пять скончались отъ разныхъ недуговъ, двѣ померли отъ оспы, а послѣдняя-то дочка, самая меньшая, Богъ знаетъ гдѣ.

— Какъ такъ?

— Да такъ, батюшка, безъ вѣсти пропала!

— Безъ вѣсти пропала?.. Что за диво такое!.. Я, чай, у вашего боярина хожалыхъ-то за дочками было довольно?

— Какъ-же: и мамушки, и нянюшки—мало ли этой челяди у нашего боярина.

— Такъ чего же онѣ смотрѣли?

— Чтожъ дѣлать, на грѣхъ мастера нѣтъ, кормилецъ! Ужъ подлинно, нянюшка Татьяна и мамушка Игнатьевна смотрѣли за своей барышней, съ глазъ ее не спускали, по пятамъ ходили, а все-таки сгибла да пропала. Вотъ то-то и есть: чего Господь Богъ беречь не станетъ, того ужъ люди не уберегутъ.

— Такъ, любезный—такъ! Да не даромъ и пословица: у семи нянекъ дитя всегда безъ глазу. — Да какъ же это случилось?

— А вотъ какъ: тому годовъ пятнадцать назадъ, лѣтомъ, объ эту же пору, бояринъ мой со всей семьей ѣхалъ изъ Мещовска въ свою Брынскую волость. Верстахъ въ тридцати отсюда, близъ села Бѣликова, разсудилось покойной его сожительницѣ остановиться пополдничать на одной полянѣ, въ лѣсу. Бояринъ нашъ всегда ѣздитъ по дорогамъ людно. Насъ было всѣхъ этакъ человѣкъ до пятидесяти. Вотъ мы раскинули для господъ шатры, сводили коней на водопой, разложили огни, да и ну варить кашицу. Господа пополдничали, прилегли отдохнуть, а дочки ихъ съ нянюшками и съ сѣнными дѣвушками разбрелись во всѣ стороны, однѣ стали на лугу въ горѣлки играть, другія пошли въ лѣсъ по грибы. Вотъ этакъ около вечеренъ, господа поднялись, начали укладываться; барышни стали разсаживаться по колымагамъ и кибиткамъ, а я пошелъ, нарвалъ на лугу колокольчиковъ, ландышей, ноготковъ, связалъ одиннадцать пучечковъ, да и сталъ ихъ раздавать всѣмъ боярскимъ дочкамъ, каждой по пучку. Кажись, роздалъ всѣмъ, а гляжу—одинъ пучокъ лишній. Кой прахъ,—подумалъ я,—видно задѣлилъ какую-ни-

будь! Обошелъ опять всѣ повозки, перечелъ всѣхъ барышенъ... а! вотъ что: самой-то меньшой нѣтъ! Смотрю, мамушка Игнатьевна роется въ кибиткѣ, да укладываетъ подушки. — Гдѣ твое дитя? — спросилъ я. — А вонъ тамъ въ лѣсу съ нянюшкою. Я въ лѣсъ—вдругъ пырь мнѣ въ глаза Татьяна!—А барышня твоя гдѣ?—Чай тамъ у повозки съ мамушкой Игнатьевной. — Да вѣдь она была съ тобою?—Ну да, прежде изволила ходить по лѣсу со мною, а тамъ, какъ набрала грибковъ, и побѣжала показывать ихъ мамушкѣ, да видно ужъ такъ при ней и осталась. — Что ты! перекрестись!.. Игнатьевна вонъ тамъ, одна-одинехонька, а дитя-то ваше гдѣ?—Ахъ, Господи—закричала Татьяна, — такъ видно барышня осталась въ лѣсу!.. Вотъ мы съ Татьяной въ лѣсъ. Начали кричать, аукать — кто-то откликается, да только не ребячьимъ голосомъ. — Охъ, худо!—подумалъ я, — не доброе! Ужъ не лѣшій ли?.. Избави Господи! Онъ и взрослаго обойдетъ, такъ бѣда!— Мы съ Татьяной обѣгали всю опушку, осмотрѣли каждый кусточекъ, — нѣтъ какъ нѣтъ!.. Вотъ и господа хватились своей дочки. Батюшки, какая пошла тревога!.. Самъ боярин сѣлъ на коня; холопи, кто верхомъ, кто пѣшкомъ разбрелись вразсыпную по лѣсу, проискали всю ночь, осипли кричавши... нѣтъ барышни—сгибла да пропала!.. Трое сутокъ простояли мы на этомъ мѣстѣ, изо всего околодка сбили поголовно крестьянъ, верстъ на пятнадцать обшарили кругомъ...

— И все понапрасну?

— Да, батюшка.

— Таки вовсе никакихъ слѣдовъ не оказалось?

— Ну, нѣтъ. Въ одномъ мѣстѣ какъ-будто бы на слѣдъ напали: этакъ версты три отъ нашей стоянки, одинъ изъ холопей поднялъ четырехъ-конечный серебряный крестикъ; его признали за тотъ самый тѣльникъ, который носила боярышня.

— Четырехъ-конечный крестикъ?.. Куда раскольники не жалуютъ этихъ крестиковъ!.. А что, ничего больше не нашли?

— Ничего.

— Да какъ же она его обронила: вѣдь, чай, крестъ-то висѣлъ у нея на гайтанчикѣ?

— Какъ же, батюшка.

— Видно металась больно, сердечная!

— Видно что такъ, кормилецъ. Одному только мы очень дивовались: вмѣстѣ съ этимъ крестикомъ, на томъ-же самомъ гайтанѣ, барышня носила образокъ въ серебряномъ окладѣ — икону святой великомученицы Варвары; этимъ образкомъ благословилъ ее крестный отецъ, бояринъ Куродавлевъ. Такъ ужъ если она крестикъ обронила, такъ и образокъ бы съ нимъ нашли.

— Ну, это еще не диво; завалился куда-нибудь. А какихъ она была годковъ?

— Да еще четырехъ лѣтъ не было.

— Атъ, дитятко горемычное!.. Видно она, голубушка, увязалась за бабочкой, или за птичкой какою!.. Долго ли такому младенцу заплутаться!.. А тамъ чай забрела въ трясину, или дикій звѣрь..

— Должно быть такъ, батюшка!.. То-то жалость была... И теперь, какъ вспомню, такъ сердце кровью обольется! Бояринъ рветъ на себѣ волосы, боярыня лежитъ какъ мертвая — слезъ даже нѣтъ. Нянюшка Татьяна убѣжала въ лѣсъ, да ужъ назадъ и не бывала; Игнатьевну изъ петли вынули, а боярыня съ той поры стала хизнуть, прочахла всю осень, а тамъ хуже, да хуже, да о зимнемъ Николѣ Богу душу и отдала. Подлинно, правду говорятъ: «пришла бѣда, отворяй ворота». Одно горе съ плечъ, другое на плечи: скончалась сожительница, стали умирать дочери. Каково, подумаешь: съ небольшимъ въ три года изъ люднаго семьянина сдѣлаться круглымъ сиротою!.. Ты, батюшка, знаешь господина — ужъ подлинно добрая душа!.. Благочестивъ, богомоленъ...

— Да, да! истинно христолюбивый бояринъ.

— Отходилъ ли отъ него когда нищій безъ подая*нія?.. Обижалъ* ли онъ кого?

— Сохрани Господи!.. Да таковой клеветы не изречетъ и врагъ его.

— Такъ какъ же послѣ этого не согрѣшишь, не скажешь: за что такой гнѣвъ Божій...

— Что ты это, господинъ приказчикъ?—прервалъ купецъ: — и думать этого не моги... Да развѣ ты не вѣдаешь: кого Господь любитъ, того и наказуетъ?

— Такъ, батюшка, такъ!.. Кто и говоритъ, конечно, буди во всемъ Его святая воля!.. А все какъ подумаешь...

— Постой-ка, постой, любезный!.. Вотъ никакъ еще ѣдутъ постояльцы... Видишь, вонъ тамъ два вершника, по дорогѣ изъ Мещовска?.. Вонъ опять выѣхали!.. Э! да это, кажись, люди ратные!

Отъ лѣсной опушки отдѣлились два всадника и шибкой рысью подъѣхали къ воротамъ постоялаго двора.

X.

Съ перваго взгляда можно было отгадать, что одинъ изъ пріѣхавшихъ всадниковъ былъ господинъ, а другой его слуга. Подъ первымъ былъ дорогой персидскій аргамакъ, въ бархатной, шитой золотомъ, уздечкѣ, подъ вторымъ поджарый донецъ, не очень взрачный собою, но повидимому не знающій устали и готовый верстъ двадцать сряду мчать удалого сѣдока, какъ говорится въ сказкахъ: «по горамъ и по доламъ, по болотамъ зыбучимъ и пескамъ сыпучимъ». Господинъ былъ прекрасный и видный собою молодецъ, лѣтъ двадцати-двухъ или трехъ. Слугѣ казалось лѣтъ подъ сорокъ; онъ былъ небольшого роста, но необычайно плотенъ, могучъ плечами, съ длинными жилистыми руками и высокой богатырской грудью; его широкое, изрытое оспою, лицо было вовсе некрасиво, но, несмотря на это, оно казалось даже пріятнымъ, потому что выражало какую-то простодушную веселость и доброту, не чуждую однакожъ ни ума, ни смѣтливости, которыми всегда отличался коренной русскій народъ отъ своихъ

сѣверныхъ и западныхъ сосѣдей. Мы зовемъ теперь этихъ сосѣдей финнами и бѣлоруссами, а въ старину ихъ величали Чудью бѣлоглазой и Литвою долгополой. Этотъ старинный обычай давать и чужимъ и своимъ прозвища, въ которыхъ почти всегда заключается насмѣшка, принадлежитъ также къ числу особенностей русскаго народнаго характера.

Проѣзжій господинъ былъ одѣтъ очень щеголевато; на немъ былъ свѣтло-зеленый суконный кафтанъ съ малиновымъ подбоемъ и золотыми петлицами, малиновая остроконечная шапка съ мѣховымъ околышемъ и желтые сафьяные сапоги съ мѣдными скобами. Къ шелковому съ золотыми кистями кушаку была привѣшана богатая персидская сабля, а на толстомъ шелковомъ шнуркѣ висѣла, черезъ плечо, нагайка, у которой кнутовище было украшено перламутромъ и слоновою костью. Слуга этого проѣзжаго былъ одѣтъ очень просто: на немъ была войлочная бѣлая шапка, посконный *азямъ* и въ накидку длинная *однорядка* изъ толстаго сермяжнаго сукна; но зато онъ былъ вооруженъ лучше своего господина... Онъ былъ также при саблѣ, и сверхъ того изъ-за кушака виднѣлась деревянная рукоятка длиннаго ножа, а надѣтая черезъ плечо *берендейка* или ремень, съ привѣшанными къ нему деревянными патронами и привязанная къ сѣдельной лукѣ *ручница*, то-есть ручная короткая пищаль, доказывали, что онъ имѣлъ при себѣ не одно холодное оружіе и могъ бы, въ случаѣ нужды, биться съ врагомъ—какъ говорили въ старину—огненнымъ боемъ. Я думаю, читатели давно уже узнали въ этихъ проѣзжихъ знакомца своего Левшина и слугу его Ферапонта.

— Богъ помощь, добрые люди!—сказалъ Левшинъ, соскочивъ молодцомъ съ своего коня.

— Милости просимъ!—отвѣчали купецъ и приказчикъ, вставая и вѣжливо кланяясь проѣзжему. Обозники сняли также свои шапки и отвѣсили ему по низкому поклону; одинъ только проѣзжій въ балахонѣ не привсталъ, не поклонился, а только взглянулъ изъ-под-

лобья на проѣзжаго молодца, сначала довольно сурово, а потомъ съ примѣтнымъ любопытствомъ.

— Ферапонтъ!—продолжалъ Левшинъ, — дай конямъ-то немного простынуть, а тамъ своди ихъ на рѣчку.

— Да не велишь ли, батюшка, ихъ разсѣдлать,— сказалъ хозяинъ постоялаго двора, подойдя съ почтительнымъ поклономъ къ проѣзжему.

— Нѣтъ, любезный,—отвѣчалъ Левшинъ,—мы здѣсь кормить не станемъ, а дадимъ только конямъ вздохнуть и немного поразомнемся.

— Такъ не въ угоду ли будетъ твоей милости перекусить чего-нибудь? У меня есть гречневая каша съ масломъ, щи добрыя...

— Спасибо, хозяинъ!.. Я обѣдалъ верстъ пятнадцать отсюда—въ селѣ Бардуковѣ.

— Пятнадцать верстъ!.. Нѣтъ, кормилецъ, будетъ и двадцать съ хвостикомъ.

— Ого! такъ мы скоро ѣхали.

— Да видно такъ, господинъ честной. Эва, какъ ваши лошадки-то уморились!.. такъ паръ отъ нихъ и валитъ!

— Ничего, любезный, кони добрые.

— Такъ, батюшка, такъ!.. А вишь какъ они умаялись!.. Право слово, кормилецъ, прикажи задать имъ сѣнца, пусть себѣ перехватятъ сердечные!

— Нѣтъ, голубчикъ, некогда дожидаться.

— А куда такъ поспѣшаетъ твоя милость?—спросилъ купецъ.

— Да не такъ чтобы далеко отсюда: въ село Толстошеино.

— Толстошеино? — повторилъ хозяинъ постоялаго двора.—Знаемъ, батюшка, знаемъ! Тутъ еще на озерѣ есть барская усадьба; хоромы такія знатныя—съ большимъ огородомъ.

— Да, да,—подхватилъ купецъ; мы прошлаго года мою тутъ ѣхали. Истинно боярская усадьба! Брусяной домъ, съ теремомъ и двумя вышками, крытъ весь

гонтомъ, а окна напхитрѣйшей рѣзьбою украшены. Намъ сказывали, что тутъ живетъ на покоѣ самъ помѣщикъ, какой-то боярин Куродавлевъ. Не къ нему ли, господинъ честной, ты изволишь ѣхать?

— Къ нему, любезный.

— Ужъ не гонцомъ ли отъ князя Ивана Андреевича Хованскаго?

— Почему ты это думаешь?

— Да вотъ, я вижу, ты самъ изъ начальныхъ людей стрѣлецкаго войска... сирѣчь надворной пѣхоты — не прогнѣвайся, по старой привычкѣ промолвился!..

— Все едино, хозяинъ.

— Нѣтъ, господинъ честной, не все едино. Коли васъ за усердіе пожаловали въ надворную пѣхоту, такъ называть стрѣлецкимъ войскомъ не приходится. За службу и почетъ, батюшка!.. А вотъ я все гляжу на тебя... кажись, по всѣмъ примѣтамъ... ну, такъ и есть... ты долженъ быть сотникомъ полка Василія Ивановича Бухвостова.

— Отгадалъ, любезный.

— Да какъ и не отгадать? Вѣдь ты въ своемъ служильномъ нарядѣ: свѣтлозеленый кафтанъ съ малиновымъ подбоемъ... Мы, батюшка, сами люди московскіе, не въ глуши живемъ. Мы и съ головою-то твоимъ— сирѣчь полковникомъ Василіемъ Ивановичемъ Бухвостовымъ старинные пріятели.

— Право?

— Какъ же, батюшка! Онъ и товары въ моей лавкѣ забираетъ... Мы съ нимъ всегда хлѣбъ-соль важивали... Вотъ ужъ подлинно достойный сановникъ! Во всемъ старины держится... Истинно благоцвѣтущая вѣтвь прежней православной рати стрѣлецкой!..

— Прежней... Такъ по-твоему нынѣшняя...

— Также православное войско, — подхватилъ торопливо купецъ.—Кто и говоритъ, господинъ честной!.. Ну, если этакъ и бываля смуты — такъ чтожъ?.. и стрѣльцы такіе же люди; а всѣ мы подъ Богомъ ходимъ:—единъ Господь безъ грѣха!.. Да они же всегда

возставали противъ измѣнниковъ, а коли случаемъ между измѣнниками попадались имъ на копья и неповинные бояре и люди добрые, такъ это Божьимъ попущеньемъ!.. Человѣкъ слѣпъ, батюшка! Вѣдь онъ часто и самъ не вѣдаетъ, что творитъ!.. Нѣтъ, господинъ честной: кто другой, а я стою въ томъ, что и нынѣшняя надворная пѣхота христолюбивое войско. Говорятъ, будто бы иные изъ васъ отступили отъ православія; да я этому и вѣры не даю—видитъ Богъ, не даю!.. И что мнѣ до этого?.. На то есть пастыри духовные—а я что?.. Я человѣкъ торговый, не богословъ какой...

— Неправда!—сказалъ громко проѣзжій въ балахонѣ.—Ты точно богословъ, да только не однословъ.

Этотъ неожиданный, но справедливый упрекъ до того смутилъ купца, что онъ совершенно остолбенѣлъ и не могъ вымолвить ни слова.

— Что? прикусилъ язычекъ? — продолжалъ проѣзжій въ балахонѣ. — Эхъ вы, торгаши московскіе! Душой-то кривить только умѣете, двуличники этакіе!.. Каждый изъ васъ, какъ трость, колеблемая вѣтромъ: куда онъ подулъ, туда и вы!.. Ужъ если что по-твоему правда, такъ стой за правду. Что изъ-за угла-то кулакомъ грозиться!.. Коли заговорила въ тебѣ совѣсть—такъ выходи!.. Послушаютъ — хорошо! потянутъ на плаху—ложись!

— Что ты, что ты, любезный! — проговорилъ купецъ, опомнясь отъ перваго удивленія.

— Что я?.. А вотъ что: ты называешь теперь стрѣльцовъ христолюбивымъ воинствомъ, а давно ли ты ихъ величалъ еретиками и нечестивыми крамольниками?

Купецъ поблѣднѣлъ и закричалъ испуганнымъ голосомъ:

— Не вѣрь ему, господинъ честной: онъ лжетъ! видитъ Богъ—лжетъ!.. Ахъ ты, полоумный этакій!.. Да какъ у тебя языкъ повернулся сказать, что я говорилъ съ тобой такія непригожія рѣчи?

— Не со мной, а вотъ съ этимъ холопомъ, — сказалъ проѣзжій, указывая на приказчика.

— Холопъ!—повторилъ сквозь зубы приказчикъ.— Видишь бояринъ какой!.. Холопъ, да не твой!

— Ахъ ты клеветникъ этакій! — подхватилъ купецъ. — Да я съ господиномъ приказчикомъ говорилъ объ этомъ шопотомъ, такъ какъ же ты могъ слышать?

Левшинъ засмѣялся.

— Полно, хозяинъ, — сказалъ онъ. — Ну, есть о чемъ спорить!.. Мало ли что за уголкомъ говорится!.. Въ глаза-то меня только не обижай, а заочно хоть голову руби!

— Истинно такъ, господинъ честной!.. — промолвилъ почтительно приказчикъ.—Заочная брань не брань, а на пересказы смотрѣть нечего. На всякое чиханье не наздравствуешься.

— А что, батюшка,—сказалъ рослый парень лѣтъ тридцати, подойдя къ проѣзжему въ балахонѣ, — не пора ли запрягать?

— Да, время—запрягай!

— Ты куда ѣдешь, любезный?—спросилъ Левшинъ проѣзжаго.

— На что тебѣ, молодецъ?.. Мы съ тобой не попутчики.

— Такъ ты ѣдешь въ Мещовскъ?

— Хоть и не въ Мещовскъ, а все мы не попутчики. Вишь вы какъ своихъ-то коней упарили, а я моихъ лошадокъ берегу.

— Вотъ что!.. Такъ тебѣ, видно, далеко еще ѣхать?

— Далеко или близко, не о томъ рѣчь. Коней-то можно и на пяти верстахъ уморить.

— Ты здѣшній что ль, или изъ другой какой стороны?

— Да мы покамѣстъ всѣ здѣшніе; вотъ какъ переѣдемъ на иное мѣсто...

— Я спрашиваю тебя, откуда ты родомъ?

— Откуда родомъ?.. Да, чай, мы оба съ тобой родились на святой Руси.

— Да Русь-то велика, любезный!.. Вотъ я, напримѣръ: я родомъ изъ Москвы; а ты откуда?

— Не знаю. Мнѣ покойная матушка не сказывала, гдѣ я родился.

— Экій ты какой!.. Ну, гдѣ твой домъ?

— Какъ построю, такъ буду знать, а теперь не вѣдаю.

— Не знаю, не вѣдаю!.. Чтожъ ты знаешь!

— Что знаю?.. Да, не прогнѣвайся, побольше твоего.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— А вотъ изволишь видѣть: ты не знаешь, откуда я родомъ, что за человѣкъ и куда ѣду; а я знаю, что ты родомъ изъ Москвы, служишь сотникомъ въ полку Василія Ивановича Бухвостова и ѣдешь въ село Толстошеино къ боярину Максимовичу Курodавлеву.

— Большое диво, что ты знаешь то, о чемъ я самъ говорилъ.

— Въ томъ-то и дѣло, молодецъ!.. Вѣдь тотъ, кто молчитъ, всегда знаетъ больше того, кто болтаетъ.

— Да не всякому же быть такимъ медвѣдемъ, какъ ты.

— По мнѣ лучше быть медвѣдемъ, чѣмъ сорокою.

Левшинъ вспыхнулъ.

— Эге, любезный!—сказалъ онъ,—да ты ужъ никакъ начинаешь поругиваться!

Проѣзжій въ балахонѣ не отвѣчалъ ни слова и принялся преспокойно укладывать въ свою дорожную кису початый коровай хлѣба, деревянную чашку, ложку, и огромный складной ножъ, который, въ случаѣ нужды, могъ служить оружіемъ; потомъ всталъ и пошелъ на дворъ постоялаго двора, гдѣ, подъ высокимъ навѣсомъ, работникъ его запрягалъ въ телѣгу пару дюжихъ вороныхъ коней.

Ну, батюшка!—сказалъ купецъ, проводивъ глазами проѣзжаго,—видишь ли теперь, что это какой-то шальной, грубіянъ этакій!.. Когда твоя милость изволитъ спрашивать, такъ люди и почище его отвѣчаютъ, а этотъ балахонникъ—прости Господи!.. Сказалъ бы онъ мнѣ, что я не знаю, кто онъ таковъ, я бы ему отвѣтилъ.

— А чтобы ты ему отвѣтилъ?

— Я сказалъ бы ему, что онъ еретикъ проклятый!.. Вотъ что!

— Еретикъ!.. Почему ты это знаешь?

— А какъ же, батюшка? Да это какъ взглянешь, такъ видно. И ѣсть съ нами не хотѣлъ и рѣчи такія богопротивныя, а туда жъ, какъ чернецъ какой, чотки перебираетъ—раскольникъ проклятый!—Не старообрядецъ, батюшка, а раскольникъ,—продолжалъ купецъ, спохватясь.—Старообрядцы дѣло другое; ихъ, чай, и въ вашемъ полку довольно; они люди добрые и, почитай, такіе же православные, какъ и мы; не жалуютъ только патріарха Никона да любятъ по старымъ книгамъ Богу молиться—вотъ и все!.. А эти отщепенцы хуже язычниковъ: соборную церковь не признаютъ, духовенство поносятъ...

— Истинная правда! — прервалъ приказчикъ.—Я вѣдь здѣшній, такъ понаслушался и понасмотрѣлся. Здѣсь, въ Брынскихъ лѣсахъ, этихъ раскольничьихъ скитовъ и не перечтешь. И все разные толки: безпоповщина, Филипповщина, селезневщина, новожены, перекрещиванцы, щельники—кто ихъ знаетъ!.. Я знаю только, что всѣ они чуждаются церкви Божіей, а есть и такіе, что не приведи Господи!.. Вотъ мнѣ разсказывали о запащеванцахъ и морельщикахъ—такъ видитъ Богъ, батюшка, волосъ дыбомъ становится!

— Ну, вѣрно,—подхватилъ купецъ,—и этотъ не простой отщепенецъ; но злобный и яко левъ рыкающій на православіе еретикъ!

— А можетъ статься и хуже,—промолвилъ вполголоса приказчикъ.—Видѣлъ ли ты, хозяинъ, какой у него ножище?

— А что ты думаешь?.. Въ самомъ дѣлѣ!.. Глаза у него такіе воровскіе, рѣчь буйная,—ну вотъ такъ и смотритъ душегубцемъ!

А развѣ здѣсь разбойники водятся?—спросилъ Левшинъ.

— Всяко бываетъ, — отвѣчалъ приказчикъ.—Вѣдь

здѣсь лѣса дремучіе, такъ волки-то не всѣ на четырехъ ногахъ ходятъ. Прошлое лѣто у насъ трехъ мужичковъ здѣсь ограбили. Везли оброкъ въ Москву...

— Чтожъ, у нихъ всѣ деньги отняли?

— Нѣтъ, Богъ помиловалъ! До боярскихъ денегъ не добрались. Мужички-то себѣ на умѣ: сто рублевиковъ запекли въ хлѣбъ, да столько же въ хомутѣ было зашито. Съ нихъ только одежонку поснимали, да мѣдными грошами рубля два отняли.

— Тебѣ бы, господинъ сотникъ,—сказалъ купецъ,—пообождать немного. Вотъ обозники скоро подымутся, они тебѣ по пути. Васъ всего двое, а по такимъ лѣсамъ, чѣмъ ѣдешь людиѣе, тѣмъ лучше.

— Спасибо, любезный! Доѣдемъ и безъ провожатыхъ.

— Кто и говоритъ, почему не доѣхать, а все съ народомъ-то веселѣе и отважнѣе. Право такъ, батюшка!.. Неровенъ часъ,—ну, какъ въ самомъ дѣлѣ наткнешься на разбойниковъ?

— Мы разбойниковъ не боимся, хозяинъ,—сказалъ Ферапонтъ, водя въ поводу отдохнувшихъ коней.—У насъ есть для нихъ гостинцы: поднесемъ, такъ другихъ не попросятъ!.. Сабли-то у насъ годятся не одну капусту рубить!.. А вотъ еще товарищъ,—продолжалъ онъ, указывая на свою пищаль.—Малъ да удалъ! Какъ свинцовымъ орѣхомъ свистнетъ, да по лбу хлыстнетъ, такъ затылокъ-то у всякаго зачешется!

— Охъ, любезный, не хвались,—сказалъ приказчикъ.—Въ лѣсу не то, что въ чистомъ полѣ: какъ изъза куста хватятъ тебя кистенемъ, такъ и ты, молодецъ, на конѣ не усидишь.

— Богъ милостивъ!.. Мы по лѣсамъ-то и ночью ѣзжали, да разбойниковъ не встрѣчали.

— Ай да Султанъ!—сказалъ Левшинъ, садясь на своего коня, который храпѣлъ отъ нетерпѣнія и бороздилъ копытомъ песчаную землю.—Вовсе не усталъ; словно съ конюшни,—такъ и рвется.

— Да зато скорѣй и надорвется!—прошепталъ Фе-

рапонтъ, отвязывая пищаль отъ сѣдельной луки и вынимая ее изъ чехла.

— Ну, чтожъ ты, Ферапонтъ?—продолжалъ Левшинъ, обращаясь къ своему служителю.—Садись проворнѣй!

— Сейчасъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ!—отвѣчалъ Ферапонтъ, надѣвая черезъ плечо ремень, къ которому пристегивалась пищаль. — Хоть насъ до сей поры Господь миловалъ и дневнымъ-то разбоямъ я небольно вѣрю, а все-таки лучше, коли оборона подъ руками. На Бога надѣйся, а самъ не плошай!

— Экъ тебя настращали!.. Да полно, садись!

— Вотъ и готовъ!—промолвилъ Ферапонтъ, вскочивъ на своего донца.

— Ну, прощайте, добрые люди!—сказалъ Левшинъ, приподымая свою шапку.

— Прощай, господинъ честной!—закричали въ одинъ голосъ купецъ и приказчикъ.—Благополучной дороги, счастливаго пути!

Левшинъ, выѣхавъ на большую дорогу, далъ волю своему коню. Онъ помчался сначала вскачь, потомъ рысью внизъ по теченію рѣчки Брыни; а Ферапонтъ, пріударивъ плетью своего поджараго донца, пустился вслѣдъ за своимъ господиномъ. Черезъ нѣсколько минутъ наши путешественники, покинувъ берегъ рѣчки, повернули направо и скрылись въ глуши дремучаго непроходимаго бора.

XI.

Дорога, по которой ѣхали наши путешественники, становилась часъ-отъ-часу хуже. Проѣхавъ верстъ шесть, они очутились опять на берегу рѣчки Брыни, которая въ этомъ мѣстѣ прокладывала свое русло среди топкихъ болотъ, покрытыхъ ржавчиною, мхомъ и мелкимъ кустарникомъ. Узкая гать, по которой съ трудомъ можно было проѣхать въ телѣгѣ, вывела ихъ опять на песчаную дорогу, изрытую корнями столѣт-

нихъ деревьевъ. Эти великаны лѣсовъ русскихъ, вѣчно зеленыя сосны и вѣтвистыя ели росли почти сплошной стѣною по обѣимъ сторонамъ дороги, или, лучше сказать, широкой тропы, которая превращалась иногда въ настоящее лѣсное ущеліе. Надъ головами путешественниковъ тянулась свѣтлая полоса небесъ, но по сторонамъ все было мрачно; вверху солнце сіяло во всей красотѣ своей, а внизу начинались уже сумерки. Этотъ таинственный мракъ, эта глушь и запустѣніе подѣйствовали даже и на весельчака Ферапонта: онъ пересталъ мурлыкать про себя пѣсенку, только не задумался, какъ его господинъ; напротивъ, безпрестанно озирался, смотрѣлъ по сторонамъ, и пытливый взоръ его, стараясь проникнуть въ глубину лѣса, встрѣчалъ вездѣ одно и то же: непроходимую дичь, мракъ и горы валежника. Ферапонтъ былъ вовсе не трусъ, и въ чистомъ полѣ не испугался бы никого; но тутъ онъ вспомнилъ невольно слова приказчика, который совѣтовалъ ему не хвалиться. Подлинно,—думалъ Ферапонтъ, — хвалиться-то нечего!.. Здѣсь и мальчишка убьетъ тебя изъ-за куста полѣномъ. Эка дичь, подумаешь!.. Днемъ ничего не видно, а по дорогѣ-то знать черти въ горѣлки играютъ,—корни да рытвины!.. Да тутъ въ сумерки бѣда!.. Ну, нечего сказать, пронеси Господи!.. Потише, батюшка Дмитрій Афанасьевичъ!—прибавилъ онъ вслухъ, видя, что Левшинъ продолжаетъ ѣхать рысью.—Вишь дорога-то какая — корень на корнѣ!.. Какъ разъ или себя или коня уходишь.

— Небось, Ферапонтъ, — отвѣчалъ Левшинъ,—мой Султанъ никогда не спотыкается.

Онъ не успѣлъ это вымолвить, какъ вдругъ Султанъ со всего размаха упалъ на оба колѣна; ловкій всадникъ удержался въ сѣдлѣ и, сильно потянувъ за поводъ, поднялъ своего коня.

— Ну вотъ, не говорилъ ли я тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ! — вскричалъ испуганнымъ голосомъ Ферапонтъ.—Эй, батюшка, послушайся меня, поѣдемъ шажкомъ!.. Мнѣ сказывали на постояломъ дворѣ, что этой

трущобою намъ ѣхать только до перваго поворота, а тамъ пойдетъ дорога лучше.

— Ну, хорошо, поѣдемъ шагомъ. И то сказать: спѣшить-то нечего, успѣемъ пріѣхать за-свѣтло.

— Какъ не пріѣхать, лишь только бы помѣхи какой не было.

— Помѣхи?.. Какой помѣхи?

— А Господь знаетъ!.. Коли правду говорили на постояломъ дворѣ, такъ вотъ здѣсь, въ этомъ-то самомъ захолустьѣ и пошаливаютъ. Вишь глушь какая! По сторонамъ ни зги не видно... Э!.. что это тамъ!.. Постой-ка, батюшка, постой!..

Левшинъ остановился.

— Видишь, Дмитрій Афанасьичъ?—шепнулъ Ферапонтъ:—вонъ тамъ впереди... налѣво... что за человѣкъ такой въ бѣломъ балахонѣ?

— Человѣкъ!.. Гдѣ?

— Да вонъ тамъ за кустомъ... подлѣ самой дороги.

Левшинъ засмѣялся.

— Ну, — сказалъ онъ, — правду говорятъ, что у страха глаза велики!.. Да это березовый пень.

— Неужели!.. Ахъ онъ проклятый!.. Въ самомъ дѣлѣ пенекъ!

— Разбойниковъ-то я не боюсь,—прервалъ Левшинъ, продолжая ѣхать впередъ, — лишь только бы намъ не заплутаться... Да ты хорошо-ли разспросилъ о дорогѣ?

— Какъ-же!.. Намъ все надо держаться правой руки, пока не доѣдемъ до большой поляны; а тамъ повернуть налѣво мимо пожарища...

— Какого пожарища?

— Да вотъ хозяинъ постоялаго двора мнѣ сказывалъ, что на этой полянѣ, въ большомъ скиту, жили еще прошлаго года раскольники, и жили, говорятъ, смирно. Да пришелъ къ нимъ какой-то старецъ Пафнутій, изъ Сибири — и учалъ ихъ уговаривать: «примите дескать, православные, ради царствія небеснаго, вѣнецъ мученическій: окреститесь, братія, крещеньемъ огненнымъ!» Они съ дуру-то ему и повѣрили: запер-

лись кругомъ, подожгли свой скитъ, да вмѣстѣ съ нимъ и сгорѣли. Говорятъ, будто бы теперь на этомъ пожарищѣ не разъ слыхали по ночамъ проѣзжіе, какъ стонутъ и воютъ души погорѣвшихъ еретиковъ.

— А этотъ злодѣй, что ихъ подучилъ, сгорѣлъ также съ ними?

— Нѣтъ, онъ себѣ на-умѣ!.. «Мнѣ, дескать, братія, нельзя быть вмѣстѣ съ вами вольнымъ мученикомъ: мнѣ надо и другимъ проповѣдывать». Хозяинъ постоялаго двора сказывалъ мнѣ, что онъ и теперь еще спасается гдѣ-то здѣсь въ лѣсу, на соснѣ.

— На соснѣ!

— Да, батюшка!.. Живетъ на ней, ни дать, ни взять, какъ соловей-разбойникъ.

— А почему знать, можетъ-быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ разбойничаетъ?

— Видно что нѣтъ, а то бояринъ Куродавлевъ давно бы спустилъ его съ этой сосны, да только на веревкѣ.

— А развѣ этому Куродавлеву указано разбойниковъ ловить?

— Нѣтъ, Дмитрій Аѳанасьичъ, онъ такъ — ради своей потѣхи ловитъ воровъ. Савельичъ разсказывалъ мнѣ, что этотъ Куродавлевъ такая гроза на всѣхъ здѣшнихъ разбойниковъ, что и сказать нельзя! Дворня у него большая, народъ все удалой. Какъ пройдетъ слухъ, что начали часто проѣзжихъ грабить, такъ онъ мигомъ, холопей своихъ на ноги, самъ на коня и ужъ тутъ ему не попадайся!.. У него съ разбойниками расправа короткая: попался живой — петля на шею, да на первую сосну! А тамъ мотайся себѣ, пока добрые люди снимутъ. Савельичъ мнѣ разсказывалъ, что онъ этакъ однажды настигъ въ пустомъ скиту цѣлую шайку разбойниковъ, человѣкъ до пятнадцати,—отбилъ у нихъ двухъ проѣзжихъ купцовъ, которыхъ они захватили на большой дорогѣ, а ихъ всѣхъ до единаго, кого изъ пищалей перебилъ, кого перевѣшалъ.

— Неужели всѣхъ?

— А чтожъ, батюшка... Иль по головкѣ разбойниковъ-то гладить?.. Вѣдь не даромъ пословица: «вора помиловать, добраго погубить».

— Да вѣдь и разбойникъ такой же человѣкъ.

— Кто и говоритъ! вѣстимо такой же. А тѣ, которыхъ онъ станетъ рѣзать, коли я его какъ ни есть изъ рукъ выпущу, не люди что ль?.. Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, уличеннаго разбойника можетъ помиловать Господь, а людямъ не слѣдъ его миловать.

— Что это, Ферапонтъ, — прервалъ Левшинъ, — смотри, какъ стало вдругъ темнѣть, или тучки набѣжали?

— Какія тучки! — проговорилъ Ферапонтъ, взглянувъ кверху.—Эва какъ заволокло!..

— Фу, батюшки, какъ душно! — прошепталъ Левшинъ, снимая шапку.

— Да, больно паритъ,—сказалъ Ферапонтъ.—Видно передъ грозою.

И подлинно, влажный, удушливый воздухъ стѣснялъ дыханіе; черныя облака, медленно подвигаясь отъ запада, ложились густыми слоями на свѣтлыя небеса и устилали своею грозной тѣнью поля, дремучій боръ, холмы и равнины. Ясный день начиналъ понемногу превращаться въ сумрачный вечеръ. Мелкія пташечки перестали перепархивать съ вѣтки на вѣтку, замолкли, пріютились — и только однѣ стаи воронъ и крикливыхъ грачей кружились заботливо подъ облаками, да кой-гдѣ плавалъ надъ вершинами деревьевъ хищный коршунъ. Но вотъ и они разсыпались врозь — и эта зловѣщая, мертвая тишина распространилась по всему лѣсу.

— Ну, баринъ, — сказалъ Ферапонтъ, — будетъ гроза!.. Чу!.. вотъ ужъ и громъ сталъ постукивать!.. Охъ, худо дѣло!.. Бѣда, коли насъ захватитъ здѣсь эта непогодица!..

— Чтожъ дѣлать: отъ грозы не уѣдешь.

— Вѣстимо, Дмитрій Афанасьичъ; — да не о томъ рѣчь: намъ бы только выбраться изъ этого захолустья.

Мы и теперь дорогу-то здѣсь плохо видимъ, а какъ вовсе стемнѣетъ, такъ придется ѣхать ощупью...

— Такъ поѣдемъ скорѣе.

— Куда скорѣе!.. Видишь дорога-то — прахъ ее возьми!—хуже тропинки становится... Смотри, смотри, Дмитрій Афанасьичъ... колода!.. Ахъ, ты Господи! вотъ трущоба-то проклятая!

Наши путешественники проѣхали еще кой-какъ версты двѣ: наконецъ Левшинъ остановился и сказалъ:

— Посмотри, Ферапонтъ, тутъ и ѣзды вовсе нѣтъ,— болото!..

— Постой-ка на минутку! — прервалъ Ферапонтъ, объѣзжая своего господина. — Ну, такъ и есть — трясина!

— Чтожъ это? Видно мы заплутались?

— Видно что такъ!.. А вотъ и гроза!—промолвилъ Ферапонтъ, снимая шапку и крестясь.

Раздался близкій ударъ грома и крупныя капли дождя зашумѣли по листьямъ деревьевъ, вершины которыхъ начали уже сильно колебаться.

— Чтожъ мы будемъ теперь дѣлать? — спросилъ Левшинъ.

— Да что, батюшка, — отвѣчалъ Ферапонтъ, — дѣлать нечего: чѣмъ ѣхать Богъ вѣсть куда, лучше переждать на одномъ мѣстѣ; а какъ прояснится, такъ вернемся назадъ, да поищемъ поворота; видно мы его миновали.

— Переждать!.. Да этакъ намъ пожалуй и ночевать здѣсь придется.

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, большія грозы скоро проходятъ; а гроза-то, кажись, не на шутку!.. Господи помилуй!.. Фу, батюшки, такъ и палитъ!.. Ну, молонья!..

Левшинъ и Ферапонтъ едва успѣли сойдти съ коней и стать подъ защиту огромной сосны, какъ вдругъ завылъ и промчался по лѣсу ужасный вихрь; всѣ небеса вспыхнули; удары грома не слѣдовали другъ за другомъ, но слились въ одинъ безпрерывный гулъ,

заглушаемый по временамъ тѣмъ отрывистымъ, пронзительнымъ трескомъ, который производитъ молнія, падая въ близкомъ отъ насъ разстояніи. Кого сильная громовая буря не заставала въ дремучемъ лѣсу, тотъ не можетъ представить себѣ, до какой степени великолѣпна и ужасна эта картина. Въ лѣсу молнія не разливается свободно по небесамъ; вы ихъ не видите: она прокрадывается межъ листьевъ и какъ будто бы осыпаетъ искрами деревья, змѣится по ихъ вѣтвямъ и стелется огненной рѣкою по землѣ. Бурный вихрь, встрѣчая на каждомъ шагу сопротивленіе, крутитъ въ воздухѣ сухой валежникъ, рветъ съ корня столѣтнія деревья и лоскомъ кладетъ молодой лѣсъ. Эти тропическія бури бываютъ у насъ очень рѣдко, но зато и кажутся для насъ ужаснѣе. Ферапонтъ долго крѣпился, творилъ про себя молитву и молчалъ; но когда сильнымъ порывомъ вѣтра погнуло сосну, подъ которой онъ стоялъ вмѣстѣ со своимъ господиномъ, и на нихъ посыпались изломанные сучья — вся твердость его исчезла.

— Господи помилуй насъ грѣшныхъ! — вскричалъ онъ.—Ну! видно пришелъ нашъ послѣдній часъ!

— И, полно, Ферапонтъ!—сказалъ Левшинъ.—Иль тебя гроза никогда въ лѣсу не заставала?

— Да это какая гроза, Дмитрій Афанасьичъ!.. Свѣту представленье!.. Видалъ я грозы, а ужъ этакой... Господи помилуй! Господи помилуй!..

Ослѣпительная молнія облила яркимъ свѣтомъ всѣ окружные предметы, въ одно время съ нею раздался страшный ударъ грома, и шагахъ въ двадцати отъ путешественниковъ высокая ель съ трескомъ повалилась на землю.

— Живъ ли ты, батюшка? — спросилъ Ферапонтъ дрожащимъ голосомъ.

Левшинъ молчалъ.

— Ахъ, Господи!.. Да чтожъ ты не говоришь?..

— Ничего!—промолвилъ Левшинъ.—Меня немного *оглушило.*

— Какъ не оглушитъ!.. Посмотри-ка, батюшка, и кони-то наши дрожкой дрожатъ.

— Ну, если мы остались живы,—сказалъ, помолчавъ нѣсколько времени, Левшинъ, — такъ видно Господь насъ помилуетъ. Вотъ уже становится и потише.

Въ самомъ дѣлѣ, удары грома стали рѣже и слабѣе; вѣтеръ стихъ, и дождь, который въ минуту самыхъ сильныхъ ударовъ, пересталъ было идти, полился рѣкою. Но этотъ отдыхъ недолго продолжался: черныя тучи, одна другой страшнѣе, нахлынули снова отъ полудня, слились вмѣстѣ, налегли на лѣсъ, и вторая гроза, едва-ли не сильнѣе первой, разразилась надъ головами нашихъ путешественниковъ. Несмотря на то, что они стояли подъ защитою густой сосны, дождь пробилъ ихъ до костей. Вотъ, наконецъ, буря затихла, всѣ громовыя тучи прошли; но, покрытыя сплошными облаками, небеса не прочищались, и хотя въ лѣсу стало немного посвѣтлѣе прежняго, однакожъ все еще было такъ темно, что едва можно было различать предметы.

— Ну, — сказалъ Левшинъ, садясь на коня, — теперь мѣшкать нечего: дѣло идетъ къ вечеру. Поѣдемъ отыскивать поворотъ.

Ферапонтъ не отвѣчалъ ни слова и, казалось, прислушивался къ чему-то съ большимъ вниманіемъ.

— Полно зѣвать по сторонамъ!—продолжалъ Левшинъ.—Садись!

Ферапонтъ не двигался съ мѣста.

— Да чтожъ ты, оглохъ что ль? — вскричалъ съ нетерпѣніемъ Левшинъ.

— Нѣтъ, батюшка, слава Богу, слышу!—прошепталъ Ферапонтъ. — Чу!.. такъ и есть — человѣческіе голоса!.. Вотъ и собака залаяла!.. Тутъ должно быть близко жилье.

— Какое намъ до этого дѣло.

— Какъ, Дмитрій Афанасьичъ, какое?.. Вѣдь ужъ солнышко-то на закатѣ; чай, скоро смеркаться станетъ.

— Ну, то-то и есть!.. мѣшкать нечего.

— Да неужели ты, батюшка, думаешь, что мы сегодня доѣдемъ? Пока мы станемъ отыскивать поворотъ, пока что, анъ глядишь—ночь-то насъ и захватитъ. Вѣдь намъ вплоть до самой вотчины боярина Куродавлева надобно ѣхать лѣсомъ, такъ мы опять собьемся съ дороги, да еще, пожалуй, заѣдемъ въ какой-нибудь оврагъ или трясину; такъ не лучше ли намъ поискать ночлега?

— Да гдѣ ты его сыщешь?..

— А вотъ на лѣво-то... Слышишь, опять залаяла собака?

— Слышу; да тутъ долженъ быть какой-нибудь раскольничій скитъ.

— Такъ чтожъ? Вѣдь раскольники-то не звѣри какіе. Въ этакую непогодицу и татаринъ не откажетъ дорожному человѣку въ пріютѣ. Ѣсть мы у нихъ не попросимъ: у меня еще въ кисѣ найдется чѣмъ закусить; а конямъ-то нашимъ неужели они сѣнца не дадутъ!.. Вотъ опять вѣтромъ стало наносить... Ну, точно человѣческіе голоса!

— И, кажется, очень близко,—сказалъ Левшинъ.—Да только проѣдемъ ли мы цѣликомъ: видишь, лѣсъ-то какой частый?

— А вотъ постой, Дмитрій Афанасьичъ, никакъ тропинка, по которой мы ѣхали... Ну, да! вотъ она! заворачиваетъ налѣво... Я, батюшка, поѣду передомъ,—продолжалъ Ферапонтъ, садясь на лошадь,—а ты ступай позади: гуськомъ-то лучше проѣдемъ.

Наши путешественники пустились по этой, едва замѣтной, тропинкѣ; она огибала болото, въ которое чуть было не попалъ Левшинъ. Чѣмъ далѣе они ѣхали, тѣмъ яснѣе становились и лай собаки и человѣческіе голоса.

— Что это они, — прошепталъ про себя Ферапонтъ,—пѣсни что-ль поютъ или перекликаются межъ собою?..

Межъ тѣмъ деревья стали рѣдѣть, и черезъ нѣ-

сколько минутъ путешественники выѣхали на поляну. Теперь они ясно могли различать, что человѣческіе голоса доносились до нихъ изъ небольшого зданія, которое, безъ всякой усадьбы и двора, стояло посреди поляны. Но эти голоса вовсе не походили на пѣсни. Удушливыя рыданія, болѣзненный стонъ и по временамъ вопли, исполненные отчаянія и выражающіе адскую муку, раздавались въ этомъ уединенномъ жильѣ.

— Что это, батюшка?..—вскричалъ Ферапонтъ, осадивъ свою лошадь.—Съ нами крестная сила!.. Да это никакъ пожарище?..

— О которомъ ты мнѣ разсказывалъ?

— Да, Дмитрій Афанасьичъ, это не люди, а души погорѣвшихъ еретиковъ.

— И, полно, Ферапонтъ, какія души!

— Да ты вслушайся, батюшка!.. Ну, станутъ ли живые люди такъ выть?.. Чу!.. слышишь?

— Нѣтъ, нѣтъ!—сказалъ Левшинъ:—этотъ стонъ, эти вопли... О, это вѣрно какіе-нибудь несчастные, которыхъ захватили разбойники!

— А что ты думаешь?—прервалъ Ферапонтъ, ободрясь. — Можетъ статься, что и живые люди. Вѣдь разбойники-то иногда огонькомъ выпытываютъ, куда у проѣзжихъ деньги припрятаны.

— Такъ чего жъ мы дожидаемся?—вскричалъ Левшинъ.

— Постой, постой, батюшка!.. Насъ только двое, а ихъ, можетъ-быть...

— Что за дѣло!.. Иль ты не слышишь, какъ кричатъ эти несчастные?..

— Слышу, Дмитрій Афанасьичъ; да все лучше...

— Что?.. Ужъ не мимо ли проѣхать?.. Эхъ, Ферапонтъ! Да развѣ мы не христіане?

— Ну, если такъ—такъ такъ!.. Съ Богомъ, батюшка; была не была!..

Левшинъ выхватилъ свою саблю и шибкой рысью пустился прямо къ жилью.

XII.

Зданіе, къ которому ѣхалъ Левшинъ со своимъ слугою, отличалось отъ обыкновенныхъ бревенчатыхъ сараевъ только тѣмъ, что у него по стѣнамъ сдѣланы были небольшія отдушины, а вмѣсто воротъ прорублена узкая дверь. Огромная дворная собака, завидѣвъ нашихъ путешественниковъ, кинулась на нихъ съ громкимъ лаемъ, и въ то же время изъ шалаша, построеннаго подлѣ самыхъ дверей сарая, вышелъ человѣкъ высокаго роста, съ черной бородою, смуглый какъ цыганъ и необычайно безобразный собою; онъ держалъ въ рукѣ дубину, а за поясомъ у него висѣли чотки.

— Ты что за человѣкъ такой?—спросилъ Левшинъ, подъѣхавъ къ шалашу.

— А вы кто такіе? — промолвилъ чернобородый, взглянувъ недовѣрчиво на нашихъ путешественниковъ.

— Мы проѣзжіе.

— Такъ чтожъ вы здѣсь шатаетесь? Ступайте на большую дорогу.

— Кто у васъ запертъ въ этомъ сараѣ?

— Не твое дѣло. Ступай, куда ѣдешь!

— Ахъ, ты разбойникъ этакій! — вскричалъ Ферапонтъ.—Отвѣчай, когда тебя спрашиваютъ!

— Развѣ ты разбойникъ, — прервалъ чернобородый,—а мы православные христіане. Говорятъ вамъ: ступайте вашею дорогою. Не мѣшайте божьему дѣлу.

Въ эту минуту снова послышались въ сараѣ отчаянные вопли, плачъ, рыданіе и раздались голоса: «Батюшки, спасите!.. Умираемъ голодною смертію... Хлѣба, Бога ради хлѣба?.. Батюшки, умилосердитесь!.. Дайте хлѣбнуть водицы!.. Смерть моя!.. Умираю!»

— Не дастся вамъ!—отвѣчалъ грубый голосъ изъ шалаша.—Не дастся—да не лишитеся свѣтлыхъ вѣнцовъ мученическихъ!

— Возможно ли! — вскричалъ съ ужасомъ Левшинъ.—Злодѣи! За что вы ихъ морите голодомъ?

— Сами захотѣли,—отвѣчалъ чернобородый.

— Какъ сами!

— Ну, да!.. Вѣдь здѣсь сидятъ въ затворѣ благочестивые запощеванцы, сирѣчь, вольные мученики.

— Вольные!.. Да развѣ ты не слышишь, что они кричатъ?...

— Такъ чтожъ?.. Покричатъ, покричатъ, да перестанутъ.

— Отыдите, нечестивые!—воскликнулъ громкимъ голосомъ, выходя изъ шалаша, худощавый старикъ съ растрепанными волосами, взъерошенной бородою и сверкающими, полоумными глазами.— Не дерзайте нарушать святыни!.. Грядите, убо, грядите!... Да не како постигнетъ васъ десница Господня! А вы, православные!—продолжалъ онъ, обращаясь къ дверямъ сарая,—потерпите ради царствія небеснаго!... Свершайте, братіе, непреткновенно ваше поприще...

— Нѣтъ!—завопили въ одинъ голосъ всѣ заключенные.— Не желаемъ!.. отрекаемся!.. Спасите насъ, добрые люди, спасите!

— Душегубцы проклятые!—вскричалъ Левшинъ,— коли вы сей же часъ не выпустите этихъ затворниковъ...

— Такъ чтожъ?—прервалъ чернобородый, подбирая къ рукамъ свою дубину.

— А вотъ что! — сказалъ Ферапонтъ, выхвативъ саблю.—Слушай ты, черномазое пугало: или отворяй дверь, или я раскрою тебя на-двое!

Чернобородый отскочилъ, поднялъ дубину; но, вѣроятно, разсудивъ, что бой будетъ неравный, опустилъ ее опять и сказалъ:

— Ну, коли хочешь, такъ самъ попытайся: двери-то заколочены.

— Ферапонтъ! — вскричалъ Левшинъ, — выломай ихъ!

Ферапонтъ соскочилъ съ коня.

— Не дерзайте! — завопилъ неистовымъ голосомъ старикъ. — Господь укрѣпитъ мышцы мои, не по-

пущу вамъ, окаяннымъ святотатцамъ, губить души христіанскія!

— Да ты, дѣдушка, не ругайся! — сказалъ Ферапонтъ, подходя къ старику, который заслонилъ собою дверь.—Ну, ты самъ въ толкъ возьми: доброе ли дѣло морить живыхъ людей голодной смертію? И Господь этого не велѣлъ и царь не указалъ. Пусти-ка, пусти!..

— Смерть вкушу на семъ прагѣ,—продолжалъ кричать старикъ,—предамъ душу Господу; но доколѣ живъ, не дамъ вамъ посрамить хвалу нашу, срацыне проклятые!

— Эхъ, полно, дѣдушка, не дури!—молвилъ Ферапонтъ, отталкивая старика.—Пусти, говорятъ тебѣ—зашибу!

Старикъ замолчалъ; но глаза его налились кровью, онъ заскрипѣлъ зубами, кинулся на своего противника, и его сухіе, костянистые пальцы, какъ когти дикаго звѣря, впились въ грудь Ферапонта.

— Ахъ ты, старый хрычъ!—шепнулъ Ферапонтъ, потерявъ все уваженіе къ сѣдой бородѣ и постному лицу старика:—такъ ты еще драться!..

Онъ схватилъ его могучей рукою за кушакъ, поднялъ, какъ двухлѣтняго ребенка, и отбросилъ шаговъ на десять. Чернобородый подбѣжалъ къ старику и, пособляя ему встать, проговорилъ что-то шопотомъ.

— Да, чадо Ѳедосей!—сказалъ старикъ,—грядемъ къ братіи, возвѣстимъ о презорствѣ сихъ нечестивцевъ!.. А вы, окаянные отступники православія, вяще поганыхъ огарянъ, сыны погибели—да будете вы прокляты отнынѣ и до вѣка!

— Бранись, бранись, старый хрѣнъ,—промолвилъ Ферапонтъ, глядя вслѣдъ за уходящимъ старикомъ и его товарищемъ.—Собака лаетъ, вѣтеръ носитъ!.. Экій назойливый старичишка, подумаешь!—продолжалъ онъ, принимаясь выламливать дверь.—Кажись такой испитой, въ чемъ душа держится, а туда жъ на драку лѣзетъ!

Несмотря на свою богатырскую мощь, Ферапонтъ

не скоро выломалъ крѣпко заколоченную дверь; но вотъ, наконецъ, она соскочила съ петель. Четверо мужчинъ и двѣ женщины, одна старая, а другая молодая, давя другъ друга, кинулись съ такою поспѣшностію вонъ изъ сарая, что чуть было не сбили съ ногъ Ферапонта. Страшно было взглянуть на эти человѣческіе остовы: ихъ блѣдныя, искаженныя страданіемъ лица, ихъ помутившіеся, полоумные глаза, были ужасны. «Хлѣба, Бога ради, хлѣба!» кричали они, толпясь около Ферапонта.—Молодая женщина, которая, повидимому, казалась покрѣпче другихъ, уцѣпилась за него и простонала едва слышнымъ голосомъ: «Воды—ради Христа, воды!»

— Ахъ, сердечная!—сказалъ Ферапонтъ,—хлѣбцато я вамъ найду, да воды-то гдѣ мнѣ взять?

— Вотъ здѣсь близехонько есть ключъ,—проговорилъ одинъ изъ затворниковъ: кабы было чѣмъ зачерпнуть...

— Ключъ?.. Гдѣ?

— Вонъ за кустами, въ овражкѣ.

— Побудь-ка, батюшка, съ ними,—сказалъ Ферапонтъ;—я сбѣгаю да принесу въ шапкѣ водицы, а ты вынь изъ кисы початой хлѣбъ; да смотри, Дмитрій Афанасьичъ, не давай помногу—не годится!.. Коли они денька два ничего не ѣли...

— Нѣтъ,—прошепталъ одинъ изъ затворниковъ,—вотъ ужъ третьи сутки...

— Эва-на!—прервалъ Ферапонтъ,—шутка вымолвить: — третьи сутки безъ ѣды!.. Вотъ, дай имъ теперь хлѣба вволю, такъ они всѣ перемрутъ. Я помню, дядя мой Терентій попалъ однажды въ волчью яму и не ѣвши просидѣлъ въ ней трое сутокъ...

— Да провались ты съ своимъ Терентьемъ!—вскричалъ Левшинъ.—Видишь, они чуть живы!

Ферапонтъ побѣжалъ за водою, а Левшинъ слѣзъ съ коня, привязалъ его къ дереву и велѣлъ этимъ вольнымъ мученикамъ сѣсть въ кружокъ. Когда онъ вынулъ изъ кисы хлѣбъ, они не усидѣли на своихъ

мѣстахъ и съ радостнымъ воплемъ кинулись, исключая молодой женщины, навстрѣчу къ Левшину.

— Тише, братцы, тише! — сказалъ онъ, стараясь удержать хлѣбъ, который они вырывали у него изъ рукъ.—Садитесь опять въ кружокъ—всѣмъ достанется. Да садись же!..—повторилъ онъ строгимъ голосомъ;— а не то я вамъ ничего не дамъ!

Эта угроза подѣйствовала: затворники усѣлись по-прежнему на землю, и Левшинъ, отламывая небольшіе куски отъ хлѣба, сталъ ихъ одѣлять по-очереди. Когда онъ подошелъ къ молодой женщинѣ, которая томилась жаждою, то она промолвила:

— Батюшка, и ѣсть-то не могу!.. Дай мнѣ пить... Охъ, тошно!.. смерть моя!

— Потерпи, любезная, потерпи! — сказалъ Левшинъ. — Ну вотъ, мой слуга и несетъ вамъ водицы!

Женщина вскочила и, несмотря на свою слабость, бросилась бѣгомъ навстрѣчу къ Ферапонту.

— На-ка, лебедка!—сказалъ онъ, подавая ей свою войлочную шапку. — Выкушай!.. Да тише, тише!.. Будетъ покамѣстъ.

— Батюшка, дай еще!

— Нѣтъ, голубка, погоди!.. Надо и другимъ горло промочить.

— Еще немножечко!..

— Да напьешься до-сыта, не торопись!.. Поѣшь теперь хлѣбца, а тамъ, пожалуй, я тебѣ еще воды почерпну.

Когда всѣ эти несчастные затворники съѣли или, лучше сказать, проглотили по куску хлѣба, то принялись снова такимъ жалобнымъ и убѣдительнымъ голосомъ просить пищи, что Левшинъ началъ опять было ихъ одѣлять; но Ферапонтъ остановилъ его.

— Что ты, батюшка! — сказалъ онъ; — не слушай ихъ!.. Дай прежде имъ водицы выпить. Вѣдь сухой хлѣбъ на тощій животъ бѣда!.. Вотъ этакъ-то покойный мой дядя Терентій навалился съ голодухи на хлѣбъ, да въ тотъ же самый день и померъ.

— Такъ давай имъ скорѣе пить!

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. А тамъ можно ще по кусочку хлѣба; да не худо будетъ и винца лебнуть.

Пока Ферапонтъ поилъ ихъ водою, а потомъ сталъ пять одѣлять хлѣбомъ и давать изъ своей дорожной ляги по глотку вина, Левшинъ разсматривалъ со вниманіемъ молодую женщину, которая, выпивъ еще воды и съѣвъ кусокъ хлѣба, совершенно успокоилась. Хоть лицо ея вѣроятно очень измѣнилось отъ продолжительнаго страданія, однакожъ, несмотря на это, оно казалось ему знакомымъ. Онъ не могъ только никакъ припомнить, гдѣ и когда видѣлъ эту женщину. Межъ тѣмъ товарищи ея, поутоливъ нѣсколько свой голодъ, встали, и одинъ изъ нихъ, высокій старикъ лѣтъ шестидесяти, сказалъ: «Дай Богъ тебѣ, господинъ честной, много лѣтъ здравствовать! Кабы не ты, умирать бы намъ голодной смертію. Да воздастъ Господь этому окаянному старцу!.. Прельстилъ насъ, проклятый, прельстилъ!.. Братіе! — продолжалъ онъ, обращаясь къ другимъ затворникамъ,—кто изъ васъ желаетъ приступить къ адамантовскому согласію, тотъ иди со мною въ скитъ поморскаго старца Григорія: онъ приметъ всѣхъ насъ съ любовію; а къ этимъ Филипповцамъ я ни за что теперь не пойду».

— И мы также!—закричали въ одинъ голосъ его товарищи.

— А ты пойдешь съ нами?—продолжалъ старикъ, обращаясь къ молодой женщинѣ.

— Нѣтъ!—отвѣчала она.—Я какъ-нибудь добреду до нашего скита. Авось отецъ Андрей меня помилуетъ. Не послушалась я его, окаянная!

— Ну, какъ хочешь. Пойдемте, братцы! До Григорьева скита версты три будетъ, а вотъ ужъ вечерняя заря тухнетъ. Какъ-то мы доплетемся?.. Прощай, Дарья!

— Дарья!—повторилъ Левшинъ.—Неужли это?.. О, нѣтъ, нѣтъ! быть не можетъ!..

— Да! — шептала молодая женщина, глядя вслѣдъ за своими прежними товарищами, которые, шатаясь какъ пьяные, шли вразсыпную по полю.—Да, пойду я къ вашему старцу Григорію!.. Эка невидаль!.. Онъ у моего хозяина въ Выгорѣцкомъ скиту былъ пастухомъ... Старецъ Григорій!.. Больно скоро въ старцы-то попалъ!

— Послушай-ка, голубка, — сказалъ Ферапонтъ, — ты хочешь идти въ свой скитъ, а далеко ли это?

— Версты четыре будетъ.

— Да вѣдь въ лѣсу-то теперь хоть глазъ выколи. Какъ же ты пойдешь одна?

— Чтожъ дѣлать: пришлось идти одной, коли товарищей нѣтъ.

— Хочешь ли, мы тебя проводимъ?

— Какъ, батюшка, не хотѣть.

— А ты, красавица, за эту службу и насъ куда-нибудь пріюти.

— Да вы кто такіе?

— Дорожные люди.

— Охъ, кормилецъ! хозяинъ-то нашъ такой строгій!.. Ну, да если онъ васъ въ скитъ не пуститъ, такъ вы въ сторожкѣ переночуете; а вашимъ лошадямъ я ужъ какъ-нибудь сѣнца-то вынесу.

— И на томъ спасибо!.. Вставай-же, лебедка, пора. Хочешь—садись на мою лошадь, а я пѣшкомъ пойду.

— Нѣтъ, батюшка, куда мнѣ!.. Я сродясь на лошадяхъ не ѣзжала, а дайте-ка мнѣ поотдохнуть немного, да еще водицы выпить, такъ я какъ-нибудь и пѣшкомъ дотащусь.

— Ну, хорошо!.. Я схожу за водой, а ты... на-ка тебѣ, поѣшь еще хлѣбца.

— Послушай, любезная,—сказалъ Левшинъ, оставшись одинъ съ молодою женщиною,—мнѣ все кажется, что я гдѣ-то тебя видѣлъ.

— Не знаю, молодецъ.

— И голосъ твой мнѣ знакомъ... Да не была ли ты недавно въ Москвѣ?

— Какъ же, батюшка!.. Всего три недѣли какъ оттуда. Я была тамъ съ моимъ хозяиномъ и его дочкою.

— И вы жили въ Зарядьѣ, на Мещовскомъ подворьѣ?

— Да, на Мещовскомъ подворьѣ. А почему ты это знаешь?.. Постой-ка, постой!.. Ахъ, батюшки-свѣты!.. Да ты никакъ тотъ самый молодецъ, котораго чуть было не убили стрѣльцы?.. Вотъ диво-то! какъ это тебя Господь сюда занесъ?

— Ѣду въ село Толстошеино,—недалеко отсюда.— А ты какъ, Дарья, попала въ затворницы?

— Охъ, батюшка, не говори!.. Истинно Боже попущенье!.. Вотъ изволишь видѣть... такъ и быть! все тебѣ скажу, какъ на духу... Я прошлаго года гадала объ святкахъ и видѣла во снѣ нашего батрака Архипку, а Архипка-то ужъ былъ женатъ; вотъ я и смекала: видно онъ женится на мнѣ, когда овдовѣетъ. Какъ поѣхали мы въ Москву, жена его захворала, а какъ воротились назадъ, такъ ужъ ее давнымъ-давно и на погостъ снесли. Ну,—думаю я,—правду говорятъ: суженаго конемъ не объѣдешь. Дѣлать нечего: видно мнѣ на роду написано быть за вдовцомъ. Вотъ я Архипкѣ-то и говорю: «Архипушка! вѣдь я видѣла тебя объ святкахъ: ты мой суженый». А онъ рыжій,—чтобъ ему ни дна ни покрышки... озорникъ этакій! — и ну надо мной смѣяться. «Видно, дескать, я тебѣ, Дарья, суженый да неряженый; ищи себѣ другого жениха, а я ужъ помолвилъ на Дуняшкѣ». Такъ меня, кормилецъ, словно ножомъ и зарѣзалъ!—На Дуняшкѣ!.. И добро бы человѣкъ, а то вѣдь такъ... дѣвка чернавка—взглянуть не на что... Зло такое меня взяло, что и сказать нельзя!.. Опротивѣлъ мнѣ этотъ рыжій—видѣть его не могу!.. А какъ живешь вмѣстѣ, такъ поневолѣ видишь. Потерпѣла я денекъ, другой—нѣтъ! тоска меня вовсе одолѣла. Вотъ я и говорю хозяину: «Хочу, дескать, батюшка, идти въ Филипповщинское согласіе за тѣмъ, дескать, что у нихъ строже,—скорѣй спасешься». А у самой, грѣшницы, не то на умѣ:

какъ бы только уйти подальше отъ Архипки, да не видѣть эту поскудную Дуняшку. Вотъ Андрей Яковлевичъ началъ меня уговаривать: «Эй, Дарья, не ходи къ филипповцамъ! У нихъ наставникомъ старецъ Пафнутій, а онъ вовсе полоумный: научитъ онъ тебя такимъ дѣламъ, что ты и животу не будешь рада. — И дочка-то его со слезами упрашивала меня не ходить къ филипповцамъ... такъ нѣтъ! — никого не послушалась — пошла!.. Чтожъ, батюшка? не прошло недѣли, какъ я вовсе обезумѣла; только и слышу, что у нихъ какой-то великій угодникъ, ради царствія небеснаго, велѣлъ похоронить себя живого; такая-та угодница сожглась въ печи, такая-то запостилась. И въ молитвахъ-то ихъ поминаютъ и чинятъ имъ поклоненія. Стали мнѣ разсказывать, что будто бы видали ихъ въ свѣтлыхъ одеждахъ, въ златыхъ вѣнцахъ... а я съ дуру слушаю да вѣрю. Вотъ пришелъ въ скитъ старецъ Пафнутій. Онъ, батюшка, самъ въ скиту не живетъ, а, говорятъ, спасается гдѣ-то на соснѣ.

— Да не онъ ли караулилъ васъ въ этомъ шалашѣ?—спросилъ Левшинъ.

— Онъ, батюшка, онъ!.. Вотъ этотъ разбойникъ подговорилъ человѣкъ пять идти въ запошеванцы, да началъ и меня уговаривать: «Ты, дескать, сестра Дарья; не бойся; коли Богу будетъ угодно, такъ ты и сорокъ дней не ѣвши проживешь, а останешься жива; а коли умрешь, такъ смерть твоя будетъ честна предъ Господомъ и ты причтешься къ лику святыхъ мучениковъ. Да съ вами же и насилія никакого не будетъ. Кто снесетъ, тотъ неси, а кому придется не въ моготу, такъ пусть себѣ отречется; и коли не пожелаетъ промѣнять временную жизнь на вѣчное блаженство — такъ его воля». — Что будешь дѣлать, прельстилъ и меня лукавый старецъ... Вотъ, батюшка, какъ насъ заперли въ эту запощевальню, первыя-то сутки мы смирно просидѣли, и другія кой-какъ промаялись; но ужъ зато на третьи... Господи, Боже мой!.. ну, мука!.. Я первая закричала, что отрекаюсь — отвѣту

нѣтъ. Закричали и другіе. Слышимъ Пафнутій съ кѣмъ-то пошептался, да и говоритъ намъ: «Нѣтъ, братія! коли вы сами не радѣете о душахъ вашихъ, такъ мы за васъ порадѣемъ. Нѣтъ вамъ отсюда выхода!.. Мужайтесь, братія, и когда Господь сподобитъ васъ стяжать вѣнцы мученическіе, такъ помолитесь и о насъ грѣшныхъ».—Вотъ тутъ-то, батюшка, поднялся вопль и плачъ!.. Когда мы увидѣли, какъ прельстилъ и обманулъ насъ этотъ душегубецъ, всѣ мы стали словно бѣшеные: кричимъ, воемъ, рвемъ на себѣ платье, кусаемъ руки; а онъ, злодѣй, только-что и твердитъ: «Потерпите, братіе, потерпите! Мзда ваша велика на небеси!»—Я еще, батюшка, не очень отощала: у меня въ карманѣ была просвирка; ее принесла мнѣ изъ Кіева одна странница, когда я жила еще у прежняго хозяина. На второй день я потихоньку ее съѣла; но ужъ зато пить мнѣ такъ хотѣлось, что я дала бы себѣ отрѣзать любой палецъ за одну каплю воды... Ахъ! батюшка, подумаешь: чтобы съ нами было, еслибъ Господь не привелъ васъ сюда!.. Подлинно правду говорятъ: голодная смерть хуже всякой смерти.

— Такъ ты, Дарья, надѣешься, — сказалъ Левшинъ,—что прежній хозяинъ приметъ тебя опять къ себѣ въ домъ?

— Приметъ, батюшка: онъ человѣкъ добрый. Повалюсь ему въ ноги, скажу: виновата, кормилецъ, согрѣшила!.. Да и дочка-то за меня заступится.

— А кто такой твой хозяинъ?

— Отецъ Андрей.

— Отецъ Андрей!.. Да развѣ у него нѣтъ никакого прозванія?

— Да какъ бы тебѣ сказать: въ глаза его зовутъ отцомъ Андреемъ, а за глаза Андреемъ Поморянином.

— Да кто онъ такой? Дворянинъ что ль, купецъ, или изъ духовнаго званія?

— И этого не вѣдаю, батюшка; а знаю только, что въ здѣшней сторонѣ онъ у всѣхъ въ большомъ почетѣ, даже старецъ Пафнутій и тотъ его побаивается.

— Ну, что, — промолвилъ робко Левшинъ, — дочь его, Софья Андреевна, здорова?

— А ты имячко-то ея знаешь?.. Вотъ что!.. здорова, батюшка, здорова... только все что-то кручинится, да тоскуетъ.

— Тоскуетъ!—повторилъ вполголоса Левшинъ.

— Да, батюшка; говоритъ, что по Москвѣ... вишь больно ей приглянулась. А я такъ думаю, что теперь и въ Москвѣ-то она стала бы тосковать.

— Отчего же?

— Отчего!.. Ну, ужъ это, молодецъ, самъ смекай.

— На-ка, красавица, вотъ тебѣ и еще водицы, — сказалъ Ферапонтъ, подходя къ Дарьѣ и подавая ей свою шапку съ водою. — Пей себѣ на здоровье!.. Да только поскорѣе въ путь. Благо теперь облачко-то поразошлись, все-таки кой-что видно будетъ; а неравно опять набѣгутъ тучи, такъ и ты, голубушка, заплутаешься.

Молодая женщина встала, а Левшинъ и Ферапонтъ пошли отвязывать своихъ коней. Въ эту самую минуту изъ-за угла сарая высунулась безобразная рожа чернобородаго раскольника.

— Вотъ они! — заревѣлъ онъ, оборотясь назадъ, и человѣкъ пятнадцать вооруженныхъ дубинами мужиковъ высыпало на поляну.

— Хватайте ихъ, братіе!.. бейте этихъ проклятыхъ святотатцевъ!—кричалъ чернобородый, бросаясь съ поднятой дубиною на Левшина. Отскочивъ быстро въ сторону, Левшинъ выхватилъ свою саблю, она свиснула и чернобородый, какъ снопъ, повалился на землю. Но Левшинъ не успѣлъ повторить удара: его сбили съ ногъ, скрутили назадъ руки и потащили въ лѣсъ. Разумѣется, Ферапонтъ, который былъ шагахъ въ двадцати отъ своего господина, кинулся къ нему на помощь; къ несчастію, онъ наткнулся на пенекъ и упалъ. Когда онъ приподнялся, человѣкъ пять раскольниковъ, не давъ ему справиться, кинулись на него *гурьбою,* вырвали изъ рукъ саблю и ухватились за

него со всѣхъ сторонъ. Но Ферапонтъ устоялъ на ногахъ. Онъ круто повернулся кругомъ, тряхнулъ своими богатырскими плечами, высвободилъ руки и пошелъ работать направо и налѣво; сломалъ, какъ медвѣдь, двухъ противниковъ, сшибъ съ ногъ ударомъ кулака третьяго, подмялъ подъ себя четвертаго; но пятый, отскочивъ назадъ, ударилъ его дубиною такъ сильно по головѣ, что у него, какъ послѣ самъ онъ разсказывалъ, искры изъ глазъ посыпались и въ ушахъ загудѣло, какъ будто бы ударили въ успенскій колоколъ. Онъ пошатнулся, ступилъ нѣсколько шаговъ впередъ и упалъ безъ чувствъ на землю.

— Что, улегся, проклятый еретикъ!—сказалъ одинъ изъ раскольниковъ, помогая приподняться двумъ товарищамъ, которые болѣе другихъ поизмяты были въ рукахъ Ферапонта.—Ну, здоровъ, разбойникъ!.. кулакъ словно свинчатка!.. Какъ онъ хлыснулъ меня, такъ я думалъ, что голова съ плечъ слетитъ!

— Чтожъ вы, братцы?—сказалъ, подходя къ нимъ, другой раскольникъ.—Мы того молодца ужъ спровадили, тащите и этого.

— Зачѣмъ? — молвилъ широкоплечій дѣтина, тотъ самый, который ударилъ Ферапонта дубиною.

— Какъ зачѣмъ?.. Ихъ надо обоихъ допросить. Отецъ Пафнутій говоритъ, что они подосланы отъ калужскаго архіерея.

— Не знаю тотъ, а этотъ ужъ вамъ ничего не отвѣтитъ.

— Ой-ли?

— Да ужъ небойсь!.. Кого я съѣзжу по маковкѣ дубиною, тотъ не встанетъ.

— Такъ прибрать бы его къ сторонкѣ.

— И безъ насъ приберутъ: волковъ-то здѣсь довольно. Ну, что кряхтите, ребята?—продолжалъ широкоплечій дѣтина, обращаясь къ своимъ товарищамъ.—Или реберъ не досчитываетесь?.. Экій лѣшій, проклятый, какъ онъ ихъ исковеркалъ!.. Ну, пойдемте, братцы!

Черезъ нѣсколько минутъ на полянѣ не осталось никого. Изрѣдка раздавались вдали голоса уходящихъ раскольниковъ и раза два лѣсной отголосокъ повторилъ имя Ферапонта; но вѣрный слуга не слышалъ призывного голоса своего господина. Когда затихли и эти отдаленные голоса, послышался въ кустахъ легкій шорохъ, и Дарья, робко озираясь кругомъ, вышла на поляну.

— Вотъ кто-то лежитъ!..—прошептала она, подходя къ Ферапонту.—Ахъ, Господи!.. Неужели они убили... Нѣтъ! я видѣла, его утащили въ лѣсъ... Видно это слуга... Ну, такъ и есть!.. Сердечный!—прошептала она, наклонясь надъ Ферапонтомъ.—По милости твоей и твоего барина я жива, а ты... Да онъ никакъ дышитъ... Видитъ Богъ, дышитъ?—вскричала съ радостію Дарья.—Кабы только вспрыснуть его водицею... А! да вотъ и шапка!

Дарья схватила войлочную шапку Ферапонта, подняла мимоходомъ саблю, которая, шагахъ въ десяти отъ него, лежала на землѣ, почерпнула въ родникѣ воды и, возвратясь назадъ, начала обливать ею голову и лицо Ферапонта. Съ полминуты онъ оставался въ прежнемъ положеніи; но вотъ, наконецъ, вздохнулъ и пошевелился.

— Ну, слава тебѣ Господи, очнулся!—сказала Дарья.

— Фу, какъ шумитъ въ головѣ!—прошепталъ Ферапонтъ.—Что это со мною было?

— Ничего Тебя немного позашибли.

— Да гдѣ я?

— Въ лѣсу, на полянѣ... Чу! слышишь, какъ воютъ волки?.. Ухъ, страшно!.. Вставай, молодецъ!

Ферапонтъ приподнялся до половины и началъ ощупывать голову.

— Кажись, цѣла,—промолвилъ онъ.—Фу ты, батюшки, какъ меня ошеломили!

— Вотъ твой тесакъ!—сказала Дарья.—Вставай, *молодецъ;* мѣшкать нечего.

— Да кто ты? — спросилъ Ферапонтъ.

— Я Дарья... ну, вотъ та затворница, которую ты поилъ водою. Я все сидѣла за кустомъ и видѣла, какъ съ вами дрались филипповцы.

— Съ нами?

— Ну, да!.. Съ тобой и съ твоимъ бариномъ.

— Съ бариномъ? — повторилъ Ферапонтъ и, какъ будто-бы пробудясь отъ сна, быстро вскочилъ на ноги, схватилъ саблю и закричалъ:—А гдѣ жъ мой баринъ? Дмитрій Афанасьичъ!.. Дмитрій Афанасьичъ!

— Да не кричи!—прервала Дарья.—Его здѣсь нѣтъ; его увезли съ собой филипповцы.

— Господи!..—завопилъ отчаяннымъ голосомъ Ферапонтъ.—Убьютъ они его, злодѣи!

— Небойсь!.. Коли здѣсь не убили, такъ не убьютъ.

— Куда они пошли?

— Вѣстимо куда: въ свой скитъ.

— Такъ веди меня туда — скорѣй, скорѣй!

— Зачѣмъ?.. Чтобы тебя опять дубиной хватили?..

— Эхъ, что нужды? Умирать, такъ умирать вмѣстѣ.

— Да что ты одинъ сдѣлаешь?.. Вѣдь ихъ тамъ человѣкъ до ста. Барина ты своего не выручишь, а полѣзешь на драку, такъ убьютъ тебя—вотъ и все!

— Да пусть себѣ убьютъ!.. По дѣломъ!—прервалъ Ферапонтъ.—Коли я не умѣлъ сберечь моего барина, такъ туда мнѣ и дорога!.. Пойдемъ!

— Полно, молодецъ, послушайся меня: пойдемъ лучше въ скитъ къ отцу Андрею. Онъ скорѣе выручитъ твоего барина.

— А кто этотъ отецъ Андрей?

— Мой прежній хозяинъ; его здѣсь всѣ слушаются, и если онъ самъ поѣдетъ къ филипповцамъ...

— Да поѣдетъ ли онъ?

— Поѣдетъ!.. Ужъ я тебѣ говорю... Онъ выручитъ твоего барина; только мѣшкать нечего... Чу! слышишь?

Вдругъ раздался вблизи зловѣщій вой; онъ повторился въ разныхъ мѣстахъ по лѣсу то ближе, то далѣе

Привязанные къ деревьямъ кони начали храпѣть и порываться.

— Чу! — продолжала Дарья робкимъ голосомъ, — слышишь, какъ перекликаются эти голодные волки?.. Охъ, худо, молодецъ!.. Видно они почуяли добычу!.. Ради Христа, поѣдемъ скорѣе!.. Ужъ такъ и быть, и я какъ-нибудь сяду на коня.

Ферапонтъ отвязалъ коней, помогъ своей спутницѣ сѣсть на донца, вскочилъ самъ на Султана и, несмотря на темноту, пустился рысью по дорожкѣ, которую ему указала Дарья. Они не успѣли еще проѣхать и полверсты, какъ на противоположной сторонѣ поляны заблистали между деревьевъ огненныя звѣздочки, захрустѣлъ валежникъ, и два огромныхъ волка, ощетинясь и сверкая глазами, промчались вдоль опушки лѣса къ тому мѣсту, гдѣ за минуту до того стояли кони.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ двухъ верстахъ отъ этой поляны, на которой раскольники захватили Ловшина и едва не убили его слугу, на берегу широкаго оврага, въ глубинѣ котораго лѣниво струилась, въ топкихъ берегахъ своихъ, рѣчка Брынь, стояло нѣсколько большихъ избъ, соединенныхъ межъ собою крытыми переходами. Одна изъ этихъ избъ была въ два жилья; къ ней примыкала низкая лачужка, которая, вѣроятно, служила кладовою; это можно было заключить изъ того, что она освѣщалась однимъ только прорубленнымъ подъ самой кровлею волоковымъ окномъ, и что ея толстыя дубовыя двери были окованы желѣзомъ. Кругомъ этого главнаго жилья разбросаны были, безъ всякаго порядка, отдѣльныя избы, клѣти, сараи и амбары. Нѣсколько поодаль отъ прочихъ строеній стояла *молельня*, длинное и широкое зданіе съ узкими окнами, въ которыхъ, вмѣсто стеколъ, была вставлена слюда. На досчатой кровлѣ этой молельни возвышался осмиконечный деревянный крестъ. Вся эта группа строеній, занимавшихъ довольно большое пространство, обнесена была высокимъ бревенчатымъ тыномъ; въ оградѣ было двое воротъ: одними выѣзжали на дорогу, которая,

круто спускаясь на дно оврага, вела къ узкому мосту, перекинутому черезъ рѣчку Брынь; другія, находящіяся въ противоположной сторонѣ ограды, обращены были къ расчищенному мѣсту. На этой искусственной полянѣ разбросаны были огороды и нѣсколько пчельниковъ, обнесенныхъ плетневыми заборами. Надъ первыми воротами, подъ навѣсомъ изъ листового желѣза, стояла большая икона Спаса Нерукотвореннаго, передъ которой теплилась лампада. Внизу, съ одной стороны воротъ устроена была низенькая сторожка, съ другой — висѣли: огромная оловянная умывальница и чистый ручникъ, или полотенце изъ бѣлаго холста. На воротахъ, подъ самымъ образомъ, было написано крупнымъ полууставомъ: «Аще кто входяй во святыя врата сіи не отречется отъ міра и вся скверны его, тотъ да будетъ намъ яко же мытарь и язычникъ».

Этотъ раскольничій скитъ принадлежалъ филиппповцамъ.

Пользуясь правомъ разсказчика, для котораго нѣтъ запертыхъ дверей, я попрошу васъ, любезные читатели, заглянуть вмѣстѣ со мною во внутренность этой кладовой, которая примыкала къ избѣ о двухъ жильяхъ. Въ ней стояло нѣсколько сундуковъ, окованныхъ желѣзомъ, и сидѣлъ на скамьѣ, съ связанными назадъ руками, Левшинъ. Разумѣется, въ этой кладовой, въ которую и днемъ едва проникалъ слабый свѣтъ, было темно, какъ въ подземельѣ. Вотъ уже прошло болѣе часу, какъ нащего путешественника втолкнули и заперли въ эту лачужку. Конечно, положеніе его было не очень завидное: Левшинъ могъ всего ожидать отъ этихъ неистовыхъ изувѣровъ, въ глазахъ которыхъ онъ былъ не только еретикомъ, но даже святотатцемъ и явнымъ врагомъ православія; но, несмотря на это, онъ вовсе не раскаявался въ своемъ поступкѣ: онъ спасъ отъ мучительной смерти шесть человѣкъ и въ томъ числѣ женщину, по милости которой знаетъ теперь, гдѣ живетъ *его незнакомка*. О себѣ самомъ Левшинъ *безпокоился* несравненно менѣе, чѣмъ о вѣрномъ своемъ

слугѣ, который, вѣроятно, не спрятался за кустъ, когда на нихъ напали раскольники. Отбиться одному отъ цѣлой толпы невозможно; но Левшинъ зналъ также, что Ферапонта одолѣть не легко, что онъ не дастся живой въ руки и, безъ всякаго сомнѣнія, перестанетъ драться только тогда, когда его или вовсе изувѣчатъ, или убьютъ до смерти. Послѣднее было даже гораздо вѣроподобнѣе: и на кулачной потѣхѣ бываютъ убитые, а этотъ бой вовсе не походилъ на потѣшный: всѣ раскольники были вооружены дубинами и, вѣроятно, ожесточенные упорнымъ сопротивленіемъ Ферапонта дрались съ нимъ не на животъ, а на смерть.

Нѣсколько разъ Левшинъ обходилъ кругомъ свою каморку. Онъ давно бы обшарилъ все и попытался узнать, нѣтъ ли для него какого-нибудь средства къ побѣгу, но что онъ могъ сдѣлать съ связанными руками?.. Въ одинъ изъ этихъ обходовъ Левшинъ зацѣпилъ локтемъ за гвоздь, вколоченный въ стѣну. Мысль, что онъ можетъ какъ-нибудь перетереть на этомъ гвоздѣ веревку, которою его руки были скручены назадъ, мелькнула въ его головѣ. И вотъ онъ, оборотясь спиною къ стѣнѣ, приложилъ къ гвоздю свои связанныя руки и принялся за работу. Съ четверть часа трудился онъ безъ отдыха, измучился, исцарапалъ себѣ въ кровь пальцы,—но перепилилъ наконецъ кое-какъ веревку и стряхнулъ ее на полъ. Когда его одеревенѣвшія руки поотдохнули, онъ принялся ощупывать стѣны своей тюрьмы. Добравшись до дверей, Левшинъ попытался упереться въ нихъ плечомъ, но тотчасъ же увидѣлъ, что этихъ дверей онъ не могъ бы выломать и при помощи своего могучаго богатыря Ферапонта. Продолжая обшаривать всѣ углы, онъ ощупалъ въ одномъ изъ нихъ преставленную къ стѣнѣ лѣстницу. Хотя Левшинъ былъ увѣренъ, что лѣстница упирается однимъ концомъ въ потолокъ и не ведетъ никуда, однакожъ рѣшился взлѣзть по ней вверхъ; поднявшись ступеней на семь отъ земли, онъ почувствовалъ, что на него пахнуло свѣжимъ воздухомъ изъ отверстія, сдѣ-

ланнаго въ потолкѣ. Левшинъ сталъ подыматься еще выше и очутился на чердакѣ, подлѣ открытаго слуховаго окна. Въ первую минуту ему представилась какая-то возможность къ спасенію; но эта надежда не долго продолжалась: слуховое окно было такъ мало, что онъ не могъ даже просунуть въ него головы и посмотрѣть, что дѣлается на дворѣ. Подышавъ нѣсколько времени прохладнымъ ночнымъ воздухомъ у открытаго окна, Левшинъ сталъ искать, нѣтъ ли на этомъ чердакѣ какого-нибудь отверстія поболѣе этого слухового окна. Онъ не успѣлъ сдѣлать трехъ шаговъ, какъ вдругъ остановился и сталъ прислушиваться. Я думаю, вы не забыли, любезные читатели, что кладовая, которая служила для Левшина тюрьмою, пристроена была къ высокой избѣ о двухъ жильяхъ, слѣдовательно, чердакъ ея примыкалъ къ стѣнѣ второго жилья—и за этой-то стѣною послышался Левшину, хотя невнятный, но довольно звучный людской говоръ. Левшинъ подошелъ къ стѣнѣ, повелъ по ней рукою и ощупалъ небольшія, но плотныя двери съ желѣзными пробами, которыя однакожъ, отъ легкаго прикосновенія, тихо отворились внутрь. Притаивъ дыханіе и медленно подвигаясь впередъ, Левшинъ вошелъ въ просторный чуланъ, въ которомъ по стѣнамъ развѣшаны были платья. Этотъ чуланъ отдѣлялся отъ покоя, гдѣ раздавались громкіе гососа разговаривающихъ, толстой бревенчатой стѣною и дверью, которая повидимому была заперта снаружи; въ ней было прорубленное небольшое окошечко, вѣроятно служившее для освѣщенія чулана. Конечно, Левшину не трудно было бы отгадать, что это сообщеніе между его тюрьмою и жилыми покоями сдѣлано было для того, чтобъ хозяинъ избы о двухъ жильяхъ могъ во всякое время, и не выходя на дворъ, заглянуть въ свою кладовую; но Левшинъ думалъ вовсе не объ этомъ. Притаясь у прорубленнаго въ дверяхъ окна, онъ могъ и слышать и видѣть все, что происходило въ сосѣднемъ покоѣ, или, вѣрнѣй сказать, большой избѣ, потому что въ ней были и полати, и печь

съ горнушкою, и шестакъ,—однимъ словомъ, все то, что мы видимъ и теперь въ крестьянскихъ избахъ; разница была только въ томъ, что надъ самымъ устьемъ печи были сдѣланы небольшія круглыя отверстія; они служили для того, чтобъ во время молитвы хозяина благодать, проникая въ печь, свободно входила въ горшки, въ которыхъ варилась пища. Большая часть этой обширной избы была въ тѣни, но весь передній уголъ ярко освѣщался тремя лампадами и восковыми свѣчами, которыя горѣли передъ иконами. Въ этомъ почетномъ углу за столомъ сидѣло шесть человѣкъ. Первое мѣсто, то-есть подъ самыми образами, занималъ худощавый старикъ лѣтъ шестидесяти; изъ-подъ сѣдыхъ нависшихъ бровей его сверкали сѣрые блестящіе глаза. Во всѣхъ чертахъ лица его отражались внутренняя духовная гордость, жестокосердіе и дикая, ничѣмъ не преклонная воля; а этотъ, исполненный мрачнаго огня, быстрый и безпокойный взглядъ изобличалъ, если не совершенное безуміе, то, по-крайней-мѣрѣ, какое-то изступленное состояніе, близкое къ сумасшествію. На немъ былъ черный подрясникъ и *каптырь*, или раскольничій клобукъ, который отличался отъ обыкновенныхъ монашескихъ клобуковъ только тѣмъ, что тулья его имѣла форму жидовской ермолки и обшивалась мѣхомъ; въ правой рукѣ держалъ онъ костыль, похожій на игуменскій посохъ, на лѣвой висѣли у него длинныя лѣстовки, т.-е. кожаныя чотки. Левшину не трудно было узнать въ этомъ чернецѣ полоумнаго раскольника, котораго называли старцемъ Пафнутіемъ. Подлѣ него сидѣлъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ въ бѣломъ суконномъ балахонѣ; онъ вовсе не походилъ на своего сосѣда: его приглаженные волосы и небольшая опрятная бородка представляли разительную противоположность съ косматой и нечесаной бородою старика. Съ перваго взгляда Левшинъ подумалъ, что видитъ передъ собою воплощенную доброту, кротость и смиреніе. Этотъ раскольникъ, котораго называли отцомъ Филиппомъ, говорилъ такъ тихо, такимъ мяг-

кимъ, благозвучнымъ голосомъ, что, казалось, изъ устъ его могли исходить только одни слова любви и милосердія; но Левшину стоило только посмотрѣть на его прищуренные, лукавые глаза, чтобъ увѣриться въ противномъ. Въ нихъ выражалось такое коварное двуличіе, такая искусственная кротость и притворное смиреніе, что, конечно, всякій предпочелъ бы имѣть дѣло съ его полоумнымъ сосѣдомъ, чѣмъ съ нимъ. Тотъ походилъ на злую цѣпную собаку, а этотъ сладко-глаголевый лицемѣръ,—на дикую кошку, которая прикидывается смиренницей для того, чтобъ вѣрнѣй поймать и задушить свою добычу. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ небольшого роста старикъ, въ сѣромъ зипунѣ, опоясанномъ веревкою. На огромной и вдавленной въ широкія плечи головѣ его не было ни одного волоска; но зато необычайно длинная борода его, которая, покрывая всю грудь, опускалась ниже пояса, была предметомъ явнаго уваженія и тайной зависти всѣхъ раскольниковъ Брынскаго лѣса. Ученикъ знаменитаго наставника черноболцевъ, Антипа *Коровьи ножки*, онъ самъ былъ извѣстенъ во всѣхъ скитахъ подъ именемъ *Волосатаго* старца. Его прямой и узкій лобъ, его бездушные, оловянные глаза, безсмысленные взгляды и совершенное отсутствіе выраженія въ этихъ пошлыхъ чертахъ лица, безжизненнаго въ высочайшей степени,—все носило на себѣ отпечатокъ и природной глупости и совершеннаго невѣжества. Еслибъ борода этого лысаго старика была не длиннѣе обыкновенныхъ бородъ, то, вѣроятно, онъ прожилъ бы незамѣтно свой вѣкъ въ толпѣ безграмотныхъ рядовыхъ раскольниковъ, которые повинуются своимъ наставникамъ ради того, что они люди *начитанные*, и слѣпо вѣрятъ имъ потому, что они говорятъ съ ними языкомъ, похожимъ на церковный языкъ, которымъ писаны всѣ наши духовныя книги.

Казалось, случай какъ-будто бы нарочно свелъ вмѣстѣ этихъ трехъ раскольниковъ, чтобы олицетворить передъ глазами Левшина три главныя начала почти всякаго раскола: безумный фанатизмъ, фарисей-

ское лицемѣріе и глубокое, закоснѣлое невѣжество. Остальные три раскольника, сидѣвшіе за столомъ, не отличались ничѣмъ отъ обыкновенныхъ зажиточныхъ мужиковъ и, повидимому, не принимали никакого дѣятельнаго участія въ бесѣдѣ своихъ старшинъ.

— Оле бѣдствіе!.. Оле скорбь неусладимая!..—говорилъ старецъ Пафнутій.—Православные призываютъ еретиковъ, отрекаются отъ своего обѣта!.. Да потребитъ же Господь отъ земли память сихъ окаянныхъ отступниковъ!.. Да воспомянутся беззаконія отцевъ ихъ предъ Господомъ, да пріидетъ на главу ихъ...

— Эхъ, полно, отецъ Пафнутій, не кляни!—прервалъ Филиппъ. Или ты не вѣдаешь, что изрекающихъ проклятія отвращается Господь, ибо гортань ихъ яко гробъ отверстый. Прежде бывшіе братья и сестры наши не до конца свершили свой подвигъ, — такъ чтожъ?.. Коли было начало благое, такъ будетъ и конецъ благой; а что они призвали на помощь еретиковъ, и тѣ ихъ выручили, такъ въ этомъ мы сами виноваты; коли они волей пошли въ запощеванцы, такъ мы бы могли имъ и здѣсь въ скиту мѣстечко найти; здѣсь бы ихъ никто не выручилъ. Вотъ, погоди, они вернутся къ намъ со своими пожитками.

— Да не дерзаютъ!—закричалъ Пафнутій.—И како возмогутъ сіи нечестивые грѣхолюбцы и плотоугодники внити во святыя врата обители нашей?

— Ну, коли не во святыя, такъ мы проведемъ ихъ и задними. Я приму ихъ съ любовью, яко заблудшихъ овецъ...

— Недостойное глаголеши, брате Филиппе! — прервалъ Пафнутій.—Удобѣ тьмѣ смѣшатися со свѣтомъ, чѣмъ единому изъ братій нашихъ имѣть общеніе и любовь съ ними отступниками отъ православной вѣры...

— Эхъ, отецъ Пафнутій! да вѣдь человѣкъ слабъ: протекая свое поприще, онъ претыкается, а претыкающійся падаетъ—потщимся же возставить его. Ты станешь ихъ увѣщевать, я тебѣ пособлю и, можетъ-быть, они опять пойдутъ охотно въ запощеванцы...

— А не захотятъ охотою, такъ можно и поневолить,—проговорилъ долгобородый.

— Ни, ни!—завопилъ Пафнутій.—Недостойны бо стяжать свѣтлые вѣнцы мученическіе. Пусть гибнутъ окаянные во грѣхѣ своемъ.

— И впрямь,—промолвилъ долгобородый,—пусть гибнутъ во грѣхѣ!

— Ну, какъ хотите!.. Такъ мы ихъ въ скитъ не пустимъ, а пожитки ихъ оставимъ у себя.

— Нѣтъ, брате Филиппе!—прервалъ Пафнутій.—Все ихъ доброе, сирѣчь пожитки, яко еретикамъ принадлежащіе, да предадутся огню.

— Огню!—повторилъ Филиппъ.—Что ты, отецъ Пафнутій!.. Какъ станемъ этакъ все предавать огню, такъ намъ и перекусить нечего будетъ.

— Да, братіе!—продолжалъ Пафнутій.—Да! и пепелъ оныхъ развѣйте по вѣтру,—да не како прикасаясь къ достоянію нечестивыхъ, осквернимся и мы, православные.

Кошачьи глаза Филиппа завертѣлись во всѣ стороны; онъ приподнялся, хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ остановился и началъ молча перебирать свои чотки.

— Истинно такъ!—промолвилъ долгобородый.—И покойный наставникъ мой Антипій увѣщевалъ братію сохранять себя отъ осквернения; онъ часто говаривалъ, что коли гдѣ погребенъ еретикъ, и на могилѣ его вырастетъ трава, и той травы пощиплетъ корова, и отъ этой коровы кто изъ братій выпьетъ молочка, то отлучить такового на шесть мѣсяцевъ отъ церкви и троекратно читать надъ нимъ молитву отъ осквернения.

— Эхъ, братіе, братіе!—заговорилъ опять Филиппъ кроткимъ и тихимъ голосомъ.—Да вѣдь и скверное, проходя чрезъ руки православныхъ, освящается. Мало ли изъ нашихъ и продаютъ и покупаютъ, и деньги на торгу берутъ, а изъ какихъ онѣ идутъ рукъ?

— Деньги! — прервалъ Пафнутій. — Берегитесь, братіе, сей прелести сатанинской?.. Деньги бо суть *печать антихристова*.

— Деньги печать антихристова! — повторилъ Филиппъ, вовсе уже не кроткимъ голосомъ. — Нѣтъ, отецъ Пафнутій, не безумствуй!.. Деньги даръ Божій.

— Даръ Божій!.. О людіе крѣпковыйные и съ окамененнымъ сердцемъ!.. Да развѣ ты не читалъ, Филиппъ, о звѣрѣ и драконѣ антихриста?

— Читалъ.

— А что же мнится изображеннымъ на сихъ еретичныхъ деньгахъ—не драконъ ли?.. Какъ же онѣ не суть печать антихристова?

— Эхъ, Пафнутій! Да на нихъ изображенъ Георгій Побѣдоносецъ, поражающій дракона, сирѣчь сатану.

— Толкуй по-своему, толкуй!.. Нѣтъ, брате Филиппе, нечиста твоя вѣра. Се бо плоды кичливой мудрости бывшаго твоего наставника — Андрея Поморянина. Берегись, возлюбленный Филиппе, берегись внимать льстивымъ рѣчамъ сего прелестника!.. Не пастырь бо есть овецъ, а наемникъ... Что глаголю— наемникъ!.. Волкъ бо есть, пожирающій стадо!

— Ну, хоть и не волкъ,—прервалъ съ примѣтнымъ удовольствіемъ Филиппъ;—а нечего грѣха таить: отецъ Андрей не великій ревнитель православія—осуетился, обмірщился?.. Да все-таки каковъ ни есть, а вѣдь другой заступы у насъ нѣтъ... Кабы не онъ, такъ давно бы намъ отъ прежняго Мещовскаго воеводы житья здѣсь не было. Вы всѣ вѣдаете, что благочестивая наша царевна Софья Алексѣевна въ своей царской милости его содержитъ, и не токмо жалуетъ, но даже грамотки къ нему пишетъ; такъ поди-ка—обличи его!

— Обличу нещадно сего міроугодника! — воскликнулъ Пафнутій.—Не убоюсь ни льва, ни скимна...

— Ну, хорошо, хорошо! — прервалъ Филиппъ. — Да рѣчь теперь не о томъ. Послушайте, братіе: мы захватили одного изъ проѣзжихъ еретиковъ, посягнувшихъ на свободу служенія нашего...

— Да, да!—сказалъ Пафнутій.—Святые угодники невидимо поборали съ нами, и сей буйный нечестивецъ ятъ и ввержен въ узилище...

— Сирѣчь запертъ въ моей кладовой. Да чтожъ мы станемъ, православные, съ нимъ дѣлать?

— Вѣстимо что, отецъ Филиппъ, — сказалъ одинъ рыжій раскольникъ изъ числа тѣхъ, которые не принимали еще участія въ бесѣдѣ. — Не отпустить же его съ поклономъ домой!.. Вѣдь онъ, проклятый, разнесъ тесакомъ почитай на-двое голову брату Ѳеодосею. Богъ вѣсть, будетъ ли живъ?

— Такъ чтожъ торговаться съ этимъ еретикомъ?— подхватилъ долгобородый.—Петлю ему на шею...

— А мы съ братіей вотъ какъ думаемъ,—продолжалъ рыжій: — держать его взапарти, да не давать хлѣба: пусть себѣ умираетъ своею смертію.

— Яко благочестивый запощеванецъ? — прервалъ Пафнутій.—Нѣтъ, братіе, да не будетъ! Пусть гибнетъ сей еретикъ по закону, сказано бо есть: подъявшій мечъ, отъ меча да погибнетъ!

— Оно такъ!—промолвилъ вполголоса Филиппъ;— да чтобъ оглядокъ не было. Вѣдь онъ былъ не одинъ.

— Да тотъ въ доносъ не пойдетъ, — сказалъ рыжій.—Гаврилъ такъ хватилъ его по маковкѣ дубиною, что онъ и не пикнулъ.

— Полно, такъ ли?

— Да ужъ не бойся, отецъ Филиппъ, не встанетъ!

Во всякое другое время Левшинъ пришелъ бы въ отчаяніе отъ этихъ словъ: онъ истинно любилъ вѣрнаго своего слугу; но на этотъ разъ его собственное положеніе было такъ ужасно, что ему некогда было пожалѣть о бѣдномъ Ферапонтѣ.

— Ну, это дѣло другое!—сказалъ, помолчавъ нѣсколько времени, Филиппъ. — Коли того убили, такъ этого нельзя помиловать: живая улика! Да что это у васъ за обычай такой?.. Одного уходятъ, а другого нѣтъ. Иль вы не знаете пословицы: семь бѣдъ, одинъ отвѣтъ?

— Да вотъ отецъ Пафнутій указалъ намъ захватить ихъ живьемъ; ихъ, дескать, допросить надобно: они подосланы отъ врага нашего, калужскаго архіерея.

— Истинно такъ! — подхватилъ Пафнутій. — Не странники бо суть мимоидущіе, но лукавые соглядатаи.

— Сирѣчь, языки? — сказалъ Филиппъ. — Нѣтъ, отецъ Пафнутій! Коли бы они были языки, такъ не полѣзли бы съ нашими на драку: все бы втихомолку высмотрѣли, а тамъ подали бы извѣтъ калужскому архіерею или Мещовскому воеводѣ. Да это все равно: подосланъ ли онъ или нѣтъ, а коли отпустимъ его живого, такъ онъ докажетъ на насъ, что мы убили его товарища. Ну, дѣлать нечего, жаль молодца, да своя рубашка ближе къ тѣлу... Чу!.. Что это? Кто-то въѣхалъ къ намъ на дворъ... Что больно поздно?.. Кому бы кажется?..

— Отецъ Филиппъ,—сказалъ молодой дѣтина, входя поспѣшно въ избу.—Андрей Поморянинъ пріѣхалъ.

— Андрей Поморянинъ!.. Зачѣмъ?

— А вотъ какъ скажу, такъ узнаете! — раздался въ дверяхъ громкій голосъ.

— Отецъ Андрей!—вскричалъ Филиппъ, вставая Всѣ собесѣдники его также встали, исключая Пафнутія, который однакожъ поотодвинулся, чтобъ очистить мѣсто для пріѣзжаго гостя. Въ избу вошелъ человѣкъ пожилыхъ лѣтъ. Мы не станемъ описывать его наружность, потому что она извѣстна нашимъ читателямъ. Левшинъ съ перваго взгляда узналъ въ немъ проѣзжаго раскольника, съ которымъ повстрѣчался на постояломъ дворѣ.

II.

Когда этотъ проѣзжій, котораго называли Андреемъ Поморяниномъ, помолился передъ иконами, Филиппъ сказалъ ему съ низкимъ поклономъ:

— Милости просимъ, батюшка!.. Радуюсь твоему посѣщенію и творю тебѣ землекасательное поклоненіе!.

— Дозволь, отецъ Андрей, и мнѣ, — промолвилъ почтительно рыжій раскольникъ,—привѣтствовать тебя съ лицемнымъ поклономъ.

Всѣ остальные раскольники отвѣсили также по низкому поклону, исключая Пафнутія, который сидѣлъ, не трогаясь, на своемъ мѣстѣ.

— И я бы васъ привѣтствовалъ,—сказалъ пріѣзжій, окинувъ строгимъ взглядомъ всѣхъ присутствующихъ,— и я сказалъ бы: миръ вамъ, братіе! да языкъ не повернется. Нѣтъ мира для вводящихъ богопротивныя ереси; нѣтъ мира для сѣющихъ плевела сатанинскія; нѣтъ мира для васъ, окаянныхъ душегубцевъ, всуе призывающихъ имя Господне!

Эти неожиданныя слова совершенно смутили Филиппа и всѣхъ прочихъ раскольниковъ; одинъ Пафнутій вскочилъ съ своего мѣста и хотѣлъ что-то сказать, но пріѣзжій не далъ выговорить ему ни слова и продолжалъ своимъ громовымъ голосомъ.

— Безумные! что вы это опять затѣяли?.. Морить людей голодной смертію! Тому ли я училъ тебя, Филиппъ, когда ты жилъ въ поморьѣ и былъ моимъ келейникомъ?.. Ты человѣкъ грамотный, самъ испытывалъ писанія; такъ говори же при всѣхъ: со временъ апостольскихъ бывали ли когда вольные мученики, по вашему запощеванцы?.. Святые отцы наши, ради того, чтобъ побѣдить земныя страсти, постились, умерщвляли плоть свою; кто изъ нихъ уморилъ себя гладомъ?.. Мученики!.. Да мученикъ тотъ, кого враги православія предаютъ страдальческой смерти, и кто, несмотря на всѣ истязанія, остается вѣренъ своему Господу. Вотъ если бы тебѣ, Филиппъ, должно было избрать или казнь, или отреченіе отъ православной вѣры отцевъ нашихъ: когда бы тебѣ сказалъ судія неправедный: «Филиппъ! прими нашу новую никоніанскую вѣру или гряди на мѣсто казни». О! тогда иди смѣло на всѣ мученія, иди, рабъ Божій, съ радостію и веселіемъ; ибо чело твое украсится нетлѣннымъ вѣнцемъ мученика. Если даже ты, дабы не осквернить себя, вкушая пищу изъ одной чаши съ еретикомъ, погибнешь отъ глада, то и тогда страдальческая смерть твоя вмѣнится тебѣ въ добрый подвигъ. Но тотъ, кого никто не вынуждаетъ отсту-

нить отъ вѣры православной, кто можетъ вкушать отъ трапезы братьевъ своихъ и просто, по собственному своему изволенію, уморитъ себя гладомъ, сожжетъ огнемъ или предастъ иной какой лютой смерти—тотъ не мученикъ, а самоубійца, а наставники его—душегубцы; ибо навѣки погубили его душу. Ты вѣдалъ все это, Филиппъ, для чего же ты дозволилъ?..

— Согрѣшилъ, батюшка! — сказалъ Филиппъ, смиренно преклонивъ голову.—Обезумѣлъ!.. Вотъ старецъ Пафнутій прельстилъ насъ!..

— Да, да!—повторили вслѣдъ за Филиппомъ и другіе раскольники,—старецъ Пафнутій прельстилъ насъ!

Пафнутій вскочилъ съ своего мѣста; глаза его сверкали какъ у дикаго звѣря, посинѣвшія губы дрожали; вмѣсто словъ вылетали изъ устъ его невнятные звуки—и вотъ, наконецъ, онъ завопилъ неистовымъ голосомъ:

— О, маловѣры окаянные!.. Ученицы непотребніи! Рабы неключимые!.. Тако ли посѣянное мною въ сердцахъ вашихъ сѣмя, не возникнувъ, погибло отъ хульныхъ рѣчей сего нечестиваго поморянина?.. Бѣгите убо, предатели, да не како пожретъ васъ огнь небесный!.. А ты, проклятый міролюбецъ, волкъ хищный, облеченный въ одежду пастыря, внимай своему обличенію...

— Умолкни, окаянный!—прервалъ Андрей.—Давно ли ты сгубилъ всю братію въ Оадѣевскомъ скиту, уговоря ихъ креститься, по-твоему, какимъ-то крещеньемъ огненнымъ... Теперь опять за то же?.. Ступай на свою сосну, спасайся на ней, какъ умѣешь; но съ нами нѣтъ тебѣ части!.. Послушайте, братіе!—продолжалъ онъ, обращаясь къ другимъ раскольникамъ,—я не стану препираться съ этимъ полоумнымъ о вѣрѣ, и коли вы желаете со мною примириться, такъ извергните его, не медля, изъ среды вашей и дайте мнѣ клятвенное обѣщаніе, отнынѣ и навсегда, не имѣть никакого общенія съ этимъ звѣроподобнымъ старцемъ.

— Ну, что же, братіе?—сказалъ Пафнутій, окинувъ

быстрымъ взглядомъ всѣхъ учениковъ своихъ. — Что медлите?.. Изгоняйте вашего наставника!

— Да не погнѣвайся, отецъ Пафнутій,—промолвилъ Филиппъ,—мы батюшку нашего, отца Андрея, на тебя не промѣняемъ.

— О, мерзость запустѣнія!—возопилъ Пафнутій.— Пріемлется наемникъ злочестивый, изгоняется пастырь добрый!..

— Да что, Пафнутій,—сказалъ одинъ изъ раскольниковъ, который еще не говорилъ ни слова,—коли доподлинно никто изъ святыхъ отцевъ не былъ запощеванцемъ, такъ чему же ты насъ училъ?

— Истинно такъ! — подхватилъ долгобородый. — Коли и угодники Божіи вкушали пищу, такъ какой слѣдъ намъ грѣшнымъ?..

— Соблазнилъ ты насъ, старецъ Пафнутій!—прервалъ рыжій раскольникъ.—Богъ тебѣ судья!

— Ступай-ка, добро, ступай!—промолвилъ долгобородый.—Чай, на твоей соснѣ грачи-то ужъ гнѣздъ навили.

— Съ Богомъ, Пафнутій, съ Богомъ!—сказалъ Филиппъ, указывая рукою на дверь.

Пафнутій подошелъ молча къ дверямъ, схватилъ съ полки глиняный горшокъ, ударилъ его о-земь и, указывая на черепки, воскликнулъ:

— Тако да сокрушитъ Господь главы ваши, Іудѣ подобные отступники и предатели!.. Да постигнетъ васъ скорбь земная и гибель вѣчная!.. Да приложитъ Господь беззаконія къ беззаконіямъ вашимъ!.. Да будетъ вашъ постъ пресыщеніемъ, молитва грѣхомъ и хвалебная пѣснь хулою!.. Се отрясаю на васъ и прахъ, прилипшій къ ногамъ моимъ!.. Да будетъ тако, да будетъ!

— О, Господи!—прошепталъ рыжій, глядя вслѣдъ за уходящимъ Пафнутіемъ,—какъ онъ клянетъ!

— Эхъ, не ладно!—сказалъ долгобородый, почесывая затылокъ.—Чтобъ худо не было!.. Вы слышали, *православные*, что онъ намъ сулитъ?

— Слышали! — отвѣчали вполголоса всѣ раскольники, поглядывая другъ на друга съ примѣтнымъ ужасомъ.

— Что вы это, братіе, чего испугались? — спросилъ Андрей.

— Да какъ же, батюшка!—промолвилъ долгобородый. — Развѣ ты не слышалъ?.. Старецъ Пафнутій проклялъ насъ!

— Такъ чтожъ?.. Проклятія, изрекаемыя нечестивымъ, падаютъ на главу его.

— Вѣстимо!—подхватилъ Филиппъ.—Ну, чего вы испугались?.. Да пусть себѣ лается, надъ нимъ бы и тряслось, — разбойникъ этакій!.. Всѣ горшки у меня перебилъ!

— Я давно бы спровадилъ его изъ нашихъ мѣстъ,— сказалъ Андрей, садясь въ передній уголъ,—да боюсь, чтобъ этотъ шальной и васъ всѣхъ не оговорилъ: и такъ идутъ о насъ дурные слухи... Эхъ, братіе, братіе! губите вы вашими дѣлами нашу правую вѣру!.. Да чтожъ вы стоите?.. Садитесь! Мнѣ надобно еще о другомъ побесѣдовать съ вами.

Когда всѣ помѣстились кругомъ стола, Андрей, обращаясь къ Филиппу, сказалъ:

— У васъ сегодня въ сумерки была въ лѣсу драка съ проѣзжими?

— Была, батюшка!—отвѣчалъ Филиппъ.

— За то, что они помѣшали Пафнутію довершить его беззаконное дѣло.

— Да мы еще тогда, отецъ Андрей, думали, что дѣло-то наше законное.

— Лжешь, Филиппъ! Ты и тогда этого не думалъ.

— Покарай меня, Господи!..

— Полно, Филиппъ, не клянись; не прилагай грѣха къ грѣху!.. Ну, пусть другіе это думали, а ты себѣ на умѣ!.. Эхъ, Филиппъ, заѣла тебя корысть!.. Ну, да рѣчь не о томъ. Вы захватили одного изъ проѣзжихъ...

— Не я, отецъ Андрей!.. Я не указывалъ никого

брать. Все это старецъ Пафнутій переполошилъ всю братію. Это, дескать, языки калужскаго архіерея—ихъ надо допросить.

— Я не о томъ тебя спрашиваю. Одинъ изъ этихъ проѣзжихъ у васъ ли теперь въ скиту?.. Ну, что же ты молчишь?. Ужъ не опоздалъ ли я?.. Избави Господи!.. Да отвѣчайте же мнѣ, живъ ли этотъ проѣзжій?

— Живехонекъ, батюшка, — сказалъ долгобородый.—Онъ сидитъ теперь въ кладовой отца Филиппа.

— Ну, слава тебѣ, Господи!—промолвилъ Андрей, перекрестясь. — Отлегло отъ сердца!.. Да знаете ли вы, глупые, кто этотъ проѣзжій?.. Вѣдь онъ человѣкъ не простой: онъ изъ начальныхъ людей стрѣлецкаго войска, и присланъ сюда не отъ калужскаго архіерея, а ѣдетъ изъ Москвы съ грамотою къ боярину Куродавлеву.

— Къ боярину Куродавлеву!—повторили съ робостію всѣ раскольники. Филиппъ поблѣднѣлъ.

— Да, къ боярину Куродавлеву, — продолжалъ Андрей.—Дѣло-то не шуточное. Его надо немедленно освободить.

— Освободить?—сказалъ Филиппъ.—Нѣтъ, отецъ Андрей, это легко вымолвить... Вѣдь онъ одного изъ нашихъ вовсе изувѣчилъ... полно, будетъ ли живъ.

— А чтожъ ему было дѣлать?.. Не шею же протянуть, когда на него напали!

— Да это бы ужъ такъ и быть! А вотъ что худо, батюшка: коли мы его отпустимъ, такъ намъ всѣмъ бѣды не миновать... А все этотъ озорникъ Пафнутій!.. Сидѣлъ бы да сидѣлъ на своей соснѣ—сычъ этакій!

— Да чего же ты опасаешься?

— Какъ чего?.. Ты насъ, батюшка, не выдашь. Ну, былъ грѣхъ, что дѣлать! Улики бы только не было, такъ и всѣ концы въ воду!.. А коли мы этого проѣзжаго выпустимъ, да онъ донесетъ, что мы товарища его убили...

— Вотъ то-то и дѣло, что Господь васъ помиловалъ. Вы его не убили: онъ теперь у меня въ скиту.

— Какъ такъ?—вскричалъ Филиппъ.—Какъ же ты мнѣ сказалъ, Ефремъ...

— Самъ видѣлъ, отецъ Филиппъ! — прервалъ рыжій.—Экое диво, подумаешь!.. Такъ Гаврила его только что оглушилъ?.. Ахъ, Господи!.. Ну, видно, у него лобъ-то чугунный!

— Этотъ слуга стрѣлецкаго сотника,—продолжалъ Андрей,—разсказалъ мнѣ обо всемъ. Коли вы сегодня не отпустите его господина, такъ онъ завтра отправится къ Куродавлеву; а вы знаете этого боярина: онъ шутить не любитъ. Какъ нагрянетъ къ вамъ съ своими холопами, такъ вы отъ него и мѣста не найдете.

— Сохрани Господи!—вскричалъ Филиппъ.

— Да, да!—сказалъ долгобородый. — Коли дадимъ ему отпоръ, такъ онъ и скитъ-то нашъ по бревешку размечетъ.

— А коли покоримся,—промолвилъ рыжій,—такъ, чего добраго, онъ всѣхъ начальныхъ людей въ скиту, сирѣчь насъ, отдеретъ нещадно батогами.

— Такъ мѣшкать-то нечего! — молвилъ Андрей, вставая.—Я возьму этого проѣзжаго съ собою, пусть онъ переночуетъ въ моемъ скиту... Пойдемъ, Филиппъ!

Если вамъ случалось видѣть во снѣ, что вы приговорены къ смерти, или—что еще ужаснѣе—что ваша земная подруга, которую вы любите болѣе своей жизни, лежитъ въ гробу, что вы не можете ни плакать, ни вздыхать, и съ чувствомъ, которому нѣтъ названія, съ этимъ чувствомъ вѣчной, безнадежной скорби, смотрите на ея безжизненное лицо, покрытое смертною блѣдностію... и вдругъ вы пробуждаетесь, и первый взглядъ вашъ встрѣчаетъ привѣтливую улыбку той, которая за минуту до того казалась вамъ бездушнымъ трупомъ; — если вы испытали на себѣ и весь ужасъ этого тяжкаго сна и все блаженство этого радостнаго пробужденія, то вы можете имѣть нѣкоторое понятіе о томъ, что чувствовалъ Левшинъ. Казалось, что могло быть отчаяннѣе его положенія? Ферапонтъ погибъ;

онъ самъ подъ ножомъ убійцъ, для которыхъ смерть его необходима—и вотъ вѣрный слуга его живъ, а онъ свободенъ и, можетъ-быть, проведетъ остатокъ этой ночи подъ одною кровлей съ тою, которую и въ мечтахъ своихъ онъ не надѣялся уже встрѣтить въ здѣшнемъ мірѣ!.. О, конечно, такіе быстрые переходы отъ совершеннаго отчаянія къ неизъяснимой радости бываютъ рѣдко наяву.

Когда Андрей Поморянинъ вслѣдъ за Филиппомъ вышелъ изъ избы, Левшинъ отправился также назадъ въ свою кладовую. Онъ только-что успѣлъ спуститься съ лѣстницы, какъ послышался снаружи звукъ ключей, и тяжелая дубовая дверь со скрипомъ отворилась. Филиппъ вошелъ первый; онъ держалъ въ рукѣ фонарь.

— Здравствуй, господинъ честной!—сказалъ онъ.—Я пришелъ освободить тебя. Не погнѣвайся, батюшка! теперь только узналъ... Ахъ, Господи, Господи!.. Этотъ безумный старецъ Пафнутій переполошилъ всю братію, да какихъ было дѣлъ надѣлали!.. Вотъ твой тесакъ, батюшка,—цѣлехонекъ!.. Да пожалуй-ка,—продолжалъ онъ, поставивъ свой фонарь на одинъ изъ сундуковъ,—пожалуй, я тебѣ ручки-то развяжу!.. Ахти! да чтожъ это?.. У тебя руки не связаны!

— Нѣтъ, любезный!

— Ахъ они дурачье, дурачье!.. Посадить человѣка въ кладовую...

— Не бойся!—прервалъ Левшинъ.—Всѣ твои пожитки цѣлы.

— Да твоя милость дѣло другое: вѣстимо, ты ничего не украдешь; а вѣдь они съ глупа-то, не связавши руки, посадятъ всякаго ко мнѣ въ кладовую. Ну, случись кто-нибудь другой — такъ долго ли до грѣха?.. Здѣсь всего довольно... Экій глупый народъ!

— Пожалуй со мною, молодецъ,—сказалъ Андрей,—я отвезу тебя въ мой скитъ. Твой слуга, кони и пожитки, все тамъ.

— Да не пообождать ли вамъ, какъ начнетъ свѣ-

тать?—промолвилъ Филиппъ, посматривая заботливо на свои сундуки.

— И теперь доѣдемъ,—сказалъ Андрей.—Дорогато знакомая.

Они вышли на дворъ. У крыльца большой избы стояла телѣга, запряженная парой нѣгихъ лошадей. На передкѣ сидѣлъ тотъ самый рослый дѣтина, котораго Левшинъ видѣлъ на постояломъ дворѣ.

— Ну, садись, молодецъ!—сказалъ Андрей Поморянинъ Левшину. — Поѣдемъ!.. Тебѣ, я чаю, пора отдохнуть: понатерпѣлся ты сегодня...Ступай, Егоръ,— продолжалъ онъ,—теперь шажкомъ, а какъ спустимся въ оврагъ, да переѣдемъ за Брынь, такъ рысью. Ну, съ Богомъ!

Когда они взъѣхали на противоположный берегъ оврага и повернули направо лѣсомъ по торной и довольно широкой дорогѣ, Левшинъ сказалъ своему спутнику:

— Вѣдь мы кажется, любезный, не въ первый разъ съ тобой видимся?

— Да, — отвѣчалъ Андрей; — мы сегодня кормили вмѣстѣ съ тобою на постояломъ дворѣ... Ну вотъ, господинъ сотникъ, ты все добивался, чтобъ я сказалъ тебѣ, куда ѣду. Видишь ли, что мы и сами не знаемъ, куда насъ приведетъ Господь? Думаешь ѣхать въ одно мѣсто, а попадешь въ другое.

— Истинно такъ, Андрей... А дозволь узнать, какъ по батюшкѣ?

— Зови меня просто Андреемъ. Вѣдь при крещеньитого двухъ именъ не даютъ.

— Мнѣ еще надо много благодарить тебя, — сказалъ Левшинъ, помолчавъ нѣсколько времени.—Еслибъ ты меня не выручилъ...

— Такъ ты бы просидѣлъ взаперти всю ночь — вотъ и все!

Левшинъ хотѣлъ было сказать, что слышалъ весь разговоръ раскольниковъ, но побоялся огорчить этимъ своего избавителя. Хотя Андрей осуждалъ и самъ по-

ступки своихъ единовѣрцевъ, однакожъ, по всему было замѣтно, вовсе не желалъ, чтобъ посторонніе знали, до какой степени дѣла ихъ преступны и беззаконны.

— Нѣтъ, молодецъ, — продолжалъ Андрей, — не тебѣ меня, а мнѣ тебя надо благодарить: ты помѣшалъ этому безумному Пафнутію совершить злодѣяніе, которое покрыло бы стыдомъ и посрамленіемъ все наше братство. Поди-ка послѣ увѣряй, что мы всѣ, соблюдавшіе старую вѣру, непричастны къ такому богопротивному дѣлу.

— Да я слышалъ,—сказалъ Левшинъ,—что это не въ первый разъ; говорятъ, въ прошломъ году здѣсь сожглись добровольно въ одномъ скиту...

— Не вѣрь, молодецъ! — прервалъ съ живостію Андрей. — Эти слухи распускаютъ враги наши. Оа дѣевскій скитъ дѣйствительно сгорѣлъ прошлаго года, да его не нарочно подожгли, и коли сгорѣли въ немъ старушки двѣ или три, да человѣкъ съ пятокъ хворыхъ, такъ это потому, что они не успѣли выскочить. Вотъ то-то наша и бѣда: однажды кто-нибудь напроказитъ, и пошла навсегда слава!.. Ну, кто говоритъ, въ семьѣ не безъ урода!.. Есть и у насъ отщепенцы, которые заводятъ свои толки да согласія. Мы хотимъ держаться неизмѣнно вѣры отцовъ нашихъ, а они свое выдумываютъ. Противники наши говорятъ: «Какъ, дескать, вѣрѣ вашей быть истинной вѣрою, коли у васъ повсюду раздѣленіе?»—Да когда же этого не бывало? И при апостолахъ были уже ереси; а въ первыя времена христіанскія мало ли было отступниковъ, вводящихъ всякіе нелѣпые толки; да развѣ отъ этого правая вѣра сдѣлалась неправою? Говорятъ также: «коли паства безъ пастыря—такъ овцы всѣ врозь разбредутся,—и диво ли, что тогда однѣ въ лѣсу заплутаются, а другія въ болотѣ увязнутъ?»—Паства безъ пастыря — такъ!.. Да полно, лучше ли, когда пастыремъ-то стада будетъ волкъ?.. Скажи-ка, молодецъ,— продолжалъ Андрей, замѣтивъ, что Левшинъ слушаетъ его съ большимъ вниманіемъ, — вѣдь въ вашихъ стрѣ-

лецкихъ полкахъ, кажись, много есть такихъ, которые придерживаются старой вѣры?

— Да, много.

— А ты какъ?

— Я держусь того, что заповѣдалъ мнѣ покойный батюшка.

— Сирѣчь, ты исповѣдуешь никоніанскую вѣру?

— По-вашему, видно, такъ.

— А по-твоему какъ, молодецъ?

— По-моему, я принадлежу къ православной соборной восточной церкви.

— Право?.. А дозволь спросить тебя: слуга твой мнѣ сказывалъ, что тебя зовутъ Димитріемъ Афанасьичемъ Левшинымъ?

— Да.

— А матушка твоя чья родомъ?

— Денисова.

— Не сестрица ли Андрею Яковлевичу Денисову?

— Родная сестра.

— Вотъ что!.. Такъ ты вѣрно слыхалъ отъ нея, что твой дядя, Андрей Яковлевичъ, человѣкъ умный, начитанный и не изъ простыхъ людей, а крѣпко держится старой нашей вѣры?

— Да, слыхалъ.

— Ну вотъ, еслибъ онъ сталъ тебѣ говорить: «Неужели ты думаешь, племянникъ, что я ни съ того, ни съ другого, а просто—такъ, очертя голову, пристalъ къ старообрядцамъ?—Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, повѣрь мнѣ: ваша никоніановская вѣра вовсе неправая вѣра. Желаешь ли, племянникъ, чтобъ я открылъ твои душевныя очи и наставилъ тебя на путь истинный?.. Да не бойся!.. захочу ли я зла тебѣ — сыну любимой сестры моей, одному, котораго я еще могу назвать кровнымъ и роднымъ!

Эти послѣднія слова были сказаны такимъ ласковымъ и даже нѣжнымъ голосомъ, что Левшину показалось, будто бы съ нимъ въ самомъ дѣлѣ говоритъ его дядя. Разумѣется, онъ не могъ и полминуты оста-

ваться въ этомъ заблужденіи: дядя его никогда не былъ женатъ, а у этого Андрея-Поморянина была дочь невѣста; при томъ же, по всѣмъ извѣстіямъ, Денисовъ давно уже переселился въ Стародубъ, и если еще не умеръ, то, безъ всякаго сомнѣнія, не переѣхалъ бы подъ старость на житье въ Брынскій лѣсъ.

— Ну, что же ты молчишь, Дмитрій Афанасьичъ?— продолжалъ Андрей. — Скажи, что бы ты отвѣтилъ своему дядѣ?

— Что объ этомъ толковать, любезный! — сказалъ Левшинъ. — Ты вѣрь по-своему, а я стану вѣрить, какъ мнѣ указано отъ отца и матери.

— Да ты самъ-то какъ думаешь?

— Ну, если хочешь знать, изволь—скажу!.. Вотъ, что бы я отвѣтилъ Андрею Яковлевичу: Дядюшка! не за свое дѣло ты берешься! У насъ есть наставники и пастыри духовные, которые имѣютъ на себѣ рукоположеніе, идущее отъ самихъ апостоловъ; а тебя кто рукоположилъ въ наставники и пастыри духовнаго стада?.. Вѣдь ты такой же мірянинъ, какъ и я. Да изъ чего ты хлопочешь?.. Ты, дядюшка, читаешь: «Вѣрую во единаго Бога Отца Вседержителя», по-старому, — и я также по старому; такъ мы оба исповѣдуемъ съ тобою одинаковую святую вѣру. А если въ какихъ-нибудь обрядахъ или въ другомъ-чемъ неважномъ и сдѣланы измѣненія, такъ неужели изъ этого я перестану ходить въ церковь Божію и лишу себя святого причастія?.. Избави, Господи!..

— Да ты этого не понимаешь, Дмитрій Афанасьичъ, — прервалъ Андрей. — Вѣдь грѣхъ-то не на тебѣ, а на тѣхъ, которые заставили тебя отдѣлиться отъ церкви; на тѣхъ, которые исказили книги духовныя.

— А можетъ статься не исказили, а исправили?.. Эхъ, любезный, про то лучше насъ съ тобою знаютъ тѣ, которыхъ для сего освѣтила и помазала сама церковь.

— Лучше знаютъ!—повторилъ съ досадою Андрей.— *Да коли* ваши пастыри духовные въ этомъ неправы?

— Такъ они и въ отвѣтѣ. А если я самъ начну мудрить, да собьюсь съ толку и сдѣлаюсь еретикомъ— такъ чѣмъ же я тогда оправдаюсь?.. — «Нѣтъ, дядюшка!» — сказалъ бы я — «о чемъ другомъ, а объ этомъ я съ тобой и говорить-то не хочу».

— Да врядъ ли бы и онъ сталъ послѣ этого говорить съ тобою,—промолвилъ вполголоса Андрей.

Разговоръ прекратился. Левшину не трудно было замѣтить, что его спутникъ былъ очень недоволенъ своей неудачной попыткою; онъ сидѣлъ, отворотясь отъ Левшина, и, казалось, вовсе не былъ расположенъ возобновить свою бесѣду. Съ полчаса продолжалось это молчаніе, наконецъ, Левшинъ рѣшился заговорить опять съ угрюмымъ своимъ товарищемъ, и спросилъ, далеко ли еще осталось до его скита.

— Не знаю!—промолвилъ нехотя Андрей. — Вѣдь здѣсь версты-то не мѣрныя.

— А что, любезный,—продолжалъ Левшинъ,—ты говорилъ о моемъ дядѣ Андреѣ Яковлевичѣ; — что ты знавалъ что ль его.

— Нѣтъ!.. Слыхать о немъ слыхалъ, а никогда не видывалъ.

— Не знаешь ли, гдѣ онъ живетъ?

— Напрежь сего жилъ въ Стародубѣ.

— А теперь гдѣ?..

— Теперь?.. Да Богъ вѣсть!.. Можетъ статься, на томъ свѣтѣ; говорятъ, что онъ померъ.

— А вѣрныхъ извѣстій объ этомъ нѣтъ?

— Не знаю. Я на похоронахъ у него не былъ.

— Ну не ты, такъ кто ни есть изъ вашихъ.

— Да что тебѣ за дѣло, живъ ли онъ или умеръ. Тебѣ, чай, покойный батюшка заказалъ съ нимъ и знаться?

— Нѣтъ, батюшка никогда мнѣ этого не заказывалъ.

— А матушка?

— А матушка и подавно. Кабы ты зналъ, какъ она горевала о томъ, что родной братъ, который прежде жилъ съ нею душа въ душу, вовсе забылъ ее, покинулъ!..

— Неужели въ самомъ дѣлѣ горевала?..—прошепталъ Андрей.—Такъ она помнила своего брата?

— Какъ же!.. Матушка бывало всегда говорила о немъ со слезами.

— Со слезами!.. Чтожъ она, о чемъ плакала?

— Я ужъ тебѣ сказалъ о чемъ.

— Да полно, о томъ ли?.. Чай, думала: «какъ мнѣ не плакать! я, благодаря Господа, православная, а бѣдный братъ мой раскольникъ! я ужъ навѣрное спасусь, а онъ что?.. чорту баранъ!»

— Нѣтъ, Андрей, этого она никогда не говорила.

— Видно, не случалось... Да что объ этомъ!.. Ну, погоняй, Егоръ: теперь дорога-то пойдетъ все ровная.

Разговоръ снова прекратился. Вотъ прошло еще съ полчаса. Густой лѣсъ, по которому ѣхали наши путешественники, становился все чаще и темнѣе. Вдругъ послышался вблизи громкій лай.

— Ну, вотъ и пріѣхали!—промолвилъ Андрей.

— Пріѣхали! — повторилъ Левшинъ. — Да гдѣ же твоя усадьба?

— Вотъ прямо-то, за этимъ березнякомъ.

— Я ничего не вижу.

— Какъ ближе подъѣдешь, такъ увидишь.

Дорожка повернула направо, и черезъ нѣсколько минутъ они подъѣхали къ воротамъ обширной усадьбы, которая была со всѣхъ сторонъ окружена крупнымъ березовымъ лѣсомъ. Эта усадьба была обнесена также, какъ и скитъ Филипповцевъ, бревенчатымъ тыномъ. Сторожъ растворилъ широкія дубовыя ворота, и Левшинъ, при свѣтѣ утренней зари, которая начинала уже заниматься, увидѣлъ передъ собою просторный дворъ, обставленный съ двухъ сторонъ высокими избами. Посреди двора подымались, по-тогдашнему, довольно обширныя хоромы; къ нимъ съ правой стороны пристроена была вышка, или теремъ, съ тремя красными окнами, а съ лѣвой огромное крыльцо съ рундукомъ и широкимъ досчатымъ навѣсомъ.

Когда Левшинъ, подъѣхавъ къ этимъ хоромамъ,

спрыгнулъ съ телѣги, къ нему подбѣжалъ человѣкъ, у котораго голова была обвязана бѣлымъ платкомъ.

— Батюшка! — вскричалъ онъ! — Ты живъ!.. Ну, слава тебѣ Господи!

— Здравствуй, Ферапонтъ! —сказалъ Левшинъ, обнимая своего вѣрнаго слугу. — Ну что, бѣдняжка, тебя больно зашибли?

— Ничего, батюшка!.. Мнѣ здѣсь примочили винцомъ, такъ теперь какъ рукой сняло. Правда, шишка порядочная, съ кулакъ будетъ—да это что!.. до свадьбы заживетъ.

— Ну, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Андрей,— намъ обоимъ пора отдохнуть. Твой служитель покажетъ тебѣ свѣтлицу, которая для тебя приготовлена... Да не хочешь ли покушать?

— Нѣтъ, благодарю покорно!

— Да ты не опасайся, Дмитрій Афанасьичъ,—продолжалъ Андрей. — Вѣдь у нашей братьи, раскольниковъ, всегда есть про васъ, господа православные, особая посуда; небойсь—не осквернишься.

— Я этого не боюсь, любезный! — сказалъ Левшинъ,—и готовъ ѣсть съ тобой одной ложкою и пить изъ одного стакана; да я вовсе не голоденъ.

— Ну, воля твоя! Насильно угощать не стану... Прощай, молодецъ! — промолвилъ Андрей, уходя въ домъ.—Коли ѣсть не хочешь, такъ ступай, отдохни!.. Ты, чай, умаялся.

— Пойдемъ, Дмитрій Афанасьичъ,—сказалъ Ферапонтъ. — Намъ отвели ночлегъ вотъ здѣсь, въ этой клѣти. Знатная свѣтлица!.. Теперь въ покояхъ-то, чай, жарко, а въ ней такой прохладъ, что и сказать нельзя!.. Пожалуй, батюшка, пожалуй!

III.

Левшинъ, вслѣдъ за своимъ слугою, вошелъ въ небольшую избушку, въ которой не было ни печи, ни полатей; въ ней горѣлъ ночникъ, и стояла кровать съ

затрапезнымъ пологомъ. Въ одномъ углу лежали ихъ пожитки, оружіе и вся конская сбруя; въ другомъ— на широкой скамьѣ былъ постланъ войлокъ для Ферапонта.

— Ложись-ка, батюшка, скорѣй, — сказалъ Ферапонтъ, — да сосни хоть немножко. Вишь, какой выдался денекъ! И мнѣ и тебѣ ломки-то было... Господи Боже мой!

— Мнѣ вовсе спать не хочется, — отвѣчалъ Левшинъ:—а вотъ развѣ прилягу только да отдохну.

— Ну, нѣтъ! — промолвилъ Ферапонтъ, зѣвая,— меня такъ больно сонъ клонитъ.

— Такъ чего же ты дожидаешься? Ложись да спи.

— Успѣю выспаться, Дмитрій Афанасьичъ; а благо ты почивать не хочешь, такъ разскажи-ка мнѣ лучше, что съ тобою было?

Левшинъ скинулъ съ себя верхнее платье, прилегъ самъ на кровать, а Ферапонту велѣлъ сѣсть на скамью и сталъ ему разсказывать о томъ, что извѣстно уже нашимъ читателямъ. Несмотря на то, что Ферапонта сильно одолѣвала дремота, онъ слушалъ съ большимъ вниманіемъ своего барина.

— Такъ они хотѣли уходить тебя?—вскричалъ онъ, когда Левшинъ кончилъ свой разсказъ. — Ахъ, они проклятые!.. Ну, дай Богъ здоровья здѣшнему хозяину!.. Кабы онъ тебя не выручилъ, такъ бѣды бы не миновать!

— А ты какъ сюда попалъ, Ферапонтъ?—спросилъ Левшинъ.

— А вотъ какъ, батюшка: меня эти разбойники оставили замертво на полянѣ, и если бы Дарья—вотъ дѣвка-то, что была съ другими запощеванцами, — не попрыскала меня водицею, такъ я не скоро бы очнулся, а можетъ статься меня и волки бы заѣли. Вотъ какъ я очнулся и узналъ, что эти душегубцы увели тебя съ собою, такъ хотѣлъ было бѣжать въ ихъ скитъ, да Дарья-то меня отговорила.—«Ты, дескать, одинъ ничего не сдѣлаешь; поѣдемъ лучше къ прежнему моему

хозяину: онъ ужъ навѣрное выручитъ твоего барина». Вотъ мы и поѣхали. Этотъ Андрей принялъ насъ сначала не больно ласково, да какъ я разсказалъ ему за что мы поссорились съ Филипповцами, и какъ они меня чуть не убили, а барина моего, стрѣлецкаго сотника Дмитрія Афанасьевича Левшина, захватили живьемъ— такъ онъ—батюшки свѣты!.. заторопился такъ, что и Господи! Кричитъ: «запрягай лошадей!.. проворнѣй!.. живо!..» Меня сдалъ на руки Дарьѣ, а самъ въ телѣгу, да и покатилъ со двора. Дарья накормила меня, примочила голову виномъ, поразболталась со мною, да такія стала рѣчи говорить, что я ротъ разинулъ. «Я, дескать, твоего барина-то знаю!» «Какъ такъ?» «Ну да! я видѣла его въ Москвѣ; и дочка-то моего хозяина его знаетъ. — Онъ, дескать, ей очень приглянулся!» «Какъ не приглянуться!—сказалъ я:—вѣдь баринъ-то мой молодецъ!» «А она-то пришла ли ему по сердцу?»— спросила Дарья. — Виноватъ, батюшка! стыдно было вымолвить, что я ничего не знаю.—«Какъ же!—сказалъ я,—и очень-на пришла по сердцу. Вѣдь она пригожа собою?» «У! батюшки! — закричала Дарья, — что твое красное солнышко!.. Вотъ, Ферапонтъ, кабы твой баринъ... Вѣдь онъ не женатъ?» «Нѣтъ, молъ, не женатъ». «То-то бы парочка!» — Вишь, съ чѣмъ подъѣхала!—подумалъ я.—«Нѣтъ, лебедка! баринъ-то мой не вашего поля ягода!.. Коли онъ задумаетъ жениться, такъ не пойдетъ искать невѣсты въ раскольничьемъ скиту!.. Такого молодца и богатаго помѣщика не токмо гдѣ-нибудь на городу, да и въ самой-то Москвѣ бѣлокаменной съ руками оторвутъ!»

— Нѣтъ, Ферапонтъ,—прервалъ Левшинъ,—ты напрасно это думаешь. Я точно люблю дочь здѣшняго хозяина, и если не женюсь на ней, такъ навсегда останусь холостымъ.

— Вотъ тебѣ разъ!—прошепталъ Ферапонтъ.—Ахъ, батюшки! думалъ солгать, а сказалъ правду!.. Такъ она въ самомъ дѣлѣ, Дмитрій Афанасьичъ, пришла тебѣ по сердцу?

— Да такъ-то пришла, Ферапонтъ, что безъ нея и жизнь не красна, и молодость не въ утѣху, и богатство хуже нищеты!

— Ну, это иная рѣчь!.. Коли она тебѣ люба, такъ дѣлать нечего,—женись, батюшка!

— Ахъ, Ферапонтъ, я боюсь: согласится ли ея отецъ...

— Что ты, Дмитрій Афанасьичъ!—вскричалъ Ферапонтъ съ такимъ негодованіемъ, что, казалось, на эту минуту сонъ его прошелъ.—Да въ своемъ ли ты умѣ?.. Чтобъ этотъ балахонникъ, у котораго и прозвища-то нѣтъ, обраковалъ тебя, родословнаго человѣка, такого молодца и красавца!.. Да смѣетъ ли онъ это и подумать?

— Ты, видно, забылъ, что онъ старообрядецъ?

— Такъ чтожъ?.. А мы-то, православные, татары что ль или нѣмцы какіе?.. Кажись, мы въ одного съ ними Христа вѣруемъ!.. Нѣтъ, батюшка, за этимъ дѣло не станетъ. Да вотъ, примѣромъ сказать, хоть Дарья,—продолжалъ Ферапонтъ, зѣвая,—вѣдь она старообрядка, а знаешь ли, что она мнѣ говорила? — «Я, дескать, Ферапонтъ, что гляжу на тебя, то больше дивлюсь. Какъ я гадала въ прошломъ году на святкахъ, такъ видѣла во снѣ вовсе не Архипку рыжаго, а тебя — точно тебя!.. Видно, ты мой суженый...»—Вотъ оно, батюшка, и выходитъ... коли она... сирѣчь, Дарья...

— А что, Ферапонтъ,—сказалъ Левшинъ, не замѣчая, что слуга его заснулъ,—взялъ ли бы ты за себя Дарью?.. Ферапонтъ!..

— Фу ты пропасть!.. вздремнулъ!.. Что, батюшка Дмитрій Афанасьичъ?

— Женился ли бы ты на Дарьѣ?

— На Дарьѣ!.. А почему же нѣтъ?—пробормоталъ Ферапонтъ, покачиваясь на своей скамьѣ.—Дѣвка знатная... дородная... Ухъ, батюшки!.. какъ на зарѣ-то маритъ человѣка!.. такъ глаза и слипаются!.. Оно, конечно, Дмитрій Афанасьичъ... почему бы... я ужъ въ лѣтахъ... и Дарья... не то чтобы... однакожъ все-*таки... и тово...*

Ферапонтъ прошепталъ еще слова два или три, голова его помоталась нѣсколько времени то направо, то налѣво, потомъ опустилась на грудь, и онъ заснулъ этимъ богатырскимъ сномъ, о которомъ такъ часто говорятъ въ русскихъ сказкахъ, то-есть, по словамъ нашихъ древнихъ разсказчиковъ, которые любили красное словцо отпустить: «захрапѣлъ такъ, что сыръ-боръ застоналъ, и кругомъ вся земля ходуномъ пошла».

Несмотря на соблазнительный примѣръ своего слуги, Левшинъ не могъ заснуть. Тысячи различныхъ мыслей и радостныхъ и грустныхъ волновали его душу. За нѣсколько часовъ до этого онъ не могъ даже надѣяться, что останется живъ, а и того менѣе, что можетъ быть мужемъ той, которая пришла ему по сердцу. Онъ любилъ и зналъ, что его любили... Но кто она, эта краса-дѣвица, которая съ перваго взгляда сдѣлалась для него милѣе всего на свѣтѣ?.. гдѣ живетъ?.. какъ зовутъ ея отца?.. Все это было для него загадкою. Левшинъ, конечно, не могъ ожидать, что случай сведетъ ихъ опять вмѣстѣ, и если не переставалъ думать о своей незнакомкѣ, если мечталъ иногда о какомъ-то несбыточномъ счастіи, такъ это потому, что ему все-таки отраднѣе было обманывать себя этой утѣшительной мечтою, чѣмъ вовсе отъ нея отказаться,—и чтожъ?.. Вотъ Левшинъ не только знаетъ теперь, кто эта незнакомка, но можетъ сказать отцу ея: «Я люблю твою дочь, она также меня любитъ, и коли ты не хочешь сгубить навѣки и ее и меня, такъ благослови насъ...»— Боже мой!—думалъ Левшинъ,—неужли въ самомъ дѣлѣ Софья можетъ быть моею женою?.. О! мнѣ кажется, я не переживу этой радости!.. Но если Андрей не захочетъ назвать меня сыномъ... если онъ... избави Господи!.. вотъ тогда-то я буду несчастливъ!.. Ты встрѣтился опять съ тою, которая была уже для тебя какъ умершая... вотъ она!.. жива, любитъ тебя, можетъ быть твоей женою... Ну, чтожъ?.. Полюбуйся на нее, посмотри, какъ она прекрасна — и простись съ нею навсегда!.. Навсегда!.. Отъ этой ужасной мысли

сердце леденѣло въ груди бѣднаго Левшина; онъ приходилъ въ отчаяніе, а потомъ опять надежда оживала понемногу въ душѣ его.—Нѣтъ!—думалъ онъ,—Андрей вовсе не походитъ на этого безумнаго Пафнутія... Ферапонтъ правду говорилъ: онъ старообрядецъ — такъ чтожъ?.. А я-то развѣ татаринъ или нѣмецъ?.. Онъ молится по старымъ, а я по новымъ книгамъ, а все-таки мы оба молимся тому же Христу... Но онъ такъ крѣпко стоитъ за свою старую вѣру... Почему знать, можетъ-быть, я въ глазахъ его хуже некрещенаго... О, Боже мой, Боже мой!—шепталъ Левшинъ, чувствуя, что кровь снова застываетъ въ его жилахъ.—Скоро ли придетъ утро?.. Ужъ одинъ бы конецъ!

Левшинъ успѣлъ нѣсколько разъ повторить это желаніе прежде, чѣмъ оно исполнилось. Когда первый солнечный лучъ, прорвавшись сквозь густыя березы, заискрился на тускломъ стеклѣ единственнаго окна свѣтлицы, Левшинъ вскочилъ съ постели и накинулъ на себя верхнее платье; въ эту самую минуту постучались въ дверь.

— Кто тутъ?—спросилъ Левшинъ.

— Я, батюшка, Дарья. Можно войти?

— Ступай.

— Не прогнѣвайся, господинъ честной! — сказала Дарья, входя въ свѣтлицу. Я, можетъ статься, помѣшала тебѣ почивать?

— Нѣтъ, голубушка; ты видишь, я ужъ одѣтъ.

— Вижу, батюшка!.. А твой слуга, кажись, вовсе не ложился... Ахъ, сердечный: спитъ сидя!..

— Не тронь его, пусть себѣ спитъ.

— Я, батюшка, покамѣстъ у насъ никто еще не вставалъ, хотѣла съ тобой повидаться и еще разочекъ поблагодарствовать тебя за твою великую милость. Кабы не ты, Дмитрій Афанасьичъ, умирать бы мнѣ голодной смертью!..

— Что объ этомъ говорить, Дарья. И мнѣ бы также худо пришло, еслибъ ты не проводила Ферапонта къ твоему хозяину. Скажи-ка лучше мнѣ...—промолвилъ, *запинаясь*, Левшинъ.

— Что, батюшка?.. Знаетъ ли Софья Андреевна, что ты здѣсь?.. Какъ же!.. Ну, Дмитрій Афанасьичъ... хотя бы мнѣ вовсе не слѣдъ объ этомъ говорить, да ужъ такъ и быть — скажу!.. Заполонилъ ты ее совсѣмъ!.. Вотъ, подумаешь, что на роду-то написано, такъ того никакъ не минуешь. И то ужъ диво, что вы другъ съ другомъ въ Москвѣ повстрѣчались, а теперь опять сошлись въ Брынскихъ лѣсахъ!.. Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ, кабы ты зналъ, какъ она обрадовалась!.. Всю ночь на пролетъ не почивала: и плачетъ, и смѣется, и Богу молится!.. Теперь пошла на огородъ поливать свои любимые цвѣточки... Да не хочешь ли ты, батюшка, туда прогуляться?.. А есть чего посмотрѣть: огородъ у насъ такой знатный!.. Сколько яблонь, вишень!.. Коли хочешь, я тебя провожу...

Левшинъ не могъ отвѣчать ни слова: вся кровь прилила къ его сердцу. Мысль, что черезъ минуту онъ увидитъ Софью и станетъ говорить съ нею, возбудила въ душѣ его такую радость, такой восторгъ — и въ тоже время такой болѣзненный, неизъяснимый трепетъ, такое чувство боязни, что онъ не зналъ, на что рѣшиться, и въ первую минуту почти готовъ былъ отказаться отъ этого счастія. Кто истинно любилъ, тотъ пойметъ это чувство и, вѣроятно, не станетъ смѣяться надъ Левшинымъ и дивиться, какъ дивилась Дарья, которая не могла понять, чего онъ дожидается.

— Ну, чтожъ, молодецъ?—сказала она.—Иль ты не хочешь полюбоваться нашимъ огородомъ?.. Вѣдь какъ всѣ подымутся,—промолвила Дарья вполголоса,—такъ Софья-то Андреевна уйдетъ опять въ свой теремъ.

— Ну, пожалуй,—прошепталъ наконецъ Левшинъ, съ трудомъ переводя дыханіе.—Пойдемъ!..

— Пожалуй!—повторяла про себя Дарья, идя дворомъ и поглядывая на Левшина, который шелъ вслѣдъ за нею. — Пожалуй!.. Чтожъ это?.. Ужъ полно, любитъ ли онъ ея?.. Смотри, какъ нехотя идетъ!.. Словно его насильно тащутъ... Ну, если и онъ такъ же, какъ Архипка рыжій, скажетъ: «Я твой суженый, да не

ряженый!..» Чего добраго!.. Можетъ статься, и этотъ пострѣлъ помолвленъ на какой-нибудь Дуняшкѣ!..

Левшинъ и его проводница дошли, не встрѣтивъ никого, до высокаго частокола, которымъ отдѣлялся отъ двора и всѣхъ строеній обширный плодовитый садъ, или, по-тогдашнему, огородъ.

— Пожалуй сюда, Дмитрій Афанасьичъ, — сказала Дарья, отворяя калитку.—Вотъ тутъ, за этимъ вишнякомъ, растутъ у насъ подсолнечники, да еще какіе, батюшка: выше тебя ростомъ. Бывало я ухаживала за ними вмѣстѣ съ Софьей Андреевной; а съ той поры, какъ батюшка ея вывезъ изъ Москвы два кустика махровыхъ розановъ, такъ она на подсолнечники и смотрѣть не хочетъ... Сюда, батюшка, сюда, по этой тропинкѣ... Ну, вотъ и Софья Андреевна...

Я не берусь описать вамъ то, что почувствовалъ Левшинъ, когда увидѣлъ передъ собою Софью. Она стояла, наклонясь надъ кустомъ розановъ; одна рука ея была плотно прижата къ сердцу, другой она обрывала съ куста сухіе листья. Длинныя черныя рѣсницы ея опущенныхъ глазъ рѣзко выдѣлялись отъ помертвѣвшаго лица, блѣднаго какъ бѣлый мраморъ, но все еще прекраснаго и исполненнаго необычайной прелести. Несмотря на ея положеніе, нетрудно было отгадать, что въ эту минуту она вовсе не думала о розанахъ, на которые смотрѣла. Рука ея дрожала, высокая бѣлоснѣжная грудь сильно волновалась. Она не подымала глазъ: ея дѣвственный, стыдливый взглядъ не повстрѣчался еще съ пламеннымъ взоромъ влюбленнаго юноши, но сердце въ ней чувствовало близость того, чей милый образъ не покидалъ ее ни днемъ, ни ночью, кто былъ единственнымъ предметомъ всѣхъ тайныхъ думъ ея, надеждъ и робкихъ ожиданій.

— Софья Андреевна!—сказала Дарья.—Ты хотѣла сама поблагодарить за меня Дмитрія Афанасьича... Ну, вотъ онъ!

Блѣдное лицо красавицы вспыхнуло; она приподнялась, *хотѣла* что-то сказать, но слова замерли на

устахъ ея. Левшинъ также не могъ вымолвить ни слова. И до рѣчей ли тому, кто чувствуетъ себя вполнѣ счастливымъ; а въ эту минуту Левшинъ былъ совершенно счастливъ. Жадные взоры его насыщались наконецъ давно желаннымъ благомъ; въ нихъ переселилась вся душа его: онъ смотрѣлъ съ восторгомъ на Софью и молча наслаждался этимъ неожиданнымъ блаженствомъ.

— Ну, чтожъ ты, матушка Софья Андреевна, — сказала Дарья,—промолви хоть словечко!

Вотъ розовыя губки стыдливой красавицы зашевелились, и она прошептала едва слышнымъ голосомъ:

— Дай Богъ тебѣ здоровья, Дмитрій Афанасьичъ!.. Коли Дарья смотритъ теперь на свѣтъ Божій, такъ это по твоей милости...

— А я-то, Софья Андреевна, — прервалъ Левшинъ,—развѣ не по ея милости вижу тебя и разговариваю съ тобою?

— Вотъ это дѣло на-стать! — молвила про себя Дарья;—а то сошлись, да ни словечка!.. Ну, чтожъ вы стоите? — продолжала она. — Присядьте на этой скамеечкѣ рядкомъ, да поговорите ладкомъ, а я межъ тѣмъ цвѣточки полью.

Левшинъ и Софья сѣли на скамью, которая стояла посреди небольшой куртины мелкихъ вишневыхъ деревьевъ.

— Я слышала отъ Дарьи,—сказала Софья, — что тебя чуть не убили, Дмитрій Афанасьичъ...

— Небольшая бѣда, еслибъ меня и убили,—промолвилъ съ грустію Левшинъ.—Вѣдь я сирота: обо мнѣ пожалѣть некому.

— Некому!—повторила съ живостію Софья. — Некому!.. И ты можешь это думать?

Эти слова были сказаны такимъ нѣжнымъ голосомъ, что Левшинъ совершенно обезумѣлъ отъ радости.

— Такъ ты стала бы жалѣть обо мнѣ?—спросилъ онъ робкимъ голосомъ.—Такъ ты любишь меня?

Вмѣсто отвѣта, Софья потупила опять свои ясныя очи и закраснѣлась какъ маковъ цвѣтъ.

— О! скажи мнѣ, Софья! — шепталъ Левшинъ; — скажи, что ты меня любишь!

— Да развѣ ты этого не видишь? — промолвила Софья.—И зачѣмъ мнѣ таиться?.. Можетъ-быть, мы никогда уже не встрѣтимся другъ съ другомъ, и я въ разлукѣ съ тобой зачахну съ горя — такъ все-таки сердцу будетъ польготнѣе, когда, умирая, подумаю: «онъ знаетъ, какъ я люблю его!».. Да, Дмитрій Афанасьичъ! — продолжала она, устремивъ на Левшина взоръ, исполненный неизъяснимой любви.—Да! я люблю тебя болѣе всего на свѣтѣ — ты милѣе для меня отца и матери...

— А я, Софья,—прервалъ Левшинъ, — я не найду и рѣчей, чтобъ высказать тебѣ все, что у меня на сердцѣ. Кабы ты знала, какъ я тосковалъ о тебѣ!.. Весь Божій міръ мнѣ опостылѣлъ; для другихъ было и ведро красное и свѣтлые лѣтніе денечки, а для меня все непогодица и осень темная!.. Мнѣ казалось, что и солнышко меня не грѣетъ, что и свѣтитъ-то оно не для меня!.. Только и бывало радости, какъ увижу тебя во снѣ, моя ненаглядная!.. Да и тутъ бѣда: во снѣ-то я радуюсь, а какъ проснусь, такъ мнѣ пуще Божій свѣтъ не взмилится; вотъ такъ бы и легъ живой въ могилу!.. И могъ ли я думать, что увижусь съ тобою здѣсь?.. О, повѣрь мнѣ: самъ Господь Богъ благословляетъ любовь нашу!.. Не будь вчера грозы, не заплутайся я въ лѣсу, не поссорься съ филипповцами, и мнѣ бы вѣкъ не узнать, что ты живешь въ этихъ Брынскихъ лѣсахъ,—такъ какъ же не самъ Господь привелъ меня опять увидѣться съ тобою.

— Да на долго ли мы свидѣлись? — промолвила Софья.—Ахъ, чуетъ мое сердце: скоро мы опять разстанемся и, можетъ статься, эта разлука будетъ уже вѣчной разлукою!

— Вѣчной разлукою? — вскричалъ Левшинъ. — О, *нѣтъ, Софья,* теперь ужъ я не разстанусь съ тобою!..

Да не плачь, мой милый другъ!.. Богъ милостивъ!.. Я богатъ, у меня нѣтъ ни отца, ни матери, мнѣ не у кого спрашиваться... Я откроюсь во всемъ твоему батюшкѣ, скажу ему, что ты меня любишь...

— Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ; не знаешь ты его!.. Коли ты не придешь ему по нраву, не посмотритъ онъ на мои слезы!..

— Да развѣ онъ тебя не любитъ?

— Говорятъ, что любитъ, да, видно, по-своему. Онъ ничего для меня не жалѣетъ, у меня всего довольно, да зато, коли онъ чего не захочетъ, такъ Боже сохрани сказать ему словечко вопреки. Ты сирота, Дмитрій Афанасьичъ, да вѣдь и я также сирота. Батюшка такъ рѣдко бываетъ со мною ласковъ; порадуетъ иногда, приголубитъ... да какъ-будто бы самъ этого испугается; ну, словно я ему вовсе чужая. А покойную матушку я даже и не помню. Хотѣлось бы иногда поговорить о ней съ батюшкой, да не смѣю: онъ этого не любитъ. Ахъ, Дмитрій Афанасьичъ, кабы ты зналъ, что подчасъ приходитъ мнѣ въ голову!.. Страшно вымолвить!..

— А что такое, Софья?..

— Мнѣ кажется иногда...

— Ну, молодецъ! — раздался въ кустахъ рѣзкій голосъ,—видно, ты всталъ вмѣстѣ съ солнышкомъ!

Левшинъ и Софья вскочили: позади ихъ стоялъ Андрей.

— Не больно же ты умаялся, Дмитрій Афанасьичъ,—продолжалъ Андрей.—Вотъ твой слуга, такъ его насилу добудились... Да и ты что-то, Софья, поднялась сегодня ни свѣтъ, ни заря.

— Я, батюшка, пришла сюда...—промолвила Софья.

— Добро, добро!—прервалъ Андрей;—нечего отвѣчать, коли тебя не спрашиваютъ!.. Утренняя роса вредна для дѣвушекъ. Ступай-ка, голубушка, въ свою свѣтлицу. А тебѣ, молодецъ,—промолвилъ онъ, провожая глазами уходящую Софью,—пора въ дорогу; кони ваши осѣдланы... съ Богомъ!..

— Позволь мнѣ прежде,—сказалъ Левшинъ, — переговорить съ тобой.

— Со мной!.. О чемъ?.. Ужъ не о томъ ли, что ты зашелъ ко мнѣ въ огородъ нечаянно; что вовсе не думалъ и не гадалъ повстрѣчаться здѣсь съ молодою дѣвушкою?..

— Нѣтъ, Андрей, я пришелъ сюда нарочно.

— Нарочно?..

— Я хотѣлъ повидаться съ твоею дочерью.

— Вотъ что!.. Спасибо, молодецъ!..

— Выслушай меня: я люблю Софью Андреевну...

— Что, что?.. Ты любишь Софью?.. Да чтожъ ты прежде-то во снѣ что ль ее видѣлъ?..

— Я видѣлъ ее въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ?.. Что ты, молодецъ!.. Да въ Москвѣ-то она и на крылечко никогда не выходила.

— Я жилъ вмѣстѣ съ вами на Мещовскомъ подворьѣ, въ небольшомъ покойчикѣ, рядомъ...

— Съ свѣтлицей моей дочери? — прервалъ съ живостію Андрей. — И хозяйка пустила тебя?.. Проклятая старуха!.. Ужъ я ли ей не заказывалъ...

— Не гнѣвайся, Андрей!.. Мнѣ въ Москвѣ не удалось даже и поговорить съ Софьей Андреевной; но теперь, когда я знаю, что она меня любитъ...

— А ты ужъ успѣлъ это узнать?.. Ну, молодецъ, проворенъ ты!

— Ахъ, Андрей!—сказалъ Левшинъ, — будь милостивъ!.. Не погуби навѣки и меня, горемычнаго сироту, и твоей родной дочери!.. Благослови насъ...

Андрей не отвѣчалъ ни слова, но только угрюмые взоры его сдѣлались еще мрачнѣе.

— Я самъ себѣ господинъ, — продолжалъ Левшинъ:—у меня хорошее помѣстье; ты знаешь, что я человѣкъ родовой и служу сотникомъ въ стрѣлецкомъ войскѣ...

Андрей взглянулъ съ такой презрительной и насмѣшливой улыбкою на Левшина, что онъ совершенно

смутился и не могъ продолжать начатой рѣчи. Съ полминуты продолжалось молчаніе.

— Ну, чтожъ, Дмитрій Афанасьичъ,—молвилъ наконецъ Андрей, — ты родовой человѣкъ, стрѣлецкій сотникъ, богатый помѣщикъ... Нѣтъ ли еще чего-нибудь?.. Ужъ ты разомъ все высказывай, а тамъ я повалюсь тебѣ въ ноги и завоплю: Батюшка! чѣмъ заслужилъ я такую милость, что ты, знатный господинъ, желаешь породниться со мною, недостойнымъ раскольникомъ и безымяннымъ человѣкомъ?.. Да стоитъ ли моя Сонька того, чтобъ ты изволилъ ее назвать своей супругою?.. Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, велика честь, а принять ея не смѣю. Гдѣ намъ, простымъ людямъ, нарохтиться въ такое знаменитое родство!

— Да я не ради хвастовства говорилъ объ этомъ,— прервалъ Левшинъ,—а для того, чтобъ ты зналъ, что дочь твоя будетъ жить во всякомъ довольствѣ.

— Такъ, Дмитрій Афанасьичъ, такъ!.. А вѣдь она-то у меня, сердечная, живетъ въ нуждѣ.

— Я не говорю этого.

— Конечно, ты бы и меня тогда пристроилъ къ мѣстечку: на первыхъ порахъ взялъ бы къ себѣ въ приказчики, а тамъ, глядишь, я и въ дядьки бы попалъ къ своимъ внучатамъ.

— Ты напрасно это говоришь, Андрей!.. Я сталъ бы тебя любить и почитать какъ отца родного.

— И, что ты, господинъ честной!.. Ну, пригоже ли простому балахонщику называть сыномъ родового человѣка и такого знаменитаго сановника!

— О, ради Бога! — вскричалъ Левшинъ, почти съ отчаяніемъ,—коли ты не хочешь выдать за меня твоей дочери, такъ не глумись надо мной, а скажи прямо!

— Ты желаешь этого?.. Такъ слушай, Дмитрій Афанасьичъ!.. Если бы ты былъ изъ нашихъ, то и тогда я не ударилъ бы съ тобою по рукамъ, не узнавъ тебя хорошенько. И какъ въ голову тебѣ пришло, что я отдамъ мою дочь за перваго проѣзжаго молодца?..

Богатствомъ ты меня не удивишь, а чиномъ своимъ и подавно; да это все ничего!.. Будь ты въ самомъ дѣлѣ знаменитымъ сановникомъ, воеводою, думнымъ боярином,—чѣмъ хочешь, а все-таки моей дочери не бывать за тобою... Я воспиталъ ее въ правой вѣрѣ, такъ отдамъ ли въ руки никоніанца, который совратитъ ее истиннаго пути и погубитъ навѣки ея душу.

— Да развѣ, Андрей, я не такой же христіанинъ какъ ты?

— И нѣмцы говорятъ то-же. Спроси у любого лотаря, какой онъ вѣры, такъ и тотъ отвѣтитъ, что онъ христіанинъ... Да что толковать объ этомъ!.. Вотъ тебѣ мой отвѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ: еслибъ мнѣ сказали, что дочь моя умретъ сегодня же, коли я не выдамъ ее за того, кто исповѣдуетъ никоніанскую вѣру, такъ я бы пошелъ и самъ сколотилъ ей гробъ. Прощай, молодецъ.

Хотя Левшинъ и долженъ былъ ожидать этого рѣшенія, но оно поразило его какъ внезапный громовой ударъ. Какъ бы не былъ увѣренъ подсудимый, что для него нѣтъ никакой пощады, но онъ все еще чего-то надѣется и, его, конечно, не столько поразитъ прощеніе, котораго онъ не могъ ожидать, чѣмъ строгій приговоръ, къ которому онъ былъ уже приготовленъ. Прошло нѣсколько минутъ, а Левшинъ все еще не могъ опомниться: онъ стоялъ неподвижно на прежнемъ мѣстѣ. Въ головѣ его не было ни одной мысли; онъ смотрѣлъ и ничего не видѣлъ, повторялъ послѣднія слова Андрея и не понималъ ихъ; но на груди его лежала свинцовая гора, и онъ, хотя смутно, какъ во снѣ, однакожъ чувствовалъ, что съ нимъ случилось что-то ужасное. Можетъ-быть, Левшинъ пробылъ бы еще долго въ этомъ полусознательномъ состояніи, еслибъ не послышался ему въ двухъ шагахъ голосъ вѣрнаго его слуги.

— Пожалуй, Дмитрій Афанасьичъ! — сказалъ Ферапонтъ.—Все готово.—Теперь-то настоящая ѣзда; *по холодку* ѣхать и конямъ легче и намъ привольнѣе.

Да насъ же — продолжалъ онъ вполголоса — только-что не въ шею отсюда гонятъ!.. Поѣдемъ, батюшка!

Левшинъ молча пошелъ вслѣдъ за Ферапонтомъ; они сѣли на коней, и когда выѣхали за ворота скита, изъ сторожки выглянула Дарья и сказала шопотомъ Ферапонту: «Смотри же, голубчикъ, не забудь: Аксинья Никитишна».

— Небойсь, лебедка, не забуду!—промолвилъ также шопотомъ Ферапонтъ.

— Ну, прощай, добрый молодецъ!

— Прощай, мое солнышко весеннее!—сказалъ Ферапонтъ, подмигнувъ Дарьѣ и надѣвая набекрень свою войлочную шапку.

IV.

Когда наши путешественники отъѣхали съ полверсты отъ скита, Ферапонтъ сказалъ своему барину:

— Ну, батюшка, какого мы дали крюку!.. Я все разспросилъ порядкомъ. Отъ постоялаго двора, гдѣ мы вчера кормили, до села Толстошеина считаютъ съ небольшимъ двадцать верстъ; а теперь намъ придется ѣхать верстъ шесть до одного раскольничьяго скита: въ немъ живутъ какіе-то Федосѣевцы, съ которыми Андрей Поморянинъ и знаться не хочетъ. Отъ этого скита до полсела Куклина безъ малаго пятнадцать верстъ, а отъ Куклина до Толстошеина почитай то же, анъ и выходитъ гораздо за тридцать. Да это бы еще ничего, а вотъ что худо, Дмитрій Афанасьичъ: лошадки наши сѣнца пощипали, а овса-то не успѣли перехватить. И на водопой ихъ не водили... Да что это хозяинъ нашъ такъ заторопился?.. Какъ разбудили меня, я вскочилъ — глядь: а ужъ кони осѣдланы!.. Вотъ они раскольники-то, батюшка!.. Нѣтъ, мы, православные, не такъ гостей принимаемъ: кушай вдоволь, спи себѣ до полудня, прохлаждайся, а пришла пора ѣхать, такъ мы и ворота на запоръ!.. А это что?— «Просимъ, дескать, милости!—Рады гостю дорогому...

Только не засиживайся, а не то въ шею!..» Ну что, батюшка, успѣлъ ли ты намекнуть Андрею о своемъ дѣльцѣ?..

— Онъ все знаетъ,—сказалъ Левшинъ.

— Ну чтожъ?

— Что, Ферапонтъ!.. Не судилъ мнѣ Господь быть счастливымъ!

— Какъ такъ?.. Да неужли онъ не выдаетъ за тебя своей дочери?

— И слышать не хочетъ!

— Нѣтъ!.. Да чтожъ онъ—рехнулся что ль!.. Коли ты ему не зять, такъ за кого же онъ хочетъ выдать свою дочь?.. Ахъ, онъ, балахонникъ проклятый!.. Ужъ не прочитъ ли онъ свою дочку за какого-нибудь знаменитаго воеводу?.. Вишь, бояринъ какой!.. Сермяжникъ этакій!.. Да ты, батюшка, не кручинься,— продолжалъ Ферапонтъ, посматривая съ участіемъ на своего барина.—Это еще дѣло поправное.

— А какъ ты его поправишь?—сказалъ Левшинъ.— Ужъ не думаешь ли ты, что я забуду Софью... полюблю другую?..

— И это бываетъ, Дмитрій Афанасьичъ...

— О, нѣтъ, Ферапонтъ!.. Я ужъ тебя говорилъ, что безъ нея и жизнь мнѣ не красна... Мнѣ и прежде было тяжело, а теперь... о, теперь... я вѣрно зачахну съ горя!.. Да не качай головою: вотъ какъ тоска сведетъ меня въ могилу, такъ поневолѣ повѣришь!..

— Эхъ, батюшка баринъ!.. До почему жъ ты говоришь, что тебѣ стало теперь еще тяжелѣе?.. А прежь сего зналъ ли ты, гдѣ живетъ твоя красавица?

— Нѣтъ. Я не зналъ даже, кто ея отецъ и какъ его зовутъ.

— Ну, видишь ли!.. Вотъ тогда было отъ чего кручиниться—поди-ка, отыщи на святой Руси того, кого не знаешь по имени!.. А теперь то-ли дѣло: ты знаешь, гдѣ она живетъ, да и мы-то станемъ жить близехонько: отъ села Толстошеина до Андреева скита рукой подать... Мало ли что можетъ случиться? Вѣр-

нѣй всего, что самъ Андрей спохватится. Вѣдь онъ это такъ—съ дуру тебя ошеломилъ!.. А нето хотѣлъ почваниться, да поломаться надъ тобой. Погоди, батюшка, перемелется рожь, — будетъ мукой!.. Дочка станетъ къ нему приставать, а ты межъ тѣмъ вѣсточки отъ нея получать будешь.

— Вѣсточки!.. Да черезъ кого же?

— Ну ужъ, такъ и быть, все тебѣ скажу!.. Вѣдь Дарья-то стоитъ въ томъ, что она моя суженая; коли правду сказать, такъ и я не прочь—дѣвка такая здоровенная, знатной будетъ работницей!.. Вотъ она мнѣ и сказала: «Есть, дескать, у меня знакомая старушка, Аксинья Никитишна; живетъ она въ скиту Федосѣевскаго согласія; вы мимо его поѣдете. Поклонись ей и скажи, чтобъ она ждала меня къ себѣ въ будущее воскресенье; а ты и самъ, молодецъ, пріѣзжай изъ села Толстошеина, такъ и со мной повидаешься и барину твоему привезешь вѣсточку отъ Софьи Андреевны».

— Ну чтожъ, Ферапонтъ, ты, вѣрно, обѣщалъ?

— Вѣстимо, батюшка!.. Коли дѣвица красная зоветъ на свиданьице, такъ молодцу не пригоже отнѣкиваться. Ну, Дмитрій Афанасьичъ! правду ли я тебѣ говорилъ, что дѣло-то поправное?.. Андрей поупрямится, да какъ увидитъ, что съ дочкой-то дѣлать нечего...

— Нѣтъ!—прервалъ Левшинъ, — онъ не сжалится надъ ея слезами. Андрей сказалъ мнѣ, что ему легче видѣть свою дочь въ гробу, чѣмъ женою того, кто исповѣдуетъ никоніанскую вѣру.

— Такъ вотъ что?.. Ну, коли это шальной станетъ все упираться, такъ чтожъ?.. Или доброму молодцу въ нареканьи оставаться?.. Что, въ самомъ дѣлѣ: была бы только ея воля, а вѣдь она не за тремя каменными стѣнами живетъ!.. Подъѣхалъ вечеркомъ на лихой тройкѣ, притаился на задахъ, да и жди урочнаго часу. Ей долго ли, — шмыгъ въ калитку, а мы и тутъ!.. Подъ бѣлы руки, въ телѣгу—да и катай!

— И ты думаешь, она согласится?

— И, батюшка, коли любитъ, такъ на все пойдетъ... Кто и говоритъ: съ отцовскимъ благословеньемъ лучше; да коли отецъ-то этакой упрямый лѣшій!.. А знаешь ли что, Дмитрій Афанасьичъ: можетъ статься, онъ и радехонекъ будетъ, коли ты дочку-то его сманишь?

— Почему ты это думаешь!

— Да какъ же, батюшка: она выйдетъ за богатаго помѣщика, а онъ передъ своей братьей старообрядцами правъ останется. «Моей, дескать, воли не было, братцы: дѣвка-то не спросясь меня подъ вѣнецъ пошла. А ужъ коли ихъ повѣнчали, такъ дѣлать нечего, развѣнчивать не станутъ».

Несмотря на то, что всѣ эти предположенія и надежды казались Левшину не очень сбыточными, онъ слушалъ съ жадностію утѣшительныя рѣчи Ферапонта. Левшинъ выѣхалъ изъ Андреева скита съ отчаяніемъ въ сердцѣ, а теперь хотя и не смѣлъ ни на что надѣяться, но ужъ и то было для него большою отрадою, что Софья можетъ, хотя изрѣдка, давать ему о себѣ вѣсточку. Мало-по-малу на сердцѣ у него стало полегче: «Богъ вѣсть»,—думалъ онъ,—«когда я увижу опять Софью?.. Но, по крайней мѣрѣ, буду знать, что съ ней дѣлается; можетъ-быть, Андрей и въ самомъ дѣлѣ сжалится надъ своею дочерью; а коли не сжалится, да еще задумаетъ выдать ее насильно замужъ, такъ я узнаю объ этомъ—и тогда... о! только бы Софья-то захотѣла, а ужъ я выручу ее!»

Наши путешественники проѣхали версты четыре, не говоря ни слова. Дорожка, по которой они съ трудомъ пробирались, была проложена по сыпучимъ пескамъ; кругомъ не видно было ни травки, ни цвѣточка. Одной отрадой для глазъ были сучковатыя ели, высокія сосны съ своей мертвой зеленью и кой-гдѣ небольшія лужайки, поросшія, вмѣсто травы, желтоватымъ мхомъ и мелкими кустами можжевельника.

— Эхъ, батюшка! — промолвилъ наконецъ Ферапонтъ, — пора бы намъ коней напоить: вишь, какъ у

нихъ пахи-то подвело!.. Они, сердечные, со вчерашняго дня капли воды не видали... Да и мѣста-то здѣсь какія!.. Вотъ ужъ я давно посматриваю, нѣтъ ли гдѣ травки или проточной водицы, — нѣтъ какъ нѣтъ!.. Дождевыя водопромоины пополамъ съ пескомъ, да сухія еловыя шишки — кушай и пей себѣ на здоровье!..

— А вотъ мы, чай, скоро доѣдемъ до этого скита, гдѣ живетъ Дарьина знакомая.

— Кажись бы надо скоро доѣхать. Да шутъ ихъ знаетъ: скажутъ шесть верстъ, а глядишь — всѣ десять!.. Постой-ка, Дмитрій Афанасьичъ! Видишь, вонъ тамъ избушка какая-то?.. Можетъ статься и колодезь есть... Поѣдемъ-ка, батюшка, поскорѣе.

Путешественники подъѣхали къ небольшой избѣ, у которой тесовая кровля была окаймлена со всѣхъ четырехъ сторонъ широкимъ жолобомъ; на углахъ были сдѣланы деревянные отливы, а отъ нихъ проведены другіе жолобья въ огромной величины плетушку, обмазанную снаружи и изнутри глиною; эта плетеная посудина походила на большой продолговатый чанъ и была почти вся наполнена водою.

— Вотъ знатный водопой! — сказалъ Ферапонтъ, остановивъ свою лошадь.—Смотри, Дмитрій Афанасьичъ, какъ ухитрились!.. Простая плетушка, а вода-то въ ней стоитъ какъ въ чану!.. Сойдемъ-ка, батюшка, съ коней, такъ я ихъ обоихъ разомъ напою.

— Что вы, что вы?—вскричалъ, выходя изъ избы, небольшого роста мужикъ съ калмыковатымъ лицомъ, косматой головою и жиденькой свѣтлорусой бородкой.— Не смѣйте поить здѣсь лошадей!.. Не оскверняйте воды небесной!

— Воды небесной? — повторилъ Ферапонтъ. — А! вотъ что!.. Это у тебя дождевая водица... Такъ чтожъ, дядя: и по лужамъ-то вездѣ дождевая вода... Чѣмъ она лучше другой?

— То по лужамъ, а развѣ ты не видишь, что это купель?

— Купель?.. Что ты, перекрестись!.. Какая это купель!

— Полно, Ферапонтъ, — прервалъ Левшинъ.—Не наше дѣло. Послушай-ка, любезный: коли здѣсь нельзя, такъ укажи, гдѣ намъ напоить коней.

— Да вотъ недалеко отсюда рѣчка; ступайте прямо: тамъ можно поить лошадей; ужъ что осквернено, того не осквернишь.

— Поѣдемъ, Ферапонтъ.

— Постойте-ка, постойте!—сказалъ хозяинъ избы.—Вы люди, кажись, добрые; хотите ли, братцы, омыть грѣхи ваши и окреститься крещеньемъ истиннымъ?

— Ахъ, ты полоумный этакій!—вскричалъ Ферапонтъ.—Вотъ еще что вздумалъ!.. Да развѣ мы люди некрещеные?..

— Нѣтъ, братцы!.. Или вы не знаете, что наступили времена антихристовы, и ничего уже нѣтъ чистаго на землѣ?.. Нѣтъ ни рѣкъ, ни озеръ, ни источниковъ, ни кладезей, ни студенцовъ, которые не были бы осквернены прикосновеніемъ окаянныхъ слугъ антихристовыхъ. А коли неосквернённой воды не обрѣтается на всемъ лицѣ земли, такъ не подобаетъ ли намъ креститься во единой водѣ, иже съ небесъ исходитъ?

— Сирѣчь дождевой?—сказалъ Левшинъ.—Да ужъ мы, дядя, въ ней вчера покупались—нитки живой на тѣлѣ не осталось.

— Поѣдемъ, батюшка,—прервалъ съ примѣтной досадою Ферапонтъ. — Что слушать этого шального!.. Вишь, онъ, какъ съ перепоя, и самъ не знаетъ, что говоритъ.

— Послушайтесь, братцы!—кричалъ имъ вслѣдъ хозяинъ избы. — Эй, говорю вамъ, примите крещеніе въ водѣ небесной, да не помянутся грѣхи ваши!.. Не губите вашихъ душъ—послушайтесь меня!

— Дери горло-то, дери!—шепталъ про себя Ферапонтъ.—Вотъ напустилъ на себя какую дурь—уродина этакій!.. Ну, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, народецъ

живетъ въ здѣшней сторонѣ!.. Что эта такое?.. Съ виду люди какъ люди, а съ любымъ заговори, — понесетъ такую околесную, что уши вянутъ!.. Ну, гдѣ видано, чтобы крещеныхъ людей перекрещивали?.. И добро бы еще онъ былъ чернецъ или церковникъ какой, а то простой сермяжникъ!.. Да ему, лапотнику, и мордвина не слѣдъ крестить... Кто его въ попы-то ставилъ—чучела этакая!

— Эхъ, Ферапонтъ, охота тебѣ сердиться! — сказалъ Левшинъ.

Да какъ же, Дмитрій Аѳанасьичъ,—обидно!.. Ужъ эти раскольники хотятъ насъ, православныхъ, перекрещивать!.. Скопилъ въ плетушкѣ дождевой водицы, да и кричитъ: «Креститесь, братцы, крещеньемъ истиннымъ!»—Эхъ, батюшка! будь я безъ тебя, такъ я бы этого перекрещеванца окрестилъ по-своему!.. Пересталъ бы онъ у меня свою плетушку купелью называть!.. Кабы ребра два не дощупался, такъ заказалъ бы и другу и недругу перекрещивать православныхъ христіанъ.

— Ну, вотъ еще! — прервалъ Левшинъ. — Вчера было намъ за что драться съ раскольниками, а теперь изъ чего мы станемъ съ ними ссориться?

— Такъ, батюшка, такъ!.. Да зло беретъ!.. Чтожъ, въ самомъ дѣлѣ, мы ихъ зовемъ только раскольниками, а они ужъ насъ крестить хотятъ!.. Словно мы жиды какіе.

Въ продолженіе этого разговора наши путешественники подъѣхали къ небольшому холму, у подошвы котораго струился широкій ручей. По всему скату холма и по берегу ручья разбросаны были, въ живописномъ безпорядкѣ, высокія избы и низкія лачужки. Этотъ скитъ, совершенно похожій на обыкновенныя деревни, не былъ обнесенъ изгородью, и только по одной *молельнѣ*, на кровлѣ которой водруженъ былъ осьмиконечный крестъ, можно было догадаться, что тутъ жили раскольники. Надъ ручьемъ, противъ самой молельни, стоялъ деревянный шатеръ, надъ которымъ также возвышался осьмиконечный крестъ.

— Послушай-ка, любезный! — сказалъ Ферапонтъ одному молодому парню, который ѣхалъ порожнякомъ въ телѣгѣ навстрѣчу къ нашимъ путешественникамъ.— Вѣдь это скитъ Федосѣевскаго согласія?

— Ну, да!—отвѣчалъ парень, взглянувъ съ любопытствомъ на проѣзжихъ.

— Укажи-ка намъ, молодецъ, гдѣ живетъ здѣсь Аксинья Никитишна.

— Бабушка Аксинья—портниха?.. А вотъ съ краю-то третья изба—противъ самой іордани.

— Сирѣчь, вотъ этого шатра, что на рѣчкѣ-то?

— Шатра?.. Какого шатра?.. Тебѣ говорятъ: противъ іордани... Развѣ шатры съ крестами-то бываютъ?

Ферапонтъ и Левшинъ, подъѣхавъ къ низенькой избушкѣ, сошли съ коней; подъ окномъ на завалинѣ сидѣла пожилая баба лѣтъ шестидесяти; на ней, сверхъ синяго сарафана, который отличался покроемъ отъ нынѣшнихъ только тѣмъ, что былъ вовсе безъ грудной выемки, надѣта была сѣрая суконная тѣлогрѣя съ красной оторочкою. На головѣ ея была бисерная повязка и большая фата изъ пестрой бумажной матеріи. Наружность этой старухи была весьма пріятная: ея умные голубые глаза одушевлялись веселостію, а правильныя черты лица и нѣкоторые остатки прежней красоты доказывали, что нѣкогда она была очень хороша собою.

— Не ты ли, бабушка, Аксинья Никитишна? —спросилъ Ферапонтъ.

— Я, кормилецъ,—отвѣчала старуха. — Что тебѣ надобно?

— Мы были въ скиту Андрея Поморянина, и меня Дарья просила отвезти тебѣ поклонъ.

— Спасибо, молодецъ, спасибо!.. Ну, что она, по добру ли, по здорову?

— Все славу Богу!.. Сбирается къ тебѣ въ гости.

— Милости просимъ! Давно пора.

— Жди ее, бабушка, къ себѣ въ будущее воскресенье.

— Будемъ ждать, мой отецъ, будемъ!

— Да ужъ и я, Аксинья Никитишна, твой гость.

— Ты, батюшка?.. А ты зачѣмъ ко мнѣ пожалуешь?

— Да вѣдь Дарья-то моя суженая.

— Вотъ что?.. Ну, батюшка, милости просимъ!. Ай Дарьюшка! исполать ей!.. Какого она себѣ женишка вымолила... Да какъ это васъ Господь свелъ?.. Что вы приглянулись что ль другъ другу?

— Видно, что такъ, бабушка.

— Чтожъ ты, молодецъ, очень ее любишь?

— Да такъ-то люблю, что коли скажу, такъ не повѣришь.

— Какъ не повѣрить, батюшка!.. Дѣло бывалое: вѣдь и я не всегда была старухою; было и мое времячко, и про меня говаривали: «сухота, дескать, сердцу молодецкому!..» Э, да что это я?.. Тьфу! старуха старая, а какія рѣчи говорю! Охъ, я многогрѣшная, многогрѣшная!—продолжала Аксинья, вытаскивая изъ-за пояса чотки.—Ну вотъ, не успѣю покаяться, и опять за то же!.. И что за радость вспоминать про прежніе годочки?.. Вѣдь они ужъ не вернутся!

— Дмитрій Афанасьичъ! — сказалъ Ферапонтъ,— побудь покамѣстъ здѣсь, а я напою коней. Вѣдь въ рѣчкѣ-то можно, бабушка?

— Пожалуй себѣ!.. Только вонъ туда, внизъ—подальше.

— Скажи мнѣ, Аксинья Никитишна, — спросилъ Левшинъ, оставшись одинъ со старухою,—чтожъ это за человѣкъ такой живетъ недалеко отсюда, у самой дороги,—что, изъ вашихъ что ль?

— Нашъ, батюшка, нашъ!.. Такъ, убогій человѣкъ, юродивый — Павелъ, по прозванью Калмыкъ. Онъ, вѣрно, хотѣлъ васъ крестить въ дождевой водѣ?

— Да, бабушка!.. Я такъ и думалъ, что онъ безумный.

— Нѣтъ, не безумный — и старецъ усердный, большой постникъ; да, видно, у него умъ за разумъ

зашелъ... Мало ли и намъ возни-то съ нимъ было! Онъ на прошлой недѣли сбиралъ соборъ.

— Соборъ!.. Какой соборъ?

— Какъ же!.. Ивана Ерша, Илью Степанова— всѣхъ нашихъ учителей и наставниковъ собралъ.

— Чтожъ они, о чемъ съ нимъ толковали?

— Что, батюшка, грѣхъ, да и только!.. Зачали за здравіе, а свели за упокой!.. Собрались о вѣрѣ толковать, а покончили смѣхомъ.

— Смѣхомъ?

— Да, батюшка. Павелъ началъ говорить объ антихристѣ, сталъ уговаривать братію, чтобъ всѣ крестились въ дождевой водѣ;—другой, дескать, неосквернённой воды на всей землѣ нѣтъ.—Вотъ отецъ Илья и говоритъ ему: «Мы тебѣ, Павелъ, безъ знаменья не повѣримъ. Святые проповѣдники чудеса великія творили: болящихъ исцѣляли, мертвыхъ воскрешали; а ты, Павелъ, во увѣреніе наше хотя единаго жука или муху оживотвори!»—Нѣтъ, братіе,—сказалъ Павелъ,— я вамъ другое покажу знаменіе: дайте мнѣ какую хотите отраву, при васъ же выпью и невреднмъ останусь. Илья хотѣлъ было попотчивать его купороснымъ маслицемъ, да Иванъ Ершъ отговорилъ, и вмѣсто отравы поднесъ ему стаканъ добраго вина, а Павелъ сродясь его не отвѣдывалъ... Вотъ, батюшка, какъ онъ увидѣлъ, что ему отъ этого зелья никакой болѣзни не приключилось, такъ загорланилъ пуще прежняго: «Что, дескать, окаянные!.. Видите ли, что ваша отрава меня не беретъ?.. Будете ли теперь меня слушаться?.. А коли вамъ этого мало, такъ давайте еще стаканъ». Какъ у него въ головушкѣ-то позашумѣло, такъ онъ пересталъ и о вѣрѣ говорить. Только-что кричитъ: «Подавайте вашей отравы!»—Отецъ Алексѣй велѣлъ поднести ему третій стаканъ, да и говоритъ: «Слушай, Павелъ, коли послѣ этого ты будешь сидѣть прямо, такъ вѣра твоя права, а коли покривишься, такъ и вѣра твоя кривая». Какъ Павелъ хватилъ третій стаканъ, такъ его вовсе разобрало; онъ не успѣлъ и

двухъ словъ вымолвить, свалился подъ лавку, да тутъ и заснулъ.

— Ну, чтожъ, какъ онъ выспался?

— И, батюшки!.. Учалъ насъ всѣхъ позорить на чемъ свѣтъ стоитъ!.. «Я, дескать, васъ, окаянныхъ неслуховъ, призывалъ къ истинному крещенію, да вы не захотѣли — такъ нѣтъ же вамъ части со мною!.. Пойду на перепутье и стану всѣхъ проѣзжихъ крестить».

— Хорошо, что вы не послушались этого шального; ну, гдѣ видано, чтобъ крещеные люди перекрещивались?

— Нѣтъ, батюшка, и наши всѣ перекрещиваются.

— Что ты, бабушка?

— Да, молодецъ!.. Только не въ дождевой водѣ, а вотъ здѣсь въ рѣчкѣ... Вотъ видишь, прямо-то—іордань!

— Такъ и ты, Аксинья Никитишна, перекрещивалась?

— Мнѣ зачѣмъ, кормилецъ!.. Я ужъ человѣкъ немолодой: меня крестили по старинному, когда православная вѣра не была еще въ растлѣніи. Вотъ Дарьѣ такъ надобно креститься. Я давно уговариваю, да ее все этотъ пострѣлъ Андрей Поморянинъ сбиваетъ.

— Ну, батюшка,—сказалъ Ферапонтъ, подводя Султана, — садись-ка, пора въ путь!.. Мнѣ сказали, что отсюда все прямая дорога вплоть до полсела Куклина, а тамъ намъ укажутъ... Послушай, бабушка: коли Дарья придетъ къ тебѣ прежде, чѣмъ я пріѣду, такъ скажи ей, что я безотмѣнно буду.

— Скажу, батюшка!.. Ну, прощайте, добрые молодцы! Не поминайте лихомъ.

— Счастливо оставаться, Аксинья Никитишна! Смотри, припасай пироговъ къ воскресенью; да коли бражки выставишь, такъ мы тебѣ челомъ; а коли винца—такъ и подавно!

V.

Солнце было уже высоко, когда Левшинъ и Ферапонтъ, проѣхавъ полсело Куклино, стали приближаться къ цѣли своего путешествія. Версты за двѣ до вот-

чины боярина Куродавлева, проселокъ, по которому они ѣхали, вывелъ ихъ на большую Мещовскую дорогу. Миновавъ боярскій хуторъ съ обширной винокурнею, на которую Ферапонтъ поглядѣлъ очень умильно, путешественники повернули въ широкую просѣку. Она оканчивалась на берегу небольшого, но весьма красиваго озера. Когда они выѣхали изъ лѣсу, передъ ними раскрылся очаровательный видъ. Съ версту отъ нихъ, прямо черезъ озеро, на гористомъ берегу возвышались огромныя хоромы, которыя, со своими службами и всей усадьбою, походили на небольшой городокъ. Съ перваго взгляда, Левшинъ замѣтилъ, что боринъ Куродавлевъ хотѣлъ выстроить себѣ домъ, похожій—разумѣется въ маломъ видѣ — на знаменитый Коломенскій дворецъ... Средину его составляло большое двухъ-этажное зданіе съ высокой выгнутой кровлею, у которой выпуклые бока суживались книзу. Съ правой стороны къ этому зданію была пристроена *вышка*; она, по своей двойной кровлѣ и остроконечному верху, походила на небольшія безымянныя башни Московскаго кремля. Съ лѣвой стороны, крытымъ переходомъ, соединялся съ главнымъ зданіемъ красивый теремъ о трехъ жильяхъ, съ большими уступами. Къ этому терему примыкала особая палата съ куполомъ или главою, которой не доставало только креста, чтобъ совершенно походить на церковную главу. Левшинъ узналъ впослѣдствіи, что въ этой палатѣ была образная боярина Куродавлева. Все это огромное зданіе, не исключая самой вышки, было построено изъ толстыхъ сосновыхъ брусьевъ. Направо отъ господскаго дома, который съ своими принадлежностями, дворомъ и огородомъ занималъ нѣсколько десятинъ земли, начинался длинный порядокъ красивыхъ избъ; въ нихъ жила отдѣльными семьями многолюдная дворня боярина. По лѣвой сторонѣ, на большомъ пространствѣ, разбросаны были конюшни, скотные дворы и обширная псарня съ высокой свѣтлицею для боярскихъ *соколовъ* и кречетовъ. Вся описанная мною усадьба за-

нимала почти весь берегъ, противоположный тому, на которомъ въ эту минуту находился Левшинъ. Полюбовавшись нѣсколько минутъ этимъ прекраснымъ видомъ, Левшинъ повернулъ налѣво и поѣхалъ берегомъ озера вдоль длиннаго порядка крестьянскихъ избъ.

— Ну, батюшка!—сказалъ Ферапонтъ,—какъ здѣсь мужички-то пообстроились!.. Одна изба лучше другой!.. И то сказать: лѣсу-то имъ не занимать стать!.. Да, видно, и баринъ у нихъ милостивый и добрый.

— А что?

— Какъ же, Дмитрій Афанасьичъ!.. Посмотришь, въ иной деревнѣ народишка такой чахлый, испитой, взглянуть не на что!.. А здѣсь, погляди-ка, батюшка, какіе все ребята дородные—молодецъ къ молодцу!.. А бабы-то!.. Вонъ сидитъ на завалинѣ—печь печью!.. Вонъ и другая... видишь, батюшка?

— Вижу; такъ чтожъ?

— А то, Дмитрій Афанасьичъ, что, видно, житье-то ихъ не плохое: съ горя люди не жирѣютъ.

Миновавъ село, наши путешественники переѣхали черезъ плотину и повернули направо, по широкой дорогѣ, которая вела прямо къ господской усадьбѣ. Подъѣхавъ къ воротамъ, Левшинъ, изъ уваженія къ высокому сану хозяина, не въѣхалъ на дворъ: онъ отдалъ своего коня Ферапонту и пошелъ пѣшкомъ. На крыльцѣ боярскаго дома стояло человѣкъ пять служителей, а посреди двора, кругомъ высокаго столба, который оканчивался лежачимъ колесомъ, похаживалъ на цѣпи ручной медвѣдь. Когда Левшинъ сталъ приближаться къ дому, двое слугъ сошли внизъ, навстрѣчу къ гостю, поклонились ему въ поясъ и ввели подъ руки на крыльцо. Въ сѣняхъ дворецкій боярина, встрѣтивъ Левшина обыкновеннымъ привѣтствіемъ: «добро пожаловать, батюшка, милости просимъ!» вошелъ вслѣдъ за нимъ въ огромную прихожую. Въ ней сидѣло на скамьяхъ до тридцати слугъ, просто, но очень опрятно одѣтыхъ. Вдоль одной изъ стѣнъ прихожей развѣшены были длинныя пищали, винтовки, ручницы, сабли, ножи,

чеканы, кольчуги и желѣзныя шашки-ерихонки. На другой висѣла богатая конская сбруя, охотничьи рога и шкуры затравленныхъ волковъ и лисицъ; а у дверей, ведущихъ въ сосѣдній покой, стояли: съ одной стороны чучело огромнаго медвѣдя, убитаго самимъ хозяиномъ, а съ другой — большая клѣтка, въ которой сидѣлъ ученый воронъ. Когда Левшинъ вошелъ въ прихожую, всѣ слуги встали и поклонились ему очень вѣжливо.

— Какъ прикажешь о себѣ доложить боярину?— спросилъ дворецкій.

— Доложи Юрію Максимовичу, что стрѣлецкій сотникъ Левшинъ пріѣхалъ къ нему изъ Москвы съ письмомъ отъ боярина Кириллы Андреевича Буйносова.

— Отъ Кириллы Андреевича?.. Ну, батюшка, порадуешь ты нашего боярина!.. Пожалуй сюда,—вотъ въ этотъ покой... Я пойду, доложу о тебѣ.

Левшинъ вошелъ въ сосѣдній покой; въ немъ вся домашняя утварь состояла, такъ же какъ и въ прихожей, изъ однѣхъ лавокъ, да сверхъ того стоялъ дубовый столъ, покрытый узорчатой скатертью, на которой вытканы были изображенія тарелокъ со всѣмъ столовымъ приборомъ и блюдъ съ жаренымъ павлиномъ, поросенкомъ, пирогами и разнымъ другимъ кушаньемъ. Вмѣсто нынѣшнихъ люстръ, опускались съ потолка на тоненькихъ бичевкахъ красивыя клѣтки съ пѣвчими птицами; и у одного изъ оконъ въ кругломъ коробкѣ, съ нитянымъ плетенымъ верхомъ, бился и *вавакалъ* неугомонный перепелъ... Минутъ черезъ пять вошли изъ прихожей двое слугъ, одинъ съ лоханью и умывальникомъ, другой съ подносомъ, на которомъ стояла серебряная кружка. Левшинъ вымылъ руки, обтеръ мокрымъ полотенцемъ запыленное лицо и выпилъ съ большимъ удовольствіемъ кружку холоднаго меда, который показался ему очень вкуснымъ. Вскорѣ затѣмъ явился опять дворецкій и сказалъ, что бояринъ дожидается съ нетерпѣніемъ своего гостя. Левшинъ, идя вслѣдъ за нимъ, замѣтилъ, что почти всѣ комнаты *были* тѣсны, безъ всякаго убранства и по большей

части обезображены огромными и неуклюжими печьми. Пройдя крытымъ переходомъ, они стали подыматься въ верхнее жилье терема. Дворецкій остановился у дверей, подлѣ которыхъ сидѣли два мальчика, одѣтые въ красные терлики. Одинъ изъ нихъ отворилъ дверь, и Левшинъ вошелъ въ обширную, обитую малиновымъ сукномъ, свѣтлицу; по стѣнамъ ея висѣли турецкіе ятаганы и пистолеты въ серебряной оправѣ, дорогія казылбашскія сабли, стальныя зерцалы, то-есть латы съ золотой и серебряной насѣчкою; на широкихъ полкахъ разставлены были серебряныя кружки, братины и китайскія фарфоровыя сулеи, а въ особомъ ставцѣ за стекломъ стояли жалованные кубки, высокая *горлатная* шапка боярская и лежалъ серебряный *шестоперъ*, или булава, богато украшенные бирюзою и драгоцѣнными каменьями. Въ переднемъ углу, то-есть подъ образами, сидѣлъ бояринъ Юрій Максимовичъ; передъ нимъ, на небольшомъ столикѣ, лежала раскрытая книга въ бархатномъ переплетѣ. На боярынѣ былъ шелковый *турскій* кафтанъ, то-есть длинное платье безъ *козыря* и петлицъ, похожее своимъ покроемъ на бухарскій халатъ. Хотя темнорусая окладистая борода Куродавлева была уже съ просѣдью, но онъ могъ еще, по своему росту, осанкѣ и бодрому виду, называться молодцомъ. Во всѣхъ чертахъ его красиваго и мужественнаго лица выражались веселость, привѣтъ и эта русская удаль, для которой, при случаѣ, все трынъ-трава. Въ его улыбкѣ было много радушія; но еслибъ Левшинъ былъ хорошимъ физіономистомъ, то безъ труда бы замѣтилъ по взгляду и особенному выраженію въ голосѣ, что Куродавлевъ, несмотря на свою веселость и добродушіе, вовсе не чуждъ этой боярской спеси, которая была нѣкогда любимымъ грѣхомъ всѣхъ русскихъ сановниковъ.

— Добро пожаловать, господинъ сотникъ!—сказалъ Куродавлевъ, не вставая самъ и не приглашая Левшина садиться.—Полно, такъ ли доложилъ о тебѣ мой дворецкій?.. Вѣдь ты прозываешься Левшинымъ?

— Да, Юрій Максимовичъ.

— Левшины бывали встарину люди родословные— да вѣдь нынче не разберешь!.. Не прогнѣвайся, если я тебя спрошу, — продолжалъ боярин, заглянувъ въ раскрытую книгу, — какъ называли твоего дѣдушку?

— Дмитріемъ Степановичемъ.

— Вотъ, по разрядной книгѣ, не онъ ли былъ при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ?..

— Стольникомъ и суздальскимъ воеводою, — прервалъ Левшинъ.

— Такъ!.. А начальный человѣкъ вашего рода прозывался Суволь-Левша—такъ ли, молодецъ?

— Такъ, боярин.

— Садись, любезный!

— Позволь мнѣ прежде вручить тебѣ письмо отъ боярина Кириллы Андреевича, — сказалъ Левшинъ, подавая свитокъ.

— Пожалуй, пожалуй!.. Что-то онъ, дружище, ко мнѣ пишетъ? — Левшинъ, — продолжалъ вполголоса Куродавлевъ, поглядывая на своего гостя, — внукъ суздальскаго воеводы—стрѣлецкимъ сотникомъ!.. Эки времена!.. Да что, твой батюшка здравствуетъ?

— Нѣтъ, боярин. Онъ давно ужъ померъ.

— Такъ вотъ что!.. Тебѣ, чай, молодецъ, приглянулся кафтанъ съ петлицами, да шапка ухорская?.. Разумъ молодой, а воля-то своя...

— Покойный мой батюшка — прервалъ Левшинъ почтительнымъ, но твердымъ голосомъ—былъ самъ стрѣлецкимъ сотникомъ.

— Право?.. Такъ батюшка твой былъ стрѣлецкимъ головою?.. И ужъ вѣрно по царскому указу?.. Вотъ и у меня пріятель, Никита Даниловичъ Глѣбовъ, взятъ въ нынѣшнемъ году по неволѣ въ полковники къ стремянному стрѣлецкому полку. Да онъ челобитную подавалъ: «Цари, дескать, и государи великіе князья, пожалуйте меня, холопа своего, за крови и за смерти, и за многія службы сродниковъ моихъ, и за мои, *холопа вашего*, службишки, велите челобитье мое запи-

сать, чтобъ, государи, нынѣшняя моя полковничья служба мнѣ, холопу вашему, и дѣтишкамъ моимъ и сродникамъ, отъ иныхъ родовъ была не въ упрекъ и не въ укоризну, и съ моею ровною братіею не въ случай». Такъ на эту челобитную и данъ указъ, чтобъ службу въ стрѣлецкомъ войскѣ ему, Никитѣ Глѣбову, и дѣтямъ, и сродникамъ, и всему роду въ упрекъ и укоризну не ставить, и его, Глѣбова, тѣмъ чиномъ не смѣть никому безчестить... А твой батюшка подавалъ ли челобитную?

— Нѣтъ, бояринъ... Онъ пошелъ въ стрѣлецкіе головы охотою.

— Охотою?.. Ну, это иная рѣчь!.. Ужъ коли онъ самъ своей чести поруху сдѣлалъ, такъ пенять не на кого!.. Да садись, молодецъ; а я межъ тѣмъ посмотрю, что пишетъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ.

Левшинъ сѣлъ на стулѣ подлѣ окна, а Куродавлевъ развернулъ свитокъ и прочелъ вслухъ: «Государю моему и другу сердечному, Юрію Максимовичу!.. Здравствуй, другъ мой Юрій Максимовичъ, на многія впредь будущія лѣта!.. Пишешь ты ко мнѣ, другъ сердечный»... Тутъ Куродавлевъ началъ читать про себя, а Левшинъ, окинувъ любопытнымъ взглядомъ боярскій покой, полюбовался развѣшеннымъ по стѣнамъ оружіемъ и подивился огромнымъ серебрянымъ братинамъ, изъ которыхъ многія были величиною съ ведро. Но когда онъ взглянулъ въ открытое окно, подлѣ котораго сидѣлъ, то едва могъ удержаться отъ невольнаго восклицанія при видѣ великолѣпной картины, которая представилась его взорамъ. И подлинно, видъ изъ терема на всѣ противоположныя окрестности озера былъ въ высочайшей степени живописенъ. Прямо, за господскимъ дворомъ, начинался покрытый пушистою зеленью лугъ; онъ опускался пологимъ скатомъ до самаго озера, котораго спокойныя воды, блестящія и прозрачныя, какъ чистый хрусталь, разливались версты на двѣ кругомъ. Налѣво, по берегу, а потомъ вдоль рѣчки Брынь, росло густое чернолѣсье; направо

тянулось выстроенное въ одинъ порядокъ большое село съ каменной церковью; еще правѣе, за селомъ, виднѣлась высокая плотина, которую заслонялъ по мѣстамъ вѣтвистый и раскидистый вѣтлянникъ, а за нею разстилались обширныя поля и синѣлся вдали, какъ подернутое туманомъ море, сплошной и безконечный боръ.

— Эхъ, братъ Кирилла! — промолвилъ вполголоса Курodавлевъ, остановясь читать письмо, — жаль мнѣ тебя, горемычнаго!..—Ты, чай, любезный, знаешь,— продолжалъ онъ, обращаясь къ Левшину,—что у Кириллы Андреевича, тому лѣтъ пятнадцать назадъ, въ здѣшнихъ Брынскихъ лѣсахъ пропала, вмѣстѣ съ своею нянюшкою, родная дочка, а моя крестная дочь—дитя лѣтъ четырехъ... Вотъ недавно прошелъ слухъ, что эта нянюшка, по имени Татьяна, живетъ здѣсь въ одномъ раскольничьемъ скиту; я написалъ объ этомъ Кириллѣ Андреевичу, а самъ поѣхалъ въ скитъ, чтобъ допытаться отъ этой бѣглой дѣвки, куда дѣвала она свою барышню. Чтожъ ты думаешь?.. Я засталъ Татьяну на смертномъ одрѣ, безъ языка — при мнѣ и душу Богу отдала. Отъ другихъ въ скиту я не могъ ничего добиться, и съ чѣмъ пріѣхалъ, съ тѣмъ и уѣхалъ назадъ. Кирилла Андреевичъ пишетъ ко мнѣ, что зашибъ ногу, и оттого не могъ самъ ко мнѣ пріѣхать; но лишь только сможетъ, такъ не мѣшкая отправится въ дорогу. Великая для меня радость повидаться съ другомъ сердечнымъ, да жаль, что его-то мнѣ нечѣмъ будетъ порадовать!.. Посмотримъ, что онъ еще пишетъ, — продолжалъ Курodавлевъ, принимаясь опять за письмо. — Что это? — вскричалъ онъ, прочтя нѣсколько строкъ.—Владыка живота моего!.. Такъ это правда?.. Ахъ они богоотступники!.. Воры проклятые!.. Да какъ ихъ, окаянныхъ, земля носитъ!.. Неужели въ самомъ дѣлѣ эти крамольные стрѣльцы...

— Да, бояринъ, все правда, что пишетъ тебѣ Кирилла Андреевичъ.

— Не можетъ быть!—прервалъ Курodавлевъ.—

Ну, пусть они извели своихъ начальныхъ воеводъ, князей Долгорукихъ, убили Нарышкиныхъ и Ромодановскаго, подняли на копья боярина Матвѣева — отъ этихъ разбойниковъ все станется; но чтобъ они посягнули на власть помазанниковъ Божіихъ... Нѣтъ, нѣтъ! это сказки—я этому и вѣрить не хочу!

— Вотъ то-то и есть, бояринъ, что все это, попущеньемъ Господнимъ, истинная правда.

— Истинная правда!—повторилъ Куродавлевъ.— Да что Москва-то, деревня что ль?.. Или въ ней, кромѣ однихъ стрѣльцовъ, и народу не стало?.. Господи Боже мой! злодѣи дерзнули ворваться силою въ царскія палаты, вломились въ теремъ нашей матушки царицы Натальи Кирилловны и вся Москва не поднялась разомъ, не заслонила грудью своихъ царей православныхъ, не закидала шапками эту поганую сволочь!..

— Все это, Юрій Максимовичъ, случилось такъ внезапно...

— И зачинщики этихъ смутъ еще живы! - продолжалъ съ возрастающимъ жаромъ Куродавлевъ. — И эти крестоизмѣнники стрѣльцы похваляются своимъ удальствомъ!.. И ихъ позорнымъ именемъ не клеймятъ еще всякаго мошенника и негодяя!..

— Нѣтъ, бояринъ!.. Всѣмъ стрѣльцамъ дана похвальная грамота и велѣно ихъ, ради почета, называть не стрѣльцами, а надворной пѣхотою.

Лицо боярина покрылось смертной блѣдностію, онъ сжалъ въ кулакъ письмо Буйносова и замолчалъ; но это нахмуренное чело, эти пылающіе гнѣвомъ взоры сильнѣе всякихъ словъ выражали то, что происходило въ душѣ его.

— Вотъ до чего мы дожили! — промолвилъ наконецъ Куродавлевъ. — Эхъ, Москва православная, что съ тобою сталось!.. Или всѣ эти заморскіе выходцы вовсе тебя обасурманили, нашу матушку?.. Слава тебѣ Господи, что я уѣхалъ на житье въ Брынскіе лѣса. Здѣсь воры и мошенники меня боятся, а тамъ бы мнѣ пришлось кланяться имъ въ поясъ!.. И эту

вѣсть о срамѣ московскомъ, — продолжалъ бояринъ, устремивъ свой гнѣвный взоръ на Левшина, — эту вѣсть о неслыханномъ злодѣйствѣ стрѣльцовъ прислалъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ съ тобою — стрѣлецкимъ сотникомъ.

— Я, бояринъ, ни дѣломъ, ни словомъ не участвовалъ въ этомъ мятежѣ стрѣльцовъ; меня тогда и въ Москвѣ не было.

— Еще бы участвовалъ!.. Будетъ и того, что у тебя на плечахъ-то этотъ опозоренный кафтанъ!.. Ну, голубчикъ, кабы я все это зналъ да вѣдалъ, такъ не бывать бы тебѣ моимъ гостемъ!

Левшинъ вспыхнулъ.

— Коли прикажешь, Юрій Максимовичъ,— сказалъ онъ вставая,—такъ я сейчасъ же уйду.

— Ну, полно, любезный, не сердись! — прервалъ Куродавлевъ ласковымъ голосомъ.—Я это такъ... сгоряча сказалъ. Вѣстимо, правый за виноватаго не отвѣтчикъ; да дѣло-то, видишь, такое, что надо вовсе быть бабою, чтобы кровь во всемъ тебѣ, какъ въ котлѣ, не закипѣла!.. А моя-то еще покамѣстъ бурлива: вотъ такъ и боюсь опять за письмо приняться... сердце замираетъ!.. Ну, что еще онъ пишетъ?.. А!.. это никакъ о тебѣ... «Вручитель сей грамотки стрѣлецкій сотникъ, Дмитрій Афанасьичъ Левшинъ!..»

— Какъ!.. Такъ стрѣльцы-то и тебя, своего товарища, хотѣли уходить?

— Хотѣли, бояринъ.

— Зато, что ты... ахъ, молодецъ!.. ты сказалъ про стрѣльцовъ, что они бунтовщики и разбойники?

— Чтожъ дѣлать, Юрій Максимовичъ, не вытерпѣлъ.

— И ты сказалъ это не тайкомъ?

— То-то и есть, что не тайкомъ, но на Красной площади.

— Ай да молодецъ!.. Ну, чтожъ они?

— Вѣстимо дѣло! хотѣли меня убить.

— Какъ же это тебя Богъ помиловалъ?

— Да пріятель нашелъ мнѣ укромное мѣстечко на одномъ подворьѣ...

— Такъ ты до твоего отъѣзда изъ Москвы и глазъ на улицу не показывалъ?

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ. Когда былъ соборъ противъ еретика Никиты Пустосвята, и всѣ измѣнники опять поднялись, такъ я ходилъ въ Грановитую палату...

— Въ Грановитую палату!.. Да она, чай, биткомъ была набита стрѣльцами?

— Какъ же!.. Всѣ мои злодѣи тамъ были.

— И ты, не глядя на это?..

— А чтожъ, бояринъ?.. Да неужели мнѣ было прятаться и сидѣть взаперти, когда въ государевыхъ палатахъ толпились сотнями измѣнники, а вѣрныхъ-то слугъ царскихъ было наперечетъ?.. Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, не тому училъ меня покойный батюшка. «Умереть что! — говорилъ онъ, — лишь бы только привелъ Господь сложить голову за вѣру, да за царя православнаго».

— Такъ, молодецъ, такъ! — прервалъ Курodавлевъ.—Ну, Дмитрій Афанасьичъ, — продолжалъ онъ, едва скрывая свой восторгъ,—такъ стрѣльцы-то тебя не захватили?

— Какъ же, бояринъ!.. И захватили и убить хотѣли.

— Ну чтожъ, какъ они собрались тебя убить, ты не попятился?

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ.

— Не просилъ у нихъ милости?

— Милости!.. У этихъ измѣнниковъ?.. Сохрани Господи!.. При мнѣ была сабля, бояринъ, а съ ней я милости ни у кого не прошу!

— Вотъ что! — промолвилъ Курodавлевъ, вставая съ креселъ.—Такъ ты вотъ каковъ!.. Ну-ка, братъ, поди сюда—поди... поцѣлуемся!.. Ахъ ты, соколъ мой ясный!.. Молодецъ ты мой!.. Голубчикъ!..

— Да чтожъ я такое сдѣлалъ, Юрій Максимо-

вичъ? — сказалъ скромный юноша, удивленный этой неожиданной выходкой боярина.

— Что сдѣлалъ? — вскричалъ Куродавлевъ. — Ты сказалъ въ глаза стрѣльцамъ, что они разбойники... не побоялся явиться передъ ними и стать грудью за вѣру и царей православныхъ; попался къ нимъ въ руки, а не попятился, не вымаливалъ себѣ пощады, не кланялся этимъ окаяннымъ душегубцамъ!.. Молодецъ изъ молодцовъ!.. А я было совсѣмъ тебя разобидѣлъ!..

— Ничего, бояринъ.

— Какъ ничего!.. Прости меня, Бога ради!.. А все этотъ проклятый служильный нарядъ!.. Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ! да потѣшь меня, сбрось ты этотъ опозоренный кафтанъ!.. Ну, вотъ какъ Богъ святъ, видѣть его не могу!

— Да у меня другого платья нѣтъ, — сказалъ Левшинъ.

— За платьемъ не станетъ, Дмитрій Афанасьичъ: бери любое изъ моихъ... Да вотъ мы какъ разъ это дѣло уладимъ.

Боярinъ свистнулъ и сказалъ мальчику, который вошелъ въ покой:

— Позови сюда Кондратія — да живо!.. Мы съ тобой почитай одного роста,—продолжалъ онъ, обращаясь опять къ Левшину. Я только подороднѣе и поплечистѣе тебя—да это не бѣда! Вѣдь здѣсь московскихъ красавицъ нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, такъ тебѣ рядиться не для кого. Да и то сказать: что бы ты ни надѣлъ, а все будешь молодцомъ. Эхъ, — промолвилъ Куродавлевъ, глядя почти съ отцовскимъ участіемъ на Левшина, — подумаешь: этакой удалой дѣтина, красавецъ, родовой человѣкъ сгубленъ ни за что ни про что... ну, жаль!

— Да Богъ милостивъ, — сказалъ Левшинъ. — Можетъ статься, я скоро вернусь опять въ Москву. За меня похлопочетъ князь Хованскій, Кирилла Андреевичъ замолвитъ словечко...

— И, любезный!—прервалъ бояринъ,—не о томъ рѣчь!.. То дѣло поправное; а вотъ ужъ службишка-то окаянная твоя—такъ это дѣло безъ поправки!.. Нетокма тебѣ, да и всему роду-то вашему безчестье на вѣки-вѣковъ.

— Дозволь слово молвить, бояринъ,—сказалъ Левшинъ. — Да развѣ есть служба безчестная, коли я служу царю-государю, и служу вѣрой и правдою!.. Воля твоя, Юрій Максимовичъ, а я въ толкъ не возьму, почему родословному человѣку не зазорно писаться въ жильцахъ и даже въ дѣтяхъ боярскихъ, а безчестно служить начальнымъ человѣкомъ въ стрѣлецкомъ войскѣ?

— Что́жъ дѣлать, любезный, ужъ такъ испокони ведется.

— Такъ, видно, бояринъ, пріятель твой, Кирилла Андреевичъ Буйносовъ, не такъ мыслитъ. Хотя покойный мой батюшка и былъ стрѣлецкимъ головою, однакожъ Кирилла Андреевичъ не брезговалъ нашимъ хлѣбомъ и солью, и называлъ батюшку своимъ другомъ задушевнымъ.

— Да это что, Дмитрій Афанасьичъ?.. Почему не быть пріятелемъ съ добрымъ человѣкомъ, хотя бы кто изъ роду его или даже онъ самъ служилъ въ стрѣлецкомъ войскѣ?.. А вотъ породниться съ нимъ—ну нѣтъ, любезный, это рѣчь другая! Дружба дружбой, а родство родствомъ. Да вотъ хоть, примѣромъ, ты, Дмитрій Афанасьичъ: вѣрный царскій слуга, удалой молодецъ, красавецъ, внукъ суздальскаго воеводы — кажись, кому бы ты не женихъ?.. Анъ нѣтъ!.. Дѣдушка у тебя былъ воеводою, да батюшка-то пошелъ охотою въ стрѣлецкіе головы, и самъ ты служишь въ стрѣльцахъ, такъ не прогнѣвайся!—никакой родословный человѣкъ, хотя бы вовсе безпомѣстный, такъ и тотъ не выдастъ за тебя своей дочери. Тебя-то самого и я бы не обраковалъ, любезный, — продолжалъ бояринъ привѣтливымъ голосомъ:—ты мнѣ крѣпко пришелъ по-сердцу!.. Давай намъ этакого роденьку!..

Милости просимъ!.. Для такого жениха ворота настежь!.. Только вотъ бѣда: ты самъ, Дмитрій Афанасьичъ, въ наши боярскія ворота пройдешь, да твой чинъ-то, вмѣстѣ съ тобою не пролѣзетъ!

— Что изволишь приказать, батюшка Юрій Максимовичъ?—спросилъ дворецкій, войдя въ комнату.

— А вотъ что, Кондратій, — сказалъ Куродавлевъ. — Видишь ты этого молодца? . Это дорогой мой гость, Дмитрій Афанасьичъ Левшинъ.

— Знаю, батюшка.

— Пока онъ станетъ у меня гостить, у васъ будетъ два барина—понимаешь?

— Понимаю, Юрій Максимовичъ.

— Что онъ прикажетъ, то я приказалъ—слышишь?

— Слышу, батюшка.

— Служитель его твой гость, Кондратій; смотри, чтобъ онъ былъ всѣмъ доволенъ. Коней отдай на руки Терешкѣ — скажи, чтобъ онъ ихъ холилъ и берегъ пуще своего глаза!.. Да вели баню истопить—слышишь?

— Слышу, батюшка.

— Теперь проводи Дмитрія Афанасьича въ его покои и принеси къ нему мой скарлатный ходильный зипунъ, голубой камчатный терликъ, да дымчатый опашень изъ зуфи. А ты, Дмитрій Афанасьичъ,—промолвилъ Куродавлевъ, обращаясь къ Левшину, — носи ихъ на здоровье!.. Да уговоръ лучше денегъ: коли хочешь потѣшить хозяина, такъ смотри, молодецъ, не гости, а живи у меня какъ въ своемъ дому, запросто, нараспашку!.. Ну, прощай покамѣстъ, любезный! ступай, отдохни немного. Чай, у тебя съ дороги-то всѣ косточки побаливаютъ; а вотъ погоди: какъ выпаришься хорошенько въ банѣ, такъ будешь завтра какъ встрепаный.

VI.

Спустясь внизъ по лѣстницѣ до нижняго жилья терема, Левшинъ вошелъ, вслѣдъ за дворецкимъ, въ *чистую* и веселую свѣтлицу, въ которой стояли: кро-

вать съ бѣлымъ пологомъ, столъ и нѣсколько стульевъ, обитыхъ казанской юфтью. За этой свѣтлицей была небольшая каморка для слуги, сѣни и выходъ на задній дворъ, который отдѣлялся отъ боярскаго огорода рѣшетчатымъ заборомъ.

— Ну, что, Дмитрій Афанасьичъ,—спросилъ Кондратій,—любы ли тебѣ эти покойчики?

— Чего жъ мнѣ лучше?—отвѣчалъ Левшинъ, — и видъ отсюда такой веселый.

— Да, батюшка, и озеро наше и село—все въ глазахъ. Да не угодно ли тебѣ, Дмитрій Афанасьичъ, выкушать чарку доброй настоечки и закусить чѣмъ-нибудь? Вѣдь боринъ изволитъ кушать не ранѣ полудень, такъ до обѣда-то еще не близко.

— Нѣтъ, любезный, не надо. Я раздѣнусь, да отдохну немного.

— Ну, какъ изволишь; а я сейчасъ принесу тебѣ платье съ боярскаго плеча. Коли не вовсе будетъ впору, такъ не осуди, Дмитрій Афанасьичъ, — не по тебѣ дѣлано.

Когда дворецкій вышелъ изъ свѣтлицы, Левшинъ скинулъ верхнее платье и сѣлъ возлѣ открытаго окна. Онъ смотрѣлъ съ любопытствомъ на обширный господскій дворъ, который представлялъ живую картину этого привольнаго житья нашихъ старинныхъ богатыхъ помѣщиковъ и беззаботнаго разгульнаго быта ихъ многочисленныхъ челядинцевъ. Разумѣется, эта роскошь старинныхъ бояръ не значила ничего передъ нынѣшнею утонченною европейскою роскошью; она почти всегда заключалась только въ различныхъ охотахъ, неисчерпаемомъ изобиліи первыхъ потребностей и забавахъ, не слишкомъ разборчивыхъ, но которыя однакожъ имѣли достоинство, весьма рѣдкое въ наше время. Эти забавы, несмотря на то, что доставались очень дешево, всегда достигали своей цѣли, то-есть забавляли; и если вѣрить преданьямъ старины, такъ наши предки никогда не разорялись для того, чтобы умирать отъ скуки. Впрочемъ, такъ и быть должно: ребенка тѣ-

шитъ и копѣечная игрушка, а мы ужъ люди взрослые, и если подъ-часъ тратимъ также деньги на игрушки, то, по крайней мѣрѣ, платимъ за нихъ очень дорого и вовсе ими не забавляемся.

Ясная и теплая погода выманила на дворъ всѣхъ боярскихъ челядинцевъ. Въ одномъ углу молодые ребята играли въ городки; подлѣ нихъ человѣкъ пять тѣшилось въ свайку. Тамъ дворовыя женщины кормили русскихъ куръ и заморскихъ *цесарокъ;* тутъ мальчики дразнили задорнаго козла, который, гоняясь за ними, дѣлалъ предиковинные скачки; съ полдюжины павъ чинно прогуливались по двору, а два павлина, распустивъ колесомъ свои радужные хвосты, сидѣли на заборѣ, вдоль котораго, какъ важный бояринъ, медленно и гордо похаживалъ долгоногій журавль; кругомъ высокаго столба съ лежачимъ колесомъ толпилось человѣкъ двадцать холопей. Сначала Левшинъ не могъ разсмотрѣть, чѣмъ забавлялась эта господская челядь. Онъ слышалъ только отъ времени-до-времени смѣхъ и громкія восклицанія; но вотъ толпа разступилась, и онъ увидѣлъ потѣху, отъ которой въ первую минуту сердце его замерло отъ ужаса: широкоплечій, презимистый дѣтина боролся въ *охабку* съ медвѣдемъ. Крѣпко прижавъ этого смѣльчака къ мохнатой груди своей, медвѣдь ревѣлъ ужаснымъ образомъ и силился подмять его подъ себя. Но, видно, этотъ борецъ былъ самъ медвѣжьей породы: онъ стоялъ крѣпко на ногахъ и, казалось, не старался даже воспользоваться неповоротливостью своего соперника, а хотѣлъ взять просто на силу. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ, ему удалось какъ-то сломить медвѣдя и повалить его на спину; разумѣется, они упали вмѣстѣ.

— Ай да молодецъ! — закричали холопи. — Что, братъ, Мишка, видно, нашелъ по себѣ!.. Ну, любезный, смотри! онъ теперь отъ тебя не отвяжется.

И подлинно, обиженный Мишка не вдругъ разстался съ своимъ побѣдителемъ. Съ полминуты валялись *они оба,* и медвѣдь и человѣкъ, въ грязной лужѣ,

которая, послѣ проливного дождя, не совсѣмъ еще высохла. Наконецъ медвѣдь выбился изъ силъ, а человѣкъ, высвободясь изъ его объятія, всталъ и началъ оправляться.

— Что это?—молвилъ про себя Левшинъ.—Да это никакъ Ферапонтъ?.. Ну, такъ и есть!.. Эй, Ферапонтъ!—закричалъ онъ, высунясь въ окно.

Черезъ минуту явился передъ нимъ не лаврами увѣнчанный, но запачканный грязью побѣдитель медвѣдя.

— Что это, Ферапонтъ, въ умѣ ли ты? — сказалъ Левшинъ.—Вотъ нашелъ забаву — бороться съ медвѣдемъ!.. Ну, долго ли до грѣха?..

— Ничего, батюшка, ничего! — отвѣчалъ Ферапонтъ, обтирая рукавомъ свое покрытое потомъ и разгорѣвшееся лицо. — Медвѣдь ручной; съ нимъ вся здѣшняя дворня борется.

— Посмотри-ка на себя: какъ чортъ изъ болота вылѣзъ — весь въ грязи!.. Стыдно, Ферапонтъ!.. Мы люди пріѣзжіе...

— Да такъ, Дмитрій Афанасьичъ, за споромъ дѣло стало. Вотъ какъ ты, батюшка, пошелъ къ боярину, у меня тотчасъ отобрали коней, а самого повели въ застольную, начали завтракомъ угощать, винца поднесли...

— То-то и есть! Я вижу, ты ужъ хлебнулъ...

— Что, батюшка!.. Ну, выпилъ стаканчикъ, закусилъ пирогомъ, а тамъ на пирогъ еще хватилъ чарочку—вотъ и все!.. Ты бы посмотрѣлъ, какъ пьютъ здѣшніе холопи!.. Одинъ при мнѣ тяпнулъ такой стаканище — право, съ пол-осьмухи будетъ, а ни въ одномъ глазѣ: словно бражки выпилъ. И то сказать—втянулись, батюшка: вино-то не покупное—пей, сколько хочешь!.. Говорятъ, и боярин-то самъ гуляка, такъ диво ли, что его челядинцы стаканчика придерживаются!.. Не даромъ ведется пословица: «игуменья за чарку, а сестры за ковши».

— Ну, пригожее ли дѣло, Ферапонтъ: насъ здѣсь приняли какъ родныхъ, а ты какія рѣчи говоришь?

— Да я вѣдь, батюшка, не то говорю, чтобъ здѣшній боярин или холопи его были пьяницы — сохрани Господи!.. Что за бѣда, коли человѣкъ пьетъ вино? лишь бы разумъ не терялъ! Вѣдь кто пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ!

— Полно вздоръ-то говорить!

— Слушаю, батюшка, слушаю!.. Ну вотъ, изволишь видѣть: какъ я позавтракалъ, да познакомился съ здѣшними холопьями, такъ мы отъ бездѣлья начали силку пытать. Выставили противъ меня трехъ молодцовъ, выше тебя ростомъ; я грохнулъ оземь одного, другого, а третьему-то никакъ и ногу повихнулъ. Вотъ любимый боярскій шутъ, Тришка, по прозванью Пузырь—такой уродина, что и сказать нельзя!.. А рожато какая!.. Ну, повѣришь ли, батюшка, я этакой образины сродясь не видывалъ; а какъ начнетъ говорить— голосъ-то у него съ хрипомъ, да съ присвистомъ— ну такъ и умрешь со смѣху!.. Вотъ Тришка-то Пузырь и молвилъ мнѣ: «поди-ка, братъ, да побори нашего медвѣдя; такъ ужъ будешь молодцомъ». Къ нему пристали другіе, а пуще всѣхъ старшій боярскій конюхъ — Терентьемъ зовутъ—такъ меня и подзадориваетъ... «Ни за что, дескать, не поборешь — нашъ Мишка тебя въ грязь втопчетъ». Фу, досадно стало!.. А мнѣ вѣдь, батюшка, не впервые; у покойнаго твоего батюшки былъ также ручной медвѣдь—такой задорный бороться; бывало не отвяжешься. Слово-за-слово, — заспорили. Я пошелъ, схватился съ Мишкою, да и сломалъ его. Только и онъ, проклятый, помялъ меня порядкомъ такая здоровая скотина.

— Вотъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ дворецкій Кондратій, входя въ свѣтлицу, — боярин прислалъ къ тебѣ свой скарлатный зипунъ. Онъ и трехъ разовъ не изволилъ его надѣвать... А этотъ камчатный терликъ, кажись, еще не обновленъ, опашень также вовсе новехонекъ. Просимъ, батюшка, принять и носить на здоровье. Да пожалуй въ столовую *палату: боярин*, чай, ужъ вышелъ.

Когда дворецкій ушелъ, Левшинъ надѣлъ на себя скарлатный зипунъ.

— Вотъ одежа-то знатная! — сказалъ, Ферапонтъ, любуясь своимъ бариномъ.—Ну, ужъ подлинно боярскій нарядъ!.. Маленько не по тебѣ... да пошире-то лучше, Дмитрій Афанасьичъ!.. То ли дѣло, какъ одежа съ запасцемъ: похудѣешь—ничего; раздобрѣешь—также не бѣда: все впору!

Левшинъ нашелъ въ столовой комнатѣ, той самой, въ которой онъ любовался узорчатой скатертью, боярина, приходскаго священника и человѣкъ десять *очередныхъ* холопей, изъ которыхъ каждый смотрѣлъ въ глаза Юрію Максимовичу, ожидая его приказаній. Въ одномъ углу, на низенькой скамеечкѣ, сидѣлъ безобразный мужикъ, небольшого роста, толстый, неуклюжій, съ коротѣкими кривыми ногами и огромной головою. Передъ нимъ стояла на полу большая деревянная чашка, а рядомъ съ ней другая поменьше, подлѣ которой лежала огромная борзая собака, любимый волкодавъ боярина. Толстый безобразный мужикъ былъ тотъ самый шутъ Тришка Пузырь, о которомъ Ферапонтъ говорилъ уже Левшину. Въ старину рѣдкій боринъ не держалъ при себѣ нѣсколькихъ шутовъ: одни изъ нихъ были просто дураки или полоумные, а другіе занимались этимъ ремесломъ по собственной охотѣ или, лучше сказать, по разсчету. Съ ними шутили иногда безчеловѣчнымъ образомъ: ихъ дразнили, мучили и, ради господской потѣхи, стравливали межъ собою какъ собакъ; но зато сытно кормили, поили виномъ и не заставляли ничего дѣлать. Были еще и другіе боярскіе *смѣхотворы*, которые хотя ничѣмъ не отличались отъ прочихъ слугъ, однакожъ балагурили, подшучивали и умѣли разсказывать сказки съ разными прибаутками, не всегда остроумными; да вѣдь наши предки, не такъ, какъ мы, за умомъ не очень гонялись. Къ этому послѣднему разряду можно отнести и неутомимыхъ плясуновъ, которые по цѣлымъ часамъ разстилались въ присядку, гудочниковъ, балалаечниковъ, удалыхъ запѣвалъ и раз-

ныхъ другихъ доморощеныхъ гаеровъ и скомороховъ, которыми въ старину набиты были дома всѣхъ богатыхъ людей.

— Милости просимъ!—сказалъ Куродавлевъ, встрѣчая ласковой улыбкою своего гостя.—Коли пьешь водочку, такъ прошу покорно!

Одинъ изъ слугъ подалъ Левшину, на серебряномъ подносѣ, золотую чарку, другой налилъ въ нее изъ штофа водки, и оба низко поклонились гостю. Левшинъ отказался.

— Ну, коли не пьешь водки, молодецъ, — сказалъ боярин, — такъ мы почнемъ съ тобой завѣтный боченочекъ фряжскаго. Мнѣ прислалъ его прошлаго мѣсяца Кирилла Андреевичъ. Больно хвалитъ: оно, дескать, идетъ изъ Угорской земли, и хоть сладенько, а забористо, и нашимъ оржанымъ хлѣбцемъ попахиваетъ. Ну, отецъ Егоръ, благослови трапезу!..

Священникъ прочелъ молитву. Боринъ сѣлъ за столъ и посадилъ подлѣ себя съ правой стороны Левшина, а съ лѣвой отца Егора. Первое самое блюдо былъ огромный студень; потомъ начали подавать похлебки, а тамъ блюдо пирожковъ подовыхъ на торговое дѣло, сырники и пирогъ разсольный. Сначала боринъ Куродавлевъ вовсе не походилъ на радушнаго хозяина, который славился своимъ хлѣбосольствомъ и веселымъ обычаемъ. Онъ сидѣлъ, насупивъ брови, ѣлъ очень мало и не посылалъ *подачекъ* ни шуту Тришкѣ, ни любимой своей борзой собакѣ, которые, какъ голодные волки, посматривали исподлобья на сытный столъ своего боярина. Изрѣдка только Куродавлевъ потчевалъ своихъ гостей и приглашалъ ихъ допивать стаканы, въ которые безпрестанно подливали шипучій медъ. Вотъ ужъ дѣло доходило до жаркихъ, а боринъ все не начиналъ бесѣды и хмурился часъ-отъ-часу болѣе.

— Нѣтъ! — промолвилъ онъ наконецъ, — и ѣда на умъ нейдетъ!—Ну, Дмитрій Афанасьичъ, привезъ ты *мнѣ* вѣсточку! Подумаешь, когда это бывало, чтобъ за

воровское измѣнничье дѣло по головѣ гладили?.. Да этакъ всѣмъ ворамъ и крамольникамъ такую дашь повадку, что и житья-то въ Москвѣ не будетъ!.. Кто и говоритъ: государь Петръ Алексѣевичъ еще молоденекъ, гдѣ ему справиться съ этими разбойниками; да бояре-то чего смотрѣли?.. Иль они опять принялись за прежнее, какъ при царѣ Василіи Іоанновичѣ, — заводить всякія смуты, измѣны и предательства, да подъ шумокъ въ мутной водѣ рыбу удить!.. Эхъ, кабы воля да воля, такъ я бы сегодня же покатилъ въ Москву!

— Да развѣ ты, Юрій Максимовичъ, не воленъ ѣхать въ Москву?—спросилъ Левшинъ.

— Воленъ-то воленъ: я вѣдь не опальный какой, а все-таки безъ царскаго указа не поѣду.

— Не прогнѣвайся, бояринъ, коли я тебя спрошу: зачѣмъ же тебѣ царскій указъ, коли ты не подъ опалою и воленъ ѣхать, куда хочешь?

— Затѣмъ, Дмитрій Афанасьичъ, чтобъ не попятиться. Коли я при царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ былъ обиженъ, такъ что за слѣдъ ѣхать теперь безъ царскаго указа въ Москву? Пожалуй, еще скажутъ: «вотъ-де пріѣхалъ бояринъ Куродавлевъ съ повинной головою!»

— А дозволь спросить, Юрій Максимовичъ, чтожъ это за случай такой былъ?

— Да такой-то случай, что не приведи Господи!— прервалъ Куродавлевъ, и глаза его заблистали. — Хотѣли учинить смертную обиду, поруху всему роду нашему, безчестіе и позоръ на вѣки вѣковъ!.. Да вотъ я тебѣ все перескажу, Дмитрій Афанасьичъ,—продолжалъ бояринъ, махнувъ рукою, чтобъ ему не подавали жаренаго гуся. Въ первый годъ царствованія государя Ѳеодора Алексѣевича, наканунѣ Вербнаго воскресенья, прислали ко мнѣ отъ разряда поддьяковъ Ваську Мясникова да Ваську Буслаева, со сказкою: «быть, дескать, боярину Юрію Куродавлеву на Вербное воскресенье вверху у царскаго стола, — а столъ-де будетъ безъ мѣстъ. А за столомъ-де будетъ князь Дмитрій

Трубецкой, Ѳедоръ Бутурлинъ, князь Григорій Пронскій и ты, боярин Юрій Куродавлевъ». Какъ такъ?..— подумалъ я.—Неужли я въ послѣднихъ?.. Да вѣдь мнѣ вовсе не приходится сидѣть подъ княземъ Григорьемъ Пронскимъ... Мы, Куродавлевы, также ведемъ свой родъ отъ князя Святослава, что сидѣлъ на Пронѣ. У князя Юрія Пронскаго было четыре сына: князь Ѳедоръ Рыба, да князь Иванъ Баранья Голова, да князь Юрій Куродавъ, да меньшой князь Дмитрій безъ прозвища; отъ князя Юрія пошли Куродавлевы, а отъ князя Дмитрія теперешніе Пронскіе — такъ я нетокма по службѣ дѣда и прадѣда, да и по роду-то старше его... Вотъ я съ тѣми же поддьяками и ударилъ челомъ Ѳеодору Алексѣевичу: что мнѣ князя Григорія Пронскаго меньше быть невмѣстно. «А мы, дескать, государь, холопи твои Куродавлевы, кому въ версту, тому въ версту, а кто насъ меньше, тотъ меньше, и не которымъ дѣломъ не мочно тому быть больше насъ». Гляжу, этакъ часика черезъ два—шасть ко мнѣ на дворъ разрядный дьякъ Иванъ Улановъ... Милости просимъ!.. «Указъ, дескать, тебѣ, боярину Юрію Куродавлеву, отъ великаго государя идти заутре безотмѣнно въ верхъ и мѣстами не считаться. Велѣно быть безъ мѣстъ, такъ и порухи большимъ родомъ твоему отечеству въ томъ не будетъ. А ты бы государя не кручинилъ и садился бы въ столъ подъ княземъ Григорьемъ Пронскимъ». Вотъ я опять ударилъ челомъ: «Лучше бы, дескать, государь, ты меня, холопа своего, велѣлъ казнить смертію, а меньше князя Григорія быть не велѣлъ... Да мнѣ же, дескать, государь, за хворостію и недугомъ ни которыми мѣрами въ городъ ѣхать не мочно». Жду, пожду — отвѣта нѣтъ. Ну, думаю, видно, царь-государь взмиловался! На другой день, послѣ ранней обѣдни, пріѣхалъ ко мнѣ Кирилла Андреевичъ Буйносовъ и говоритъ: «Велѣно, братъ, тебя, коли ты станешь упорствовать и отговариваться хворостію, привезти неволею къ Красному крыльцу въ простой телѣгѣ, на одной лошади»..

«Такъ чтожъ?—сказалъ я,—въ этомъ никакой порухи роду моему не будетъ: не я поѣду, а меня повезутъ...» «Послушай, Юрій, — учалъ опять говорить Кирилла Андреевичъ, — не гнѣви государя!.. Неровенъ часъ!.. Смотри, чтобы тебѣ не быть разорену и сосланну!» «Въ разоренье и ссылкѣ воленъ Богъ да государь, — молвилъ я,—а ужъ меньше Гришки Пронскаго мнѣ не бывать!..» «Эй, полно, Юрій Максимовичъ!.. Ну, коли грѣхомъ Государь прогнѣвается не путемъ, да за твое непослушаніе укажетъ тебя высѣчь въ подклѣти батогами?» Такъ чтожъ? Власть его царская: что хочетъ, то и дѣлаетъ, а ужъ я своей волею ниже Гришки Пронскаго ни за что не сяду!» Вотъ этакъ, около полуденъ, пріѣхалъ ко мнѣ разрядный дьякъ Кобяковъ, а съ нимъ двое поддьяковъ. Какъ я сказалъ, такъ и сдѣлалъ: самъ не пошелъ изъ дому, а вывели меня подъ руки, посадили въ телѣгу и привезли къ Красному крыльцу. Какъ меня вынули изъ телѣги, я тутъ же на первой ступенькѣ легъ, да и лежу: «отнялись, дескать, вовсе ноги—нейдутъ!» Дѣлать-то нечего! кликнули народу, внесли меня на крыльцо, а тамъ въ столовую палату и посадили неволею за столъ рука-объ-руку съ Пронскимъ. Лишь только меня покинули, я тотчасъ со скамьи, да и брякъ о земь!.. Пускай же лежу подъ лавкою, а не похваляться вору Гришкѣ, что я сидѣлъ за царскимъ столомъ ниже его!.. Велѣно меня поднять, посадить опять силою на скамью и во весь столъ держать подъ руки двумъ разрядным дьякамъ... Пожалуй себѣ!.. Это воля царская, лишь только бы моей-то воли не было!.. Послѣ стола приказано мнѣ идти домой... Ну вотъ, думаю, отдѣлался!.. Такъ нѣтъ!.. Мошенникъ Гришка ударилъ на меня въ безчестьи челомъ царю-государю!.. Этакъ дня черезъ два, въ обѣденную пору, пожаловалъ ко мнѣ опять разрядный дьякъ Иванъ Улановъ и съ нимъ два пристава. Дьякъ объявилъ мнѣ государевъ указъ, что велѣно меня выдать головою князю Григорію Пронскому... Что будешь дѣлать, воля царская!.. Повели

меня, добраго молодца, пѣшечкомъ, черезъ весь Китай-городъ на Лубянку, гдѣ у Пронскаго свой домишка; народъ останавливается, всѣ смотрятъ, какъ ведутъ меня подъ руки, словно колодника — за карауломъ!.. Пришли!.. Ввели меня на дворъ, поставили на нижнее крылечко и послали доложить хозяину. Пронскій поломался, повыдержалъ меня съ полчасика на крыльцѣ; гляжу — идетъ!.. Такой радостный, ухмыляется! Погоди, мошенникъ Гришка! — думаю я про себя; будетъ и тебѣ тошно!.. Дьякъ Улановъ учалъ ему рѣчь говорить: «Великій-де государь указалъ и бояре приговорили боярина Юрія Куродавлева за то, что онъ не хотѣлъ быть вмѣстѣ съ тобою у царскаго стола, выдать тебѣ за такое боярское безчестье его, Куродавлева, головою». Пока дьякъ Улановъ объявлялъ царскій указъ, я стоялъ какъ вкопанный, ни словечка!.. а какъ онъ свою рѣчь кончилъ, такъ я молвилъ про себя: «Слава тебѣ Господи—вытерпѣлъ!.. Ну, теперь, Гришка держись!..» А онъ передъ дьякомъ такъ и разсыпается!.. «Я, дескать, на царскомъ жалованьи бью челомъ и земно кланяюсь за его государевъ великій оборонъ. А тебя, Юрій Максимовичъ,—промолвилъ онъ,—прошу отвѣдать моего хлѣба-соли».

— Спасибо на твоемъ хлѣбѣ! пусть имъ давится кто хочетъ!—сказалъ я, да и пошелъ его позорить!.. Ужъ маялъ, маялъ!.. Всю подноготную высказалъ: какъ прадѣдушка его былъ въ Зарайскѣ губнымъ старостою, какъ его высѣкли плетьми и сослали въ Березовъ за то, что онъ мирволилъ ворамъ и разбойникамъ; какъ дѣдушка при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ наушничалъ и былъ на побѣгушкахъ у думнаго дьяка Щелкалова, а дядюшка, князь Петръ, при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, измѣнилъ подъ Вязьмою, и какъ его за эту измѣну били кнутомъ... Все вычелъ до тла!.. А тамъ надѣлъ шапку, да и со двора. Въ тотъ же самый день я ударилъ челомъ государю, чтобъ онъ дозволилъ мнѣ, по хворости и ради моихъ домашнихъ дѣлишекъ, ѣхать *на житье* въ Мещовскую вотчину, а государь изво-

лилъ сказать: «Пусть, дескать, ѣдетъ куда хочетъ». Вотъ я пріѣхалъ сюда и живу себѣ,—не то что подъ опалою, не то что въ милости, а такъ, ни то, ни се!.. Ну, Дмитрій Афанасьичъ, видишь ли теперь, что мнѣ вовсе не слѣдъ ѣхать въ Москву безъ царскаго указа?

— Вѣстимо, Юрій Максимовичъ, — сказалъ Левшинъ,—коли не хочешь, такъ зачѣмъ ѣхать. А дозволь мнѣ спросить тебя, — продолжалъ онъ,—я что-то въ толкъ не возьму: какъ могъ ты позорить князя Пронскаго? Вѣдь не онъ тебѣ, а ты ему былъ выданъ головою.

— Въ томъ-то и дѣло, любезный!.. Иль ты не знаешь, что тотъ бояринъ воленъ того боярина, которому онъ выданъ головою, лаять и безчестить всякою бранью, а тотъ ему, за его злыя слова, ничего чинить не смѣетъ; а кто бы надъ такимъ выданнымъ человѣкомъ за его брань учинилъ какое убойство или безчестіе, тому бы самому указъ былъ противъ того вдвое, за тѣмъ, что онъ безчеститъ не того, кто выданъ ему головою, а того, кто прислалъ его, сирѣчь самого царя.

— Вотъ что!.. Ну, этого я не зналъ, Юрій Максимовичъ.

— Да мало ли вы чего не знаете?.. И гдѣ безроднымъ стрѣльцамъ знать наши боярскія родословныя дѣла. Вѣдь разрядныя-то книги не про нихъ написаны. У васъ какія мѣста?.. Посмотришь, у иного стрѣлецкаго головы батюшка былъ поддьякомъ, а дѣдушка земскимъ ярыжкою; а кто былъ его прадѣдъ, такъ онъ и самъ этого не знаетъ... Да что объ этомъ толковать!.. Выпьемъ-ка лучше угорскаго, что рѣшотнымъ-то хлѣбцомъ попахиваетъ!.. Тебя, отецъ Егоръ,—промолвилъ Курodавлевъ шутя,—я имъ потчевать не стану: идетъ оно изъ еретичной земли, а ты особа духовная, такъ тебѣ не слѣдъ его пить, выкушай лучше вишневки; я и самъ пью это заморское вино—такъ! ради прихоти. То-ли дѣло наша православная наливочка!.. Эй, подавайте кубки!

Хозяину и гостямъ подали небольшіе серебряные кубки, немного поболѣе нынѣшнихъ хрустальныхъ бокаловъ. Куродавлеву и Левшину налили въ нихъ венгерскаго, а отцу Егору вишневки. Хозяинъ всталъ; гости, разумѣется, послѣдовали его примѣру. Держа въ рукѣ кубокъ, бояринъ отошелъ на средину комнаты и сказалъ:—За здравіе и благополучное царствіе великаго государя...

— Великихъ государей нашихъ!—прошепталъ священникъ.

— Охъ, не могу привыкнуть!—сказалъ бояринъ.—Ну, дѣлать нечего: за здравіе великихъ государей нашихъ: Петра Алексѣевича...

— Іоанна Алексѣевича!—прервалъ опять священникъ.

— Эхъ, полно, отецъ Егоръ! — вскричалъ съ нетерпѣньемъ Куродавлевъ.—Вѣдь это не эктинья!.. Ну, инь просто: за здравіе великихъ нашихъ государей и всего царскаго рода!.. Да дай Господи батюшкѣ нашему, Петру Алексѣевичу, скорѣй подрасти и прибрать къ рукамъ всѣхъ крамольниковъ, зачинщиковъ всякихъ смутъ; да и тѣхъ, — промолвилъ вполголоса бояринъ,—которые исподтишка имъ мирволятъ!

Когда хозяинъ и гости осушили до дна свои кубки, Куродавлевъ приказалъ ихъ снова наполнить и предложилъ выпить за здравіе святѣйшаго патріарха, потомъ за благоденствіе всего царства русскаго, а тамъ за здравіе Кириллы Андреевича Буйносова. Одинъ заздравный кубокъ смѣнялся другимъ—и вотъ къ концу стола—грѣшно сказать, чтобъ хозяинъ подгулялъ, однакожъ порядкомъ раскраснѣлся, и гости стали также поразговорчивѣе и веселѣе.

— Эге!—молвилъ бояринъ.—Да я никакъ Тришку и Буяна вовсе забылъ. Что, Пузырь, хочешь ѣсть?

Тришка покосился исподлобья на своего барина и прохрипѣлъ:

— Нѣтъ, не хочу. Зачѣмъ мнѣ ѣсть? Я вѣдь и *такъ* проживу.

— А что и въ самомъ дѣлѣ,—прервалъ Куродавлевъ, — на что тебѣ, Тришка, ѣсть? Жилъ бы себѣ такъ—не ѣвши!.. Сбирайте со стола!

— Постой, постой! что вы? — закричалъ шутъ.— Ахъ ты, глупая голова! да чтожъ я дѣлать-то буду, коли ѣсть не стану?

— Правда, правда! Эй! отнесите имъ этого поросенка!.. Да смотри, Пузырь, не задѣли Буяна.

Вѣроятно и голодная собака опасалась того же, потому что, не дожидаясь раздѣла, схватила на лету жаренаго поросенка, когда его подали Тришкѣ, и кинулась вонъ изъ комнаты.

— Ай да Буянъ!—промолвилъ съ громкимъ хохотомъ Куродавлевъ.—Что, братъ Тришка, прозѣвалъ?.. А поросенокъ-то былъ какой!

— Ну, что ты зубы-то скалишь, жидъ этакій—заревѣлъ Тришка.—Тебѣ хорошо: вишь, разъѣлся, какъ быкъ,—раздуло бы тебя горой!.. Уродина этакій!..

— Ну, ну, не гнѣвайся!—прервалъ бояринъ, умирая со смѣху.—Дайте ему вотъ эту утку съ груздями... Да смотри, Пузырь, коли ты всю ее не съѣшь, такъ я тебя двое сутокъ кормить не велю.

— Небось, Максимычъ!—закричалъ Тришка, схвативъ съ жадностью утку.—Небось! Я тебѣ да Буяну однѣ косточки оставлю.

Шутъ принялся убирать утку, ворча и передразнивая всѣ пріемы голодной собаки, которая гложетъ кость; а бояринъ, помолчавъ нѣсколько времени, обратился къ священнику и сказалъ:

— Знаешь ли, батька, какіе слухи идутъ о новомъ мещовскомъ воеводѣ?.. Говорятъ, будто бы онъ раскольникъ.

— И я слышалъ объ этомъ, Юрій Максимовичъ,— отвѣчалъ отецъ Егоръ.—Мнѣ разсказывалъ мещовскій соборный псаломщикъ, что ихъ новый воевода хотя и бываетъ по праздникамъ въ соборѣ, да во всю службу ни разу лба не перекреститъ, къ святымъ иконамъ не прикладывается, и лишь только іерей возгласитъ: «бла-

гословеніе Господне на васъ» — такъ онъ тотчасъ и вонъ изъ церкви. Видно за тѣмъ, чтобъ къ кресту не подходить.

— Ахъ, онъ еретикъ проклятый!.. Да прахъ его возьми!.. Ну-ка, Дмитрій Афанасьичъ,—выпьемъ еще по послѣднему!.. За чье бы здоровье?.. Э!.. да вѣдь ты человѣкъ молодой—жилъ всегда въ Москвѣ, а тамъ красавицъ-то не перечтешь, — что звѣзды на небѣ!. Ужъ вѣрно и у тебя, добрый молодецъ, есть зазнобушка... Да полно, Дмитрій Афанасьичъ, не краснѣй!.. Ты человѣкъ холостой, въ годахъ, такъ какъ же тебѣ не смышлять о невѣстѣ?.. Ну, выпьемъ за ея здоровье!.. А какъ бишь ее зовутъ!.. Что, братъ, молчишь!.. Ну, коли не хочешь сказать, такъ выпьемъ просто за здравіе твоей суженой!..

Опорожнивъ послѣдній кубокъ, боярин оборотилъ его вверхъ дномъ и поставилъ къ себѣ на голову, въ доказательство того, что въ немъ не осталось ни капельки. Всѣ поднялись изъ-за стола. Священникъ прочелъ опять молитву; потомъ, поблагодаривъ хозяина за хлѣбъ за соль и благословя его и Левшина, отправился домой. Куродавлевъ, по тогдашнему русскому обычаю, собрался отдохнуть, а Левшинъ пошелъ въ свою свѣтлицу, и хотя не имѣлъ привычки спать каждый день послѣ обѣда, но, утомясь отъ скорой ѣзды и проведенной безъ сна ночи, послѣдовалъ охотно примѣру своего хозяина.

VII.

Левшинъ проспалъ бы до самаго вечера, еслибъ его не разбудилъ Ферапонтъ.

— Пора вставать, Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ онъ, толкнувъ подъ-бокъ своего барина.—Посмотри-ка въ окно: ужъ солнышко-то на закатѣ.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ? — промолвилъ Левшинъ, вскочивъ съ постели и протирая глаза.

— *Право слово* такъ!.. Ну, батюшка,—продолжалъ

Ферапонтъ, надѣвая на Левшина зипунъ, въ которомъ онъ былъ за обѣдомъ:—коли тебя такъ же угостили, какъ меня, такъ я тебѣ скажу!.. Вотъ ужъ подлинно разливное море!.. По стакану вина, по ковшу браги, щи богатыя, каша съ масломъ, пироги съ мясной начинкою... Эко житье, подумаешь, здѣшнимъ холопямъ!.. Дѣла почитай никакого, пей себѣ вволю, ѣшь до отвала и спи, сколько хочешь!.. Да ужъ зато, Дмитрій Афанасьичъ, и они всѣ до единаго лягутъ головами за своего боярина. Зыкни только онъ, батюшка, такъ каждый на рогатину полѣзетъ!.. Ну, дай Господи намъ подольше здѣсь погостить!.. Такъ отъѣдимся, Дмитрій Афанасьичъ!..

— Эхъ, полно, Ферапонтъ! ты только объ ѣдѣ и думаешь.

— А чтожъ, батюшка?.. Ѣда дѣло доброе. По милости твоей я всѣмъ доволенъ: служба моя льготная, жены и дѣтей нѣтъ, такъ о чемъ же думать?.. Коли тебя и въ будни кормятъ пирогами, такъ и ѣшь себѣ на здоровье пироги, а объ завтрашнемъ днѣ не загадывай!.. Придетъ нужда, сама скажется. По мнѣ вотъ какъ, Дмитрій Афанасьичъ: привелъ Богъ пожить въ довольствѣ, такъ ѣшь, пей и гуляй себѣ, добрый молодецъ; пришла нужда — не горюй, — воля Божья!.. Русскій человѣкъ всегда такъ: коли есть что въ печи, все на столъ мечи! а коли нѣтъ, такъ и на томъ спасибо! Выпилъ водицы, закусилъ сухарикомъ, да и слава тебѣ Господи!

— Не прогнѣвайся, господинъ честной, — сказалъ дворецкій Кондратій, входя въ комнату, — что осмѣлился къ тебѣ придти за моимъ собственнымъ дѣломъ!

— Милости просимъ! — отвѣчалъ Левшинъ. — Что тебѣ надобно, любезный?

— А вотъ что, Дмитрій Афанасьичъ! Мы вѣдь здѣсь въ глуши ничего не знаемъ, что дѣлается въ престольномъ градѣ, въ нашей матушкѣ, богоспасаемой Москвѣ... Вотъ мы здѣсь недавно цѣловали крестъ одному царю-государю Петру Алексѣевичу, а тамъ

наслали указъ, чтобъ цѣловать крестъ и братцу его, Іоанну Алексѣевичу. Да еще же поговариваютъ, что врядъ ли мы не будемъ цѣловать креста и старшей ихъ сестрицѣ, царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ. Чтожъ это такое, батюшка!.. Я пришелъ ударить челомъ твоей милости, чтобъ ты разсказалъ мнѣ, что у васъ въ Москвѣ-то понадѣлалось. Говорятъ, будто-бы стрѣлецкое войско вовсе вышло изъ послушанія, и были великія смуты и мятежи. Правда ли все это?

Левшинъ разсказалъ въ короткихъ словахъ Кондратью о всѣхъ злодѣйствахъ мятежныхъ стрѣльцовъ, объ ихъ измѣнѣ, неслыханномъ буйствѣ и посрамленіи святыни въ лицѣ первыхъ сановниковъ церковныхъ и самого святѣйшаго патріарха. Когда Левшинъ кончилъ свой разсказъ, старикъ дворецкій, человѣкъ грамотный и усердный поборникъ православія, принялся такъ же, какъ боярынъ Куродавлевъ, осыпать ругательствами сослуживцевъ Левшина, съ тою только разницею, что тотъ вовсе не церемонился и позорилъ ихъ всѣхъ, не думая о томъ, что его слушаетъ стрѣлецкій сотникъ. Кондратій, напротивъ, при каждомъ новомъ ругательствѣ низко кланялся, говоря: «Не погнѣвайся, батюшка!.. Не осуди меня, старика, за правду!.. Не при тебѣ будь слово сказано!» Болѣе всего Кондратій досадовалъ на стрѣльцовъ за то, что они почти всѣ были преданы расколу. — Чего ждать путнаго отъ этихъ еретиковъ!—говорилъ онъ.—Вотъ и здѣсь, Дмитрій Афанасьичъ, того и гляди, что будетъ бѣда. Засѣло ихъ въ здѣшнихъ лѣсахъ видимо-невидимо! Еще хорошо, что у нихъ завелись разные толки и нѣтъ согласія межъ собою, а то бы они всю здѣшнюю сторону заполонили. У нихъ же есть и коноводъ, какой-то книжный человѣкъ, Андрей Поморянинъ, о которомъ и Богъ вѣсть что разсказываютъ. Кто онъ таковъ, никто не знаетъ, а такую силу взялъ надъ своей братьей, раскольниками, что и сказать нельзя!.. Прежній мещовскій воевода хотѣлъ было *унять здѣшнихъ* еретиковъ: перепись началъ имъ дѣ-

лать, бѣглыхъ ловить, да зато не долго и усидѣлъ на воеводствѣ. Теперь въ Мещовскѣ воеводою Ѳедоръ Степановичъ Токмачевъ — такой же еретикъ, какъ и Андрей Поморянинъ, съ которымъ онъ живетъ душа въ душу. Поговариваютъ также, что будто бы этотъ Поморянинъ выдаетъ за новаго-то мещовскаго воеводу свою родную дочь.

Левшинъ поблѣднѣлъ.

— Мнѣ это сказывалъ — продолжалъ дворецкій— мой кумъ, Тихонъ Фадѣичъ Масѣевъ, мещовскій купецъ, у котораго я останавливаюсь, а ему объ этомъ самъ воевода говорилъ: «ты, дескать, Фадѣичъ, добудь мнѣ изъ Москвы жемчужныя рясны, да запястья съ камушками: невѣсту хочу дарить. Я, дескать, вдовецъ, борода у меня съ просѣдью, а она дѣвка молодая, такъ надо чѣмъ-нибудь ей угодить».

— И онъ сказалъ Масѣеву, что женится на дочери Андрея Поморянина? — прервалъ съ живостію Левшинъ.

— Нѣтъ, батюшка, да Фадѣичъ-то смекаетъ, что должно быть такъ. Недаромъ, дескать, по всему городу объ этомъ слухи идутъ, не даромъ и раскольники, которые живутъ въ Мещовскѣ, зазнались такъ, что къ нимъ и приступу нѣтъ. При прежнемъ воеводѣ — говоритъ кумъ — бывало въ крестовые ходы они, окаянные, сидятъ по домамъ, а теперь такъ вовсе не прячутся: стоятъ себѣ на улицѣ, да зубы скалятъ!.. Мы, православные, когда духовенство проходитъ съ хоругвями и святыми иконами, молимся и кладемъ земные поклоны, а они, проклятые, и шапокъ не ломаютъ!.. Вотъ, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, до чего мы дожили!.. Э! да какъ я заговорился съ твоею милостью: вонъ и солнышко-то гдѣ!.. А у меня дѣла съ три пропасти!.. Прощенья просимъ, Дмитрій Афанасьичъ! Благодарствую тебѣ, батюшка, что ты не погнушался мною, старикомъ, и изволилъ со мною побесѣдовать! Дай Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать.

— Ты слышалъ, Ферапонтъ? — промолвилъ Левшинъ, когда дворецкій вышелъ изъ свѣтлицы.

— Слышалъ, Дмитрій Афанасьичъ.

— Ну, не правду ли я говорилъ, что Господь не судилъ мнѣ быть счастливымъ?

— Эхъ, батюшка, охота же тебѣ всему вѣрить!.. Да мало ли что отъ бездѣлья болтаютъ?.. У мещовскаго воеводы часто бываетъ Андрей Поморянинъ, а у него есть дочка невѣста, такъ вотъ ихъ и обвѣнчали!.. Ну, ты самъ разсуди: статочно ли дѣло, чтобъ царскій сановникъ — воевода породнился съ этимъ балахонникомъ?.. Ты дѣло другое: и чинъ-то твой поменьше, и Софья-то Андреевна пришла тебѣ по-сердцу.

— Да кому она не придетъ по-сердцу, Ферапонтъ?

— Кому!.. Да развѣ ты не слышалъ, что мещовскій-то воевода въ годахъ?.. А вѣдь пожилой человѣкъ не то, что молодой: коли онъ захочетъ жениться, такъ станетъ искать себѣ ровни. Да вотъ хоть я, батюшка: въ старые годы я бы на Дарью и взглянуть не захотѣлъ, а теперь мнѣ что за дѣло, что съ лица-то она небольно смазлива—была бы хорошей работницей... Вотъ такъ-то и мещовскій воевода, станетъ онъ искать пригожей невѣсты: была бы только знатнаго рода, да приданые-то сундуки потяжеле, а красота что, батюшка!.. Послѣднее дѣло!.. Подъ боярской шапкою и глупая голова умна, подъ золотой фатою и рябая дѣвка красавица!.. Да ты не кручинься, Дмитрій Афанасьичъ, — продолжалъ Ферапонтъ, глядя съ участіемъ на своего господина. — Времени-то еще много впереди. Вѣдь дочку замужъ выдать не пирогъ спечь. Вотъ я въ воскресенье повидаюсь съ Дарьей и, можетъ статься, привезу тебѣ добрую вѣсточку...

— Въ воскресенье!.. А теперь еще пятница...

— Такъ чтожъ?.. Всего два денечка. Потерпи, батюшка!.. Да что это?.. Посмотри-ка, Дмитрій Афанасьичъ!.. Видишь, передъ господскимъ дворомъ, на

лугу, сбираются мужички и бабы; видно, хотятъ въ хороводы играть. Мнѣ сказывали, что опричь соколиной и псовой охоты, это любимая забава боярина... Да вотъ никакъ и онъ самъ изволилъ сюда идти... Ну, такъ и есть!

— Что, гость дорогой,—сказалъ Куродавлевъ, подойдя къ открытому окну,—отдохнулъ что ль?

— Отдохнулъ, Юрій Максимовичъ.

— Такъ не хочешь ли взглянуть на наши деревенскія забавы?.. Милости просимъ за ворота, на лугъ!

Левшинъ вышелъ вмѣстѣ съ бояриномъ на обширный лугъ, посреди котораго огромный сибирскій кедръ, раскинувъ свои роскошныя и благовонныя вѣтви, прикрывалъ, какъ шатромъ, дубовую скамью и столъ, на которомъ стояла серебряная братина, наполненная медомъ, въ ней плавалъ небольшой позолоченный ковшъ, а подлѣ стояли двѣ кружки, также серебряныя.

— Прошу покорно сюда, Дмитрій Афанасьичъ!—сказалъ бояринъ, садясь на скамью.—Здѣсь, любезный, моя красная площадь, только на ней никто не бунтуетъ, а всѣ веселятся.

Весь лугъ передъ господскимъ дворомъ кипѣлъ народомъ. Всѣ были одѣты по праздничному, то-есть женщины въ кумачныхъ сарафанахъ и бѣлыхъ поневахъ, мужчины въ красныхъ и синихъ рубахахъ; на иныхъ были сермяжные кафтаны въ накидку, на другихъ бѣлые холстяные азямы; замужнія крестьянки были въ нарядныхъ кичкахъ, дѣвушки въ повязкахъ, а всѣ мужчины безъ исключенія въ войлочныхъ шапкахъ или шляпахъ безъ крыльевъ, совершенно сходныхъ съ тѣми, которыя и теперь еще носятъ въ Бѣлоруссіи.

— Ну, что, зачѣмъ дѣло стало?..—сказалъ Куродавлевъ.—Что они толкутся на одномъ мѣстѣ, словно бараны?.. Эй, Демка!..—продолжалъ онъ, обращаясь къ одному изъ своихъ челядинцевъ.—Скажи бабамъ-то, чтожъ онѣ не поютъ и въ хороводы не играютъ!.. Иль нѣтъ... постой... я ихъ расшевелю!.. Подавай сюда Ѳедьку Козла!

Ѳедька Козелъ, дѣтина лѣтъ тридцати-пяти, вышелъ изъ толпы слугъ. Взглянувъ на его худощавое лицо, съ раздавленнымъ плоскимъ лбомъ, выдававшимися впередъ челюстями, длиннымъ горбатымъ носомъ и небольшой остроконечной бородкою, не трудно было догадаться, почему его прозвали козломъ. Онъ держалъ подъ мышкою гудокъ.

— Слушай, Ѳедька!—сказалъ бояринъ:—ступай-ка туда къ бабамъ, да хвати плясовую. Вишь, онѣ сегодня что-то жмутся.

— Ничего, батюшка Юрій Максимовичъ,—сказалъ Ѳедька Козелъ, натягивая струны на своемъ гудкѣ.—Видно, засмотрѣлись на его милость, небывалаго гостя Да вѣдь все дѣло въ починѣ; вотъ какъ я затяну бычка, такъ ноги-то у нихъ порасходятся.

Гудочникъ сказалъ правду: лишь только струны заскрипѣли подъ его бойкимъ смычкомъ, и онъ самъ началъ пошевеливаться и потряхивать своей козлиной бородкою, все пришло въ движеніе. Разсыпанные по лугу крестьяне столпились въ одну кучу, примкнули къ бабамъ, и вотъ въ нѣсколько минутъ составилось съ полдюжины хороводовъ. Ѳедька Козелъ перебѣгалъ отъ одного хоровода къ другому, подлаживалъ на своемъ гудкѣ подъ пѣсни, свистѣлъ соловьемъ и морилъ со смѣху бабъ своими прибаутками. Около часу продолжались эти безпрерывныя потѣхи; хороводныя пѣсни не умолкали ни на минуту. Лишь только гдѣ оказывалось небольшое охлажденіе, являлся Ѳедька гудочникъ, и въ тотъ же часъ пѣсни и пляски начинались снова. Во все это время Курodавлевъ не говорилъ почти ничего: онъ смотрѣлъ съ улыбкой удовольствія на забавы своихъ крестьянъ, хохоталъ отъ всей души при каждомъ новомъ шутовствѣ гудочника, пилъ медъ и потчевалъ имъ безпрестанно своего гостя... Вотъ наконецъ неутомимый Ѳедька Козелъ выбился изъ силъ и присѣлъ отдохнуть на траву; многіе изъ крестьянъ послѣдовали его примѣру; пѣсни затихли и хороводы стали понемногу расходиться. Въ эту самую

минуту подошли къ боярину два мужика и повалились ему въ ноги.

— Что вы, братцы?—спросилъ Куродавлевъ.

— Пришли къ тебѣ, батюшка!—сказалъ одинъ изъ нихъ вставая.

— Вижу, что пришли, да кто вы такіе?

— Бѣлопомѣстные крестьяне, батюшка, изъ Бобровской волости.

— А, сосѣди!.. Ну, что вы, ребята?

— Челомъ бьемъ, государь Юрій Максимовичъ,—разсуди насъ.

— Да что я вамъ за судья?.. У васъ есть своя управа. Коли вы суда просите, такъ шли бы къ земскому головѣ.

— Нѣтъ, кормилецъ! — сказалъ другой крестьянинъ,—куда намъ идти на судъ къ земскому головѣ: вѣдь къ нему безъ приноса и глазъ не кажи; либо свинку, либо барана, а ужъ съ поросенкомъ и не ходи!.. Мы, батюшка, люди бѣдные, такъ — знаешь, этакъ подумали, да и стали на томъ, чтобъ идти къ тебѣ, Юрій Максимовичъ... Какъ ты, кормилецъ, насъ разсудишь, такъ тому и быть.

— Ну, хорошо!.. Только слушайте, братцы: коли вы пошли ко мнѣ на судъ, такъ чуръ послѣ не пенять!.. Ну, кто изъ васъ на кого жалуется?

— Я, батюшка!—сказалъ первый мужикъ.—Вотъ мы съ Андрюшкой ходили вдвоемъ на медвѣдя; уговоръ былъ шкуру пополамъ. А какъ у насъ дошло до дѣлежа, такъ онъ попятился и шкуру-то беретъ на одного себя.

— Ну, все ли ты сказалъ?

— Все, батюшка.

— Ладно!.. Теперь ты, Андрюшка: былъ ли у васъ уговоръ шкуру пополамъ?

— Былъ, кормилецъ.

— Такъ зачѣмъ же ты пятишься?

— А вотъ изволь выслушать: на прошлой недѣлѣ Васька—сирѣчь онъ, батюшка,—завернулъ ко мнѣ, да

и говоритъ: «Андрюха! я обошелъ медвѣжью берлогу, близехонько отсюда, въ Хотисинской засѣкѣ. Хошь идти?» «Изволь, молъ!.. Мнѣ не впервые ходить на медвѣдя—пойдемъ!» Вотъ мы взяли по рогатинѣ да по топору и пошли. Какъ стали мы подходить къ берлогѣ, слышимъ — реветъ косолапый. Кажись, мы шли противъ вѣтру, а онъ все-таки почуялъ, что до его шкуры добираются. Я глядь на Ваську, — а на немъ и лица нѣтъ!.. «Что ты, братъ? — молвилъ я, — никакъ тебя страхъ беретъ?.. Эй, Васька, не робѣй!.. Вѣдь медвѣдь-то этого не любитъ». «Нѣтъ, дескать, я не робѣю, а меня что-то знобитъ». «То-то знобитъ!.. Смотри, Васюкъ, не выдавай!..» Вотъ слышимъ въ лѣсу-то захрустѣло, словно вихремъ деревья ломаетъ. «Чу! сказалъ я,— прямехонько идетъ на насъ!» Смотрю, Васька-то ужъ назадъ поглядываетъ. «Ну! думаю, худо дѣло!.. выдастъ онъ меня!»—Такъ и есть!.. Лишь только Мишка-то насъ взвидѣлъ да поднялся на дыбы, Васька бросилъ рогатину, да давай Богъ ноги!

— Ахъ, трусишка проклятый! — прошепталъ бояринъ.—Ну! а ты что.

— Я, батюшка, наждалъ на себя звѣря, перекрестился, да хвать его рогатиной подъ лѣвую лопатку.

— Такъ, такъ!.. Ну, что, медвѣдь-то полѣзъ на рогатину?

— Сначала полѣзъ, батюшка; такъ и претъ!

— А ты ратовище-то рогатины себѣ подъ ногу?

— Вѣстимо, кормилецъ!

— Такъ, такъ!.. Ну, что, медвѣдь началъ около тебя круги давать?

— Да, батюшка!.. ужъ онъ кружилъ, кружилъ!.. и ратовище пытался сломить, да, слава тебѣ Господи— устояло!.. а кровь-то изъ него такъ и хлещетъ!.. Какъ онъ далъ этакъ круговъ тридцать, да вовсе изъ силъ-то выбился, такъ вдругъ какъ зареветъ въ источный голосъ, — и пошелъ прямо по рогатинѣ на меня, а я топоръ изъ-за пояса, хвать его по мордѣ — вотъ онъ и повалился!

— Ну, Андрюха,—сказалъ Куродавлевъ, глядя съ удовольствіемъ на крестьянина, — ты, я вижу, человѣкъ бывалый!

— Какъ же, Юрій Максимовичъ, на томъ стоимъ!.. Вѣдь и батюшку-то моего медвѣдь сломалъ, и дѣдушка умеръ калѣкою, а меня еще покамѣстъ Господь миловалъ... Ну вотъ, кормилецъ, какъ я медвѣдя-то убилъ, да и думаю: за чтожъ я съ Васькой подѣлюсь?.. Вѣдь онъ меня руками выдалъ.

— Эхъ, братъ!—прервалъ второй крестьянинъ,— съ кѣмъ грѣха не бываетъ?.. Что будешь дѣлать— сробѣлъ!.. А вѣдь все-таки уговоръ-то былъ пополамъ, и медвѣдя не ты сослѣдилъ, Андрюха, а я.

— Да ты полно, Васюкъ, нишни! Вотъ какъ его милость насъ разсудитъ.

Куродавлевъ призадумался.

— Ну!—сказалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—послушайте, ребята: у васъ не было выговорено, что тотъ, кто сробитъ и не пойдетъ на медвѣдя, тому нѣтъ части въ шкурѣ?

— Нѣтъ, батюшка, лгать не хочу, — сказалъ Андрей: — объ этомъ и рѣчи не было.

— А коли не было рѣчи, да онъ же тебя и на звѣря навелъ, такъ дѣлать-то, братъ, нечего,— дѣлись!

— Вотъ слышишь, Андрюха? — вскричалъ съ радостію Василій, — я вѣдь говорилъ тебѣ, что моя правда!

— Слышу-ста! — промолвилъ Андрей, почесывая затылокъ.

— Благодарствую тебѣ, государь Юрій Максимовичъ! — продолжалъ Василій, повалясь въ ноги, — что ты, батюшка, изволилъ такъ разсудить!

— А вотъ посмотримъ, скажешь ли ты мнѣ спасибо,—прервалъ Куродавлевъ.—Эй, ребята! возьмитека этого гостя, да сведите-ка на конюшню.

— На конюшню!—повторилъ съ ужасомъ Василій.— Зачѣмъ, батюшка?

— Затѣмъ, чтобъ отодрать тебя нещадно батогами.

— Помилуй, кормилецъ,—за что?

— За что?.. Ахъ ты, мошенникъ этакій! еще спрашиваетъ за что?.. Да коли ты самъ напросился идти вдвоемъ на медвѣдя, такъ какъ же ты могъ выдать своего товарища?.. Да знаешь ли ты, что въ нашемъ охотничьемъ быту за такое дѣло порятъ вашу братью до полусмерти?.. Нѣтъ, любезный! пошелъ ко мнѣ на судъ, такъ не прогнѣвайся... задамъ я тебѣ зорю!.. Ведите его!

— Батюшка! — завопилъ Василій, котораго двое слугъ схватили подъ руки,—отецъ родной, помилуй!.. И отъ шкуры отступаюсь!

— Ага, голубчикъ! видно, своей-то жаль?.. Да нѣтъ! что тебѣ слѣдуетъ—бери, а ужъ дерку тебѣ зададутъ!.. Кондратій! ступай съ ними, да при себѣ — знаешь... путемъ!

— Государь Юрій Максимовичъ, — сказалъ другой крестьянинъ, когда увели его товарища, — взмилуйся! не прикажи его наказывать! Я на немъ ничего не ищу; коли онъ дѣлежа не проситъ, такъ Богъ съ нимъ!

— Нѣтъ, братецъ, нѣтъ!

— Да что толку-то, кормилецъ?.. Какъ его не пори, а онъ смѣлѣе не будетъ. Ужъ, видно, такимъ уродился.

— Такъ не берись за гужъ, коли не дюжъ!.. Вѣдь ты бы, чай, одинъ на медвѣдя не пошелъ?

— Не пошелъ бы, батюшка.

— Вотъ то-то же!.. а вышло, что ты одинъ съ нимъ возился. Ну, кабы звѣрь-то тебя сломалъ — за что?

— Такъ, батюшка, такъ!.. Да что мнѣ за прибыль, что его отдерутъ батогами: вѣдь тогда шкуру-то придется дѣлить съ нимъ пополамъ?.. Благо онъ отъ нея отступился, такъ помилуй его, кормилецъ!

— А что тебѣ за медвѣдя давали?

— Два рубля, батюшка.

— Два рубля?.. Ну, хорошо: чтобъ ты не былъ въ

убыткѣ, вотъ тебѣ рубль. Да полно — не кланяйся!.. Эй, Ѳедька Козелъ!.. Что у васъ тамъ все стало?.. Еще не время по домамъ расходиться. Ну-ка, молодицы: «заплетися, плетень», а не то: «мы просо сѣяли!»

Игры опять начались, и этакъ черезъ четверть часа привели назадъ крестьянина Василія. Онъ посматривалъ не очень весело.

— Что, братъ,—сказалъ Куродавлевъ,—будешь ли впередъ ходить на медвѣдя?

— И дѣтямъ и внучатамъ закажу, батюшка!

— Дурачина ты этакій!.. Хорошо, что Богъ помиловалъ, а то долго ли до грѣха!.. Другой на тебя понадѣется, да и пропадетъ не за денежку.

— Правда, кормилецъ, правда!.. Знай сверчокъ свой шестокъ!.. Ну, гдѣ мнѣ на медвѣдя ходить—пропадай онъ ставши, проклятый!

— Вотъ этакъ-то лучше!.. Ну что, ребята: такъ ли я васъ разсудилъ?

— Такъ, батюшка, такъ,—отвѣчали оба крестьянина въ одинъ голосъ.

— Довольны ли вы?

— Довольны, батюшка!

— Демка! поднеси имъ по чаркѣ вина... Ну, теперь ступайте съ Богомъ!.. Э! да никакъ еще гость пожаловалъ!.. Кондратій! поди-ка посмотри, кто это тамъ тройкой въ телѣгѣ у воротъ остановился.

Кондратій возвратился черезъ нѣсколько минутъ и доложилъ боярину, что пріѣхалъ изъ Мещовска земскій дьякъ.

— Изъ Мещовска!.. Зачѣмъ? — спросилъ Куродавлевъ.

— Не вѣдаю, батюшка, — отвѣчалъ Кондратій. — Онъ говоритъ, что присланъ къ тебѣ отъ мещовскаго воеводы Токмачева.

— Вишь, какой боярин — пословъ разсылаетъ!.. Могъ бы и самъ облегчиться да пріѣхать, коли дѣло есть... Ну, позови его!

Пріѣзжій, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ и весьма некрасивой наружности, подошелъ тихими шагами къ боярину, снялъ шапку и поклонился.

— Что ты, голубчикъ,—спросилъ Куродавлевъ,—зачѣмъ пожаловалъ?.. Говори!

— Бояринъ Юрій Максимовичъ!—началъ говорить дьякъ, повторивъ свой поклонъ,—мещовскому воеводѣ и стольнику, Ѳеодору Степановичу Токмачеву, ударили челомъ на тебя, боярина, сосѣди твои, куклинскіе помѣстные люди, что ты, Юрій Максимовичъ, изволишь самовольно охотиться въ ихъ дачахъ, и луга ихъ топчешь, и птицу бьешь, и краснаго звѣря выводишь, и тѣмъ имъ, куклинскимъ помѣстнымъ людямъ, чинишь обиду и крайнее разореніе...

— Врутъ они, дурачье!—прервалъ Куродавлевъ.—Стану я въ ихъ однодворческихъ дачахъ охотиться!.. Ну, а коли случаемъ я травлю звѣря, да онъ изъ моихъ дачъ перебѣжитъ въ чужія, такъ мнѣ шапку снять да поклониться ему, что ль?

— Мещовскій воевода и стольникъ Ѳедоръ Степановичъ Токмачевъ—продолжалъ дьякъ, не отвѣчая на вопросъ Куродавлева—присудилъ ихъ челобитье записать, а къ тебѣ, боярину, послать земскаго дьяка съ указомъ...

— Съ указомъ?—повторилъ Куродавлевъ, нахмуривъ брови.—Вотъ что!.. Ну, чтожъ его милость, господинъ мещовскій воевода и стольникъ, мнѣ, холопу своему, изволитъ указывать?

Не обращая вниманія на эту насмѣшку, дьякъ вынулъ изъ-за пазухи небольшой бумажный свитокъ и подалъ его Куродавлеву.

— Ну!—сказалъ бояринъ, развернувъ столбецъ,—видно, вамъ дѣлать-то нечего!.. Смотри, пожалуй, сколько навараксали!.. да этого и въ сутки не прочтешь!.. Скажи-ка лучше мнѣ на словахъ, что тутъ написано?

— Коли изволишь, такъ и на словахъ скажу, — *молвилъ дьякъ*.—Тутъ написано, бояринъ, чтобы тебѣ

напредь сего въ чужихъ дачахъ не охотиться и сосѣдей не обижать; а коли ты, бояринъ, противъ сего воеводскаго указа ослушнымъ учинишься, то да будетъ тебѣ вѣдомо, что взыщутъ съ тебя за потравленнаго звѣря, за побитую птицу и за потоптанные луга, безъ всякаго обыска и разбора, втрое противъ того, что тѣ куклинскіе помѣстные люди станутъ сами показывать, сирѣчь имъ сполна за всѣ ихъ протори и убытки, да по стольку же на царскую казну и богадѣльный приказъ.

— Вотъ какъ!—прошепталъ Курodавлевъ, и глаза его засверкали.—Ну, что,—продолжалъ онъ,—ты все пересказалъ?

— Все, бояринъ.

— Нѣтъ, не все!.. — Ты забылъ мнѣ сказать, что твой воевода рехнулся. Къ кому онъ тебя прислалъ—а?.. къ однодворцу что ль или къ посадскому?.. Ахъ онъ неучъ проклятый!.. холопъ!.. да знаетъ ли онъ, что такое Юрій Максимовичъ Курodавлевъ?.. мошенникъ этакій!.. Вишь, бояринъ какой!.. Токмачевъ!.. И откуда этакихъ хамовъ въ воеводы-то набираютъ?.. А ты, голубчикъ, о двухъ что ль головахъ, что пріѣхалъ ко мнѣ съ такимъ указомъ отъ своего воеводишки?.. Да не знаешь ли, что я съ тобой сдѣлаю?..

Дьякъ поблѣднѣлъ.

— Батюшка бояринъ,—промолвилъ онъ дрожащимъ голосомъ,—не изволь на меня гнѣваться — я что!. я человѣкъ маленькій: что мнѣ прикажутъ, то я и дѣлаю.

— Доложи своему раскольнику-воеводѣ, — сказалъ бояринъ, вставая, — что я и своихъ-то дачъ въ двое сутокъ не объѣду, такъ стану ли по чужимъ дачамъ таскаться; а коли мнѣ вздумается и мещовскаго воеводу Токмачева травить собаками, да онъ изъ моего лѣса перебѣжитъ въ чужой, такъ я на это не посмотрю. Да перескажи ему это слово-отъ-слова —слышишь?

— Слышу, Юрій Максимовичъ!

— Вотъ его указъ! — продолжалъ Курodавлевъ, раздирая на части столбецъ. — На, вотъ тебѣ... на...

подбери всѣ кусочки, да отвези къ своему воеводѣ и стольнику, пусть онъ ими подавится!.. и скажи ему отъ меня, Юрія Максимовича Куродавлева: «коли, дескать, ты, холопъ Ѳедька Токмачевъ, по твоему собачьему обычаю, учнешь еще такія же грамоты писать ко мнѣ, царскому боярину, такъ ты отъ меня и въ Мещовскѣ не спрячешься — я и тамъ тебя, голубчика, достану... Ну, теперь чтобъ и духу твоего здѣсь не пахло!.. Вонъ отсюда, приказная строка!

Дьякъ исчезъ.

— Фу, батюшки!—промолвилъ бояринъ, помолчавъ нѣсколько времени,—часъ-отъ-часу не легче!.. — Экія времена!.. Господи, Боже мой! вотъ, до чего я дожилъ: какой-то холопій сынъ Токмачевъ шлетъ ко мнѣ дьяка съ указомъ!.. Да этого въ старину не посмѣлъ бы сдѣлать и калужскій воевода... И я не велѣлъ заковать въ кандалы этого дьяка, не отодралъ его плетьми!.. Эхъ, устарѣлъ я—смиренъ сталъ!.. А все-таки не приведи Господи этому мещовскому воеводѣ повстрѣчаться со мною!.. Провалъ бы его взялъ — сквернавецъ этакій!.. совсѣмъ меня растревожилъ. И веселье на умъ нейдетъ!.. Да тебѣ же и пора, Дмитрій Афанасьичъ, въ баню, а тамъ еще надо поужинать; только не погнѣвайся, дорогой гость, коли я ужинать съ тобою не стану: мнѣ что-то не здоровится... Прикажи накрыть столъ у себя въ комнатѣ... Прощай, любезный!.. Тьфу ты, пропасть!—промолвилъ бояринъ, уходя,—ну стоитъ ли эта гадина, этотъ Ѳедька Токмачевъ, чтобъ я такъ сердился?.. А все-таки жаль — видитъ Богъ жаль, что онъ теперь у меня не подъ руками!

Левшинъ отправился въ баню, потомъ поужиналъ и легъ спать. Такъ кончился первый день, проведенный имъ у боярина Юрія Максимовича Куродавлева.

VIII.

Другой день прошелъ почти такъ-же, какъ *первый, съ тою* только разницею, что поутру бояринъ

тѣшилъ своего гостя соколиною охотою и за обѣдомъ не разсказывалъ уже о своемъ мѣстничествѣ съ княземъ Пронскимъ, а продолжалъ позорить мещовскаго воеводу и подарилъ серебряный алтынникъ Тришкѣ за то, что этотъ догадливый шутъ, на боярскій вопросъ: хочетъ ли онъ познакомиться съ Ѳедькой Токмачевымъ, отвѣчалъ: «Нѣтъ, Максимычъ! я со своей братьею, дураками, не знаюсь». Вечеромъ Курдавлевъ вышелъ опять съ своимъ гостемъ на лугъ, на которомъ собрались попрежнему удалые молодцы, пригожія молодицы и дѣвицы красныя, пѣсенки попѣть, поиграть въ хороводы и покачаться на *колыскахъ:* такъ назывались въ старину висячія качели. На этотъ разъ, вѣроятно, по приказанію боярина, хороводы кончились забавами, которыя напоминали олимпійскія потѣхи древнихъ грековъ. Дворовые люди и крестьяне бѣгали *взапуски*, боролись въ *охабку* и въ *одноручку*, бились въ кулачки одинъ-на-одинъ и наконецъ составили кулачный бой *стѣна на стѣну*. Эти кулачные бои имѣли въ старину свои правила, законы, и представляли довольно вѣрную картину настоящаго боя. Обѣ стороны маневрировали, то подвигались впередъ, то отступали назадъ; передъ каждой стѣною разсыпаны были, какъ застрѣльщики, отборные бойцы; къ нимъ высылали съ обѣихъ сторонъ подкрѣпленія, и все это оканчивалось обыкновенно общей свалкою, а потомъ совершеннымъ разстройствомъ и бѣгствомъ одной изъ стѣнъ... Всѣ участвующіе въ кулачномъ бою должны были драться съ непокрытыми головами: кто надѣвалъ шапку, тотъ становился лицомъ неприкосновеннымъ, и его, точно такъ же, какъ *лежачаго*, не дозволялось *бить* никому. Само-по-себѣ разумѣется, что и тотъ, кто былъ въ шапкѣ, не смѣлъ уже никого ударить; въ противномъ случаѣ его избили бы до полусмерти.

Хотя Ферапонтъ былъ страстный охотникъ до борьбы и кулачнаго боя, однакожъ не принималъ никакого участія въ этихъ молодецкихъ потѣхахъ, а

присоединился къ толпѣ зрителей, которые, почти всѣ безъ исключенія, состояли изъ стариковъ, ребятишекъ и бабъ

— Вѣдь это твой служитель, Дмитрій Аѳанасьичъ? —сказалъ бояринъ, взглянувъ нечаянно на Ферапонта.

— Гдѣ, Юрій Максимовичъ?—спросилъ Левшинъ.

— А вонъ тамъ, подлѣ бабъ.

— Да, это мой слуга Ферапонтъ.

— Экій ражій дѣтина!.. Да что это онъ такъ коверкается?

Въ самомъ дѣлѣ, Ферапонтъ, не замѣчая, что на него смотритъ Куродавлевъ, дѣлалъ какіе-то знаки своему барину, кивалъ головою и наконецъ поманилъ его просто къ себѣ рукою.

— Эй ты, Ферапонтъ!—закричалъ бояринъ,—кого ты это къ себѣ манишь?

— Никого, батюшка Юрій Максимовичъ! — отвѣчалъ Ферапонтъ, выступая впередъ и кланяясь боярину.

— Такъ чтожъ ты рукою-то къ себѣ махалъ?

— Такъ, батюшка, — муха!.. привязалась проклятая! — молвилъ Ферапонтъ, подмигнувъ значительно своему барину.

— Чтожъ ты, братъ,—продолжалъ Куродавлевъ,— стоишь тамъ съ бабами да смотришь?.. Мнѣ сказывали, что ты силачъ. Коли не хочешь къ стѣнѣ пристать, такъ вызови кого-нибудь.

— Нѣтъ, батюшка Юрій Максимовичъ, мнѣ что-то сегодня нездоровится.

Въ эту самую минуту раздался на лугу громкій голосъ: «Нечестно, дворовые, нечестно!.. Лежачаго не бьютъ!»—Вслѣдъ за этимъ поднялся общій крикъ, посыпались ругательства. — «Стойте грудью, братцы!— кричали мужики.—Бейте холуевъ!» — «Сюда, молодцы, сюда! — заревѣли дворовые; — катайте сермяжниковъ!» — Противники кинулись другъ на друга, обѣ стороны смѣшались, и началась ужасная свалка. — «Эге!—шепнулъ бояринъ, вставая,—да они ужъ расходились *не*путемъ!.. — Эй, вы! — зыкнулъ онъ своимъ

молодецкимъ голосомъ,—ребята, шабашъ!» Лишь только прогремѣлъ этотъ приказъ, все затихло. «Кто смѣетъ бить лежачаго? — продолжалъ боярinъ, подойдя къ присмирѣвшимъ бойцамъ. Сотни голосовъ отвѣчали на этотъ вопросъ; одни обвиняли, другіе оправдывались.— Молчать,—закричалъ Куродавлевъ.—Никто ни гугу!.. Говори ты, Мирошка Козырь!..» — промолвилъ онъ, обращаясь къ широкоплечему мужику съ растрепанной рыжей бородою и огромной шишкой на лбу. — «Помилуй, государь Юрій Максимовичъ!—сказалъ мужикъ.—Изволь самъ разсудить: при мнѣ Пахомку Лысаго твои дворовые сбили съ ногъ, да и ну его, лежачаго, валять не на животъ, а на смерть!»

— Вретъ онъ, батюшка! — прервалъ одинъ изъ дворовыхъ: — вовсе не лежачаго. Онъ было хотѣлъ прикинуться—упалъ!—Да мы его подняли: двое держали подъ руки, а третій билъ. А били его за то, что онъ ударилъ Митьку Сурка; а вѣдь Митька-то Сурокъ былъ въ шапкѣ.

— Давай сюда Митьку Сурка и Пахомку Лысаго! — сказалъ Куродавлевъ. Двое бойцовъ, одинъ съ подбитымъ глазомъ, другой съ разбитыми скулами, вышли впередъ. Дворовые и мужики обступили плотной толпою своего боярина—и судъ начался.

Левшинъ воспользовался этой минутою: онъ подошелъ къ своему слугѣ.

— Дмитрій Афанасьичъ,—шепнулъ Ферапонтъ. — Пожалуй-ка, батюшка, сюда.

— Да что ты?—спросилъ Левшинъ.

— А вотъ какъ отойдемъ поодаль, такъ я тебѣ скажу... Пожалуй сюда, батюшка!.. Вотъ за амбарыто: тамъ никого нѣтъ.

— Ну, что такое?.. Говори скорѣй!—сказалъ Левшинъ, когда они зашли за уголъ огромныхъ барскихъ житницъ.

— А вотъ что, Дмитрій Афанасьичъ: я хотѣлъ въ воскресенье ѣхать въ Ѳедосѣевскій скитъ, чтобы повидаться съ Дарьей...

— Ну, да!.. Такъ что?

— А то, что ѣхать мнѣ будетъ не зачѣмъ.

— Какъ не зачѣмъ?

— Да, батюшка!.. Вѣдь Дарья-то здѣсь.

— Здѣсь?..

— Пѣшкомъ пришла; говоритъ, что ей надо съ тобой повидаться.

— Гдѣ она?

— Да тамъ, за боярскимъ огородомъ, въ конопляхъ.

— Такъ пойдемъ же скорѣй!

— А вотъ пожалуй со мной.

Ферапонтъ повелъ своего боярина вдоль плетня, изъ-за котораго поднимался цѣлый лѣсъ яблонь и вишневыхъ деревьевъ.

— Ну, что, видишь, батюшка? — сказалъ Ферапонтъ,—вонъ въ красной душегрѣйкѣ-то—это Дарья. Эка дѣвка бой, подумаешь!.. Еще хорошо, что я успѣлъ ее перехватить, а то вотъ такъ прямохонько къ тебѣ и ломитъ!.. Мы съ ней только словечка два-три перемолвили... Вишь, хозяинъ-то, Андрей Поморянинъ, согналъ ее со двора... Ужъ какъ она его позоритъ — Господи!.. И съ дочкой-то своей онъ что-то недоброе хочетъ сдѣлать... Да вотъ она сама тебѣ все перескажетъ.

Дарья, увидѣвъ Левшина и Ферапонта, вышла къ нимъ навстрѣчу.

— Здравствуй, Дарья! — сказалъ Левшинъ. Ну, что ты?

— Что, батюшка? — промолвила Дарья, всхлипывая,—вѣдь злодѣй-то меня выгналъ!.. Выгналъ, кормилецъ!.. «Ступай, дескать, куда хочешь!» А куда я пойду?.. Человѣкъ я одинокій: ни роду, ни племени. Есть одна тетка, да и та въ Казани... Злющій этакій! чтобъ ему самому издохнуть гдѣ-нибудь подъ елкою, жиду проклятому!..

— Да ужъ не бойся, Дарья,—прервалъ Левшинъ,— я тебя не покину. Ну, что Софья Андреевна?

— *Что,* батюшка!.. Коли ты не выручишь, такъ

пропала ее головушка!.. Да вотъ я тебѣ все разскажу. Какъ ты, батюшка Дмитрій Афанасьичъ, изволилъ отъ насъ уѣхать, въ тотъ же самый день, около полудня, пожаловалъ къ намъ изъ Мещовска какой-то приказный, отъ тамошняго воеводы Токмачева; хозяинъ принялъ его съ честію, отвелъ къ себѣ въ образную да тамъ съ нимъ и заперся. Вотъ я думаю себѣ: «о чемъ это они втихомолку толкуютъ межъ собой?.. дай-ка послушаю!» Рядомъ съ образной есть покоецъ, въ которомъ Андрей послѣ обѣда отдыхаетъ,—я и шмыгъ туда!.. Подкралась потихоньку къ двери да ушкомъ-то къ замочной щелкѣ. Чтожъ ты думаешь я услышала, Дмитрій Афанасьичъ?.. Хозяинъ-то просваталъ свою дочку за мещовскаго воеводу, а тотъ прислалъ ему сказать: привези, дескать, ее въ воскресенье ко мнѣ въ городъ, а ужъ у меня все будетъ готово. Лишь пріѣдете, такъ тутъ же и къ вѣнцу: надобно, дескать, этимъ дѣломъ круто повернуть; какъ сказать ей впередъ, такъ, чего добраго, она еще пожалуй заломается—начнетъ говорить, что я ей неровня, да то, да се; а какъ вдругъ изъ повозки да въ церковь, такъ этакъ будетъ лучше: дѣвка-то не успѣетъ и опомниться. «Ахъ, злодѣи!»—подумала я,—«за что они Софью-то Андреевну сгубить хотятъ? Вѣдь этотъ Токмачевъ ей въ дѣдушки годится! Да говорятъ, уродина какой: горбатый, плѣшивый!.. Вотъ, слышу, пріѣзжій прощается съ хозяиномъ; я скорѣй отъ дверей да къ окну и ну тереть тряпицею стекла. Андрей проводилъ гостя, вернулся назадъ и говоритъ мнѣ: «Ты что здѣсь, голубушка, дѣлаешь?.. Зачѣмъ пришла?»—«А вотъ, батюшка, стеклышки протереть».—«То-то стеклышки!.. Да напрасно трудишься, любезная; изволь-ка забрать свои пожитки, да чтобъ сегодня же тебя здѣсь не было!.. Слышишь?» Я такъ и обомлѣла!.. «Какъ, батюшка! ты меня гонишь вонъ?» —«Да, матушка — не прогнѣвайся!»—«Помилуй! за что?»—«А такъ! чтобъ ты на огородъ-то пріѣзжихъ молодцовъ не водила... Да что съ тобою толковать: пошла, пошла!» Я было

въ слезы... куда! повернулъ меня, да и въ шею!.. Ну, батюшка, хоть я человѣкъ смирный, а зло меня взяло!.. Выгнать безпріютную сироту!.. Что онъ, мошенникъ, какія знаетъ за мной художества?.. Я дѣвка честная!.. Небось, Марѳутку-то не выгонитъ, скаредъ этакій!.. «Постой же!—думаю,—коли ты гонишь меня вонъ какъ собаку, такъ я же тебѣ, голубчикъ, и сама насолю!»— Вотъ я къ Софьѣ Андреевнѣ... Сидитъ, пригорюнившись, моя горемычная... Ужъ такъ мнѣ ее жаль стало!.. «Что ты такъ призадумалась, красавица моя?— сказала я.—Ужъ не чуетъ ли твое сердечко, что тебя выдаютъ замужъ за этого стараго лѣшаго мещовскаго воеводу Токмачева?..»—«Какъ!» — вскрикнула Софья Андреевна.—«Да, родимая, послѣзавтра, сирѣчь въ воскресенье, батюшка отвезетъ тебя въ городъ да тутъ же и подъ вѣнецъ».—Софья Андреевна всплеснула руками и покатилась словно мертвая. Я попрыскала ее водицей—очнулась моя голубушка! да только не на радость: ухватила меня руками за шею, припала къ плечу, да такъ рѣкой и льется!.. «Эхъ, матушка!— сказала я,—что толку-то плакать: вѣдь на это не посмотрятъ; а коли хочешь, я тебѣ помогу».—«Да какъ же ты мнѣ поможешь?»—промолвила она сквозь слезы.— «А вотъ какъ: я пойду къ Дмитрію Афанасьевичу; село Толстошеино отсюда верстъ тридцать, такъ я завтра же съ нимъ увижусь. Была бы только твоя воля, а ужъ онъ тебя выручитъ; и коли дѣло на то пошло, такъ въ воскресенье ты выйдешь замужъ, да только не за этого стараго хрыча — чтобъ ему, проклятому, послѣднимъ зубомъ подавиться!» — «Да какъ же это?»— спросила Софья Андреевна. «Вѣстимо какъ!.. Дмитрій Афанасьичъ пріѣдетъ сюда тайкомъ вмѣстѣ со мною, ты къ намъ выйдешь»... — «Какъ! — молвила Софья Андреевна, я убѣгу отъ моего отца, выйду замужъ безъ его благословенія»...—«Эхъ, матушка!—сказала я,— это дѣло поправное: теперь не благословитъ, такъ благословитъ послѣ; не цѣлый же вѣкъ станетъ гнѣ*ваться*... Кто и говоритъ — на первыхъ порахъ по-

сердится, а тамъ, глядишь, и помилуетъ. Ну, а коли ты выйдешь за этого стараго пса Токмачева, такъ что тебѣ и въ отцовскомъ благословеніи?.. Вѣдь постылый-то мужъ — бѣда, матушка! А онъ же, проклятый, чего добраго, проживетъ аридовы вѣки!.. Эй, Софья Андреевна, не послушаешься меня, станешь у себя локотки кусать!» Куда! моя Софья Андреевна и руками и ногами! «Какъ, дескать, бѣжать изъ родительскаго дома—да этакую бѣглянку самъ Богъ не благословитъ.» — Я и то, я и се... нѣтъ, подъ ладъ не дается!.. «Ну, матушка,—молвила я,—воля твоя, какъ хочешь; вѣдь не меня выдаютъ замужъ, а тебя. Ступай за Токмачева: можетъ-быть, онъ тебѣ полюбится. А я все-таки пойду къ Дмитрію Афанасьичу. Вѣдь твой батюшка меня выгналъ, такъ авось онъ, кормилецъ, куда-нибудь меня пристроитъ. Да только какъ сказать ему?.. Охъ, Софья Андреевна, губишь ты молодца! Я знаю, онъ не переживетъ этого горя».—«Что ты говоришь?»—сказала Софья Андреевна.—«Да, матушка, да! не переживетъ; коли самъ на себя рукъ не подыметъ, такъ ужъ вѣрно зачахнетъ съ тоски. Да тебѣ что до этого: ты, сударыня, будешь воеводшею; выйдешь замужъ съ отцовскимъ благословеніемъ, и коли дойдетъ до тебя слухъ, что Дмитрія Афанасьича не стало, такъ тебѣ старый мужъ и поплакать о немъ не дастъ—сохрани Господи!.. Ну, прощай, матушка, когда-то Богъ приведетъ увидѣться...»

— Чтожъ Софья Андреевна?—прервалъ Левшинъ.

— Опѣшила, батюшка!.. Ухватилась за меня, да въ слезы!.. Мало ли что было—дѣло дѣвичье: и жаль тебя, и страшно, и хочу, и не хочу, а все-таки покончила тѣмъ, что велѣла тебѣ сказать, что завтра, сирѣчь въ воскресенье, передъ свѣтомъ, когда еще въ скиту всѣ будутъ спать, она выйдетъ изъ огорода задней калиткою въ лѣсъ и поѣдетъ съ тобою, куда ты хочешь; лишь только съ уговоромъ: чтобъ ты завтра же съ ней и обвѣнчался.

— Завтра!—повторилъ съ восторгомъ Левшинъ.—

Неужели въ самомъ дѣлѣ завтра она можетъ быть моей женою?

— Будетъ, батюшка, только мѣшкать не надо... Коли ты завтра чѣмъ-свѣтъ не поспѣешь къ ней на выручку, такъ не прогнѣвайся!..

— Ѣдемъ, Ферапонтъ!—вскричалъ Левшинъ.—Скорѣй, скорѣй!

— Ѣдемъ!.. Да на чемъ, Дмитрій Афанасьичъ? Вѣдь намъ за такимъ дѣломъ не верхами же ѣхать. Не знаю, мой Донецъ, а твой Султанъ въ упряжи никогда не хаживали, и повозки у насъ нѣтъ.

— Эхъ, Ферапонтъ!.. Да неужели нельзя достать на селѣ?

— Какъ не достать; за деньги все достанешь.

— Такъ что же ты?.. Ступай скорѣе!

— А что проку-то, Дмитрій Афанасьичъ, коли мы Софью Андреевну увеземъ, да некуда будетъ съ нею дѣваться?.. Вѣдь мы здѣсь не дома, батюшка!.. Ступай-ка лучше, да поклонись боярину; онъ, говорятъ, и самъ съ молоду на все ходокъ былъ, такъ ужъ вѣрно тебѣ поможетъ; а коли поможетъ — такъ дѣло въ шапкѣ!

— Въ самомъ дѣлѣ, Ферапонтъ, пойду, разскажу ему все, какъ отцу родному, авось, онъ меня не покинетъ.

— Ступай, батюшка!.. А ты, Дарьюшка, пойдемъ-ка со мной: я сведу тебя на село къ знакомому мужичку; ты у него отдохнешь и щецъ похлебаешь. Здѣсь тебѣ не пригоже оставаться: вѣдь всѣ дворовые-то народъ продувной, какъ разъ на зубки подымутъ.

Когда Левшинъ вышелъ опять на лугъ, то съ перваго взгляда замѣтилъ, что во время его отсутствія получено какое-нибудь извѣстіе, которое обратило на себя особенное вниманіе Куродавлева. Толпы дворовыхъ и крестьянъ, тѣснясь съ любопытствомъ около своего боярина, составляли обширный полукругъ, посреди котораго Куродавлевъ разспрашивалъ о чемъ-то *двухъ пожилыхъ* мужиковъ, вооруженныхъ толстыми

дубинами. Когда Левшинъ подошелъ, одинъ изъ этихъ мужиковъ говорилъ:

— Да, батюшка! Матюху Безпалаго больно избили; мы насилу довели его до села; полно, будетъ ли живъ.

— Да точно ли это Хотисенскіе крестьяне?—прервалъ боярнинъ.

— Какъ же, кормилецъ! Мы ихъ знаемъ. Вѣдь эти Хотисенскіе всѣ поголовно такіе озорники, что не приведи Господи!.. При тебѣ они стали потише, а напрежь сего не проходило году, чтобъ они въ нашемъ лѣсу порубокъ не дѣлали.

— Да какъ же они смѣютъ?..

— Ну вотъ, поди ты!.. Стоятъ на томъ, что это въѣзжій лѣсъ...

— Въѣзжій лѣсъ?.. Ахъ, они мошенники!.. Да ты бы имъ сказалъ, что покойный мой батюшка, и дѣдушка, и прадѣдъ владѣли этимъ лѣсомъ...

— Пытался говорить, кормилецъ, да они орутъ свое.—«Это, дескать, лѣсная дача отведена на всѣхъ сосѣдей; въ ней, дескать, всякій человѣкъ воленъ лѣсъ валить». — Матюха-то Безпалый, мужикъ задорный, сцѣпился съ ними ругаться, слово-за-слово—онъ одного изъ нихъ по зубамъ, а они его въ дубье!.. Кабы мы его не выхватили, до смерти бы убили...

— Въѣзжій лѣсъ!—повторилъ боярнинъ. Вотъ я имъ дамъ въѣзжій лѣсъ!.. Да много ли ихъ?

— Многонько, кормилецъ: на двадцати подводахъ пріѣхали, человѣкъ за тридцать будетъ.

— Только-то?.. Кондратій, посади побольше народу на коней, да пѣшихъ человѣкъ тридцать съ села наряди.

— Съ оружіемъ, батюшка?

— Нѣтъ, просто съ дубинами. Коли эти озорники ударятся бѣжать, такъ ты поймай кого-нибудь, да припугни хорошенько, захвати у нихъ побольше лошадей: пусть себѣ походятъ послѣ да покланяются!.. А коли на драку пойдутъ, такъ валяй ихъ въ мою голову—слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Да у меня чтобъ всѣ дрались на чистоту, а не то, что ударилъ, да самъ и за кустъ!.. Я, братъ, этого не люблю: драться, такъ драться!.. Коли кто изъ нашихъ попятится или пролежитъ за кочкою, такъ задай ему такую баню, чтобъ онъ до новыхъ вѣниковъ не забылъ—слышишь?

— Слушаю, Юрій Максимовичъ!.. Да только, батюшка, воля твоя, теперь ужъ поздненько, и коли свалка будетъ въ лѣсу, такъ не досмотришь, кто изъ нашихъ сбердилъ.

— Экій ты, братецъ, какой!.. Да неужли ты не знаешь, что кто дерется молодцомъ, тому и самому на орѣхи достается?

— Вѣстимо, батюшка.

— Такъ ты какъ вернешься домой, осмотри всѣхъ: на комъ нѣтъ боевыхъ знаковъ, того и пори: ужъ вѣрно за кустомъ пролежалъ.

— Слушаю, батюшка.

— Ну, ступай же!

— Юрій Максимовичъ, — сказалъ левшинъ, когда бояринъ пересталъ говорить съ Кондратьемъ,—я было хотѣлъ тебѣ челомъ ударить; у меня есть до тебя кровное дѣло, да ты теперь такъ растревоженъ, тебя разсердили...

— Кто?—прервалъ бояринъ.—Эти Хотисенскіе воришки?.. И, Дмитрій Афанасьичъ! стану я объ этомъ думать. У насъ такія проказы зачастую бываютъ. Дѣло сосѣдское, разберемся полюбовно. Вотъ какъ имъ нагрѣютъ порядкомъ затылки, да отберутъ лошадей, такъ они сами придутъ съ повинной головою.

— Не прогнѣвайся, Юрій Максимовичъ, коли я буду просить тебя...

— О чемъ?

— А вотъ о чемъ, бояринъ: если ты мнѣ не поможешь, не выручишь меня, такъ я сгибну и пропаду навѣки.

— Ого! такъ это дѣло не шуточное!.. Говори,

Дмитрій Афанасьичъ, говори!.. Я все готовъ для тебя сдѣлать... Деньги что-ль тебѣ нужны—бери, сколько хочешь.

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, деньгами тутъ не поможешь?

— Такъ чего же ты хочешь?

— Я хочу женúться, бояринъ.

— Жениться!.. На комъ?

— На одной дѣвицѣ, съ которой познакомился въ Москвѣ.

— Въ Москвѣ!.. Такъ чтожъ я могу для тебя сдѣлать?

— Все, Юрій Максимовичъ!.. Коли ты только захочешь...

— Въ Москвѣ! — повторилъ бояринъ. — Постой-ка, молодецъ!.. Да у меня въ Москвѣ есть племянницы невѣсты... Ужъ не нарохтишься ли ты ко мнѣ въ родню!.. Ну, Дмитрій Афанасьичъ, коли я отгадалъ, такъ не прогнѣвайся—этому не бывать... Нѣтъ, нѣтъ, любезный! — продолжалъ Куродавлевъ, не давая Левшину молвить ни слова;—проси у меня, чего хочешь, а объ этомъ не заикайся!.. Дружба дружбой, а родство родствомъ...

— Да выслушай, бояринъ: я...

— Знаю, любезный, знаю!.. У тебя есть и хорошее помѣстье, и самъ ты молодецъ отличный, да твоя службишка-то поскудная—всему дѣлу помѣха. Ужъ я тебѣ толковалъ: кто своею волею, а не по царскому указу пошелъ въ стрѣльцы, тотъ забудь и думать породниться съ нашей братьею, родословнымъ боярином. Кому охота сдѣлать такую поруху всему роду своему и отечеству.

— Да позволь слово вымолвить,—сказалъ почти съ нетерпѣніемъ Левшинъ. — Та, на которой я хочу жениться, дѣвица простого рода, и ты ея вовсе не знаешь.

— Не знаю?.. А коли не знаю, такъ о чемъ же ты меня просишь?

— А вотъ выслушай, я все тебѣ разскажу.

Левшинъ началъ свой разсказъ съ того, какъ онъ увидѣлъ въ первый разъ Софью въ Мещовскомъ подворьѣ и какъ полюбилъ ее, не зная, кто она такова; потомъ разсказалъ, какимъ неожиданнымъ образомъ онъ познакомился съ отцомъ ея, Андреемъ Номорянином, и какъ этотъ Поморянинъ объявилъ ему наотрѣзъ, что никогда не выдастъ за него своей дочери.

— А, вотъ что!—прервалъ Куродавлевъ.—Ты вѣрно думаешь, что я скорѣй твоего уломаю этого раскольника? Ну, коли такъ — изволь, Дмитрій Афанасьичъ!.. Я самъ отправлюсь къ нему сватомъ.

— Это не поможетъ, Юрій Максимовичъ: онъ ужъ просваталъ свою дочь...

— Право?.. Ну, коли просваталъ, такъ дѣлать-то, братъ, нечего; видно, тебѣ не судьба на ней жениться.

— Нѣтъ, боярин: лишь только бы ты мнѣ помогъ, а то ужъ я ее выручу. Она прислала мнѣ сказать, что если я завтра, чѣмъ-свѣтъ, не увезу ее изъ отцовскаго скита и не обвѣнчаюсь съ нею, такъ завтра же ее выдадутъ замужъ за постылаго человѣка.

— Такъ ты хочешь, чтобъ я помогъ тебѣ увезть ее изъ родительскаго дома?.. Эхъ, Дмитрій Афанасьичъ,—не хорошо!.. Безъ отцовскаго благословенія проку не будетъ!.. Правда, теперь она раскольница, а какъ выйдетъ за тебя, такъ будетъ православною... да и батюшка-то ея не Богъ знаетъ кто!.. Чай, купчишка или посадскій, а не то еще—бѣглый дьячекъ или разстрига какой, такъ не велика бѣда, коли его дочка выйдетъ за стрѣлецкаго сотника... А все, какъ подумаешь — увезти родную дочь у отца!.. Да и тебѣ-то что за охота напрашиваться въ зятья къ этому раскольнику?!. Ты православный, а онъ ужъ вѣрно просваталъ свою дочь за такого же еретика, каковъ онъ самъ...

— Да, Юрій Максимовичъ, ее выдаютъ замужъ за *мещовскаго* воеводу...

— Какъ!.. за этого сквернавца Токмачева?..

— Да, бояринъ.

— Такъ ты у него-то хочешь отбить невѣсту?.. Ну, это иная рѣчь!.. Изволь, любезный — помогаю!.. Тебѣ надо поспѣть туда чѣмъ-свѣтъ... А далеко ли этотъ скитъ отсюда?

— Верстъ около тридцати.

— Такъ мѣшкать нечего!.. Эй, Демка! ступай, скажи, чтобъ сейчасъ запрягли тройкой мою дорожную кибитку. Въ корень Беркута, на пристяжку Сокола да Ласточку—проворнѣй!.. Это, любезный, башкирки—взглянуть не на что, а такіе кони, что и цѣны нѣтъ!.. Имъ шестьдесятъ верстъ не корма—ни почемъ!.. Ты ступай туда полегоньку, передъ свѣтомъ будешь; а оттуда, какъ дѣло спроворишь, катай по всѣмъ по тремъ!.. лишь бы на козлахъ-то сидѣлъ молодецъ, а то ужъ только держись!

— Я возьму съ собой Ферапонта.

— Ну, этотъ малый дюжій—сладитъ!.. А я безъ тебя все приготовлю. Вѣдь мы дѣвишника справлять не станемъ: изъ кибитки да и къ вѣнцу, а тамъ за веселье... Ну, что?.. Такъ ли, Дмитрій Афанасьичъ?..

— По гробъ не забуду твоихъ благодѣяній, Юрій Максимовичъ!.. По милости твоей я буду самымъ счастливымъ человѣкомъ въ свѣтѣ.

— Самымъ счастливымъ!.. Давай Господи! Только впередъ, любезный, не загадывай. Какъ прожившь съ женою лѣтъ десять, такъ скажи тогда. Вѣдь и я былъ также женатъ, и мнѣ на первыхъ порахъ казалось, что я живу съ Авдотьей Саввишной словно въ раю земномъ; а тамъ какъ пошло хуже да хуже... Э! да что говорить объ этомъ! Дай Богъ ей царство небесное—всѣ мы люди, всѣ человѣки!.. Пойдемъ-ка, Димитрій Афанасьичъ, да пока запрягутъ лошадей, перехватимъ чего-нибудь... Вѣдь твой будущій тесть угощать тебя не станетъ, такъ не худо запастись.

Черезъ полчаса лихая тройка въѣхала на боярскій дворъ и, повинуясь могучей рукѣ удалого Ферапонта,

остановилась какъ вкопанная передъ крыльцомъ. Левшинъ сѣлъ въ кибитку, заѣхалъ на село, чтобъ взять съ собою Дарью, и лишь только Ферапонтъ, желая пощеголять своимъ удальствомъ передъ нареченной невѣстою, поослабилъ возжи, коренная рванулась впередъ, пристяжныя подхватили и, какъ изъ луки стрѣла, съ визгомъ помчались вдоль озера.

— Эки черти! — шепнулъ Ферапонтъ, сдерживая одной рукою всю тройку. — Кажись одры, а такъ и рвутъ!.. Ну, батюшка! — продолжалъ онъ, оборотясь къ своему барину,—съ ними дремать-то нечего: звѣри, а не лошади!

IX.

Утренняя заря едва стала заниматься, и ни одна звѣздочка не потухла еще на темно-синихъ небесахъ, когда Левшинъ и его спутники, миновавъ Ѳедосѣевскій скитъ, то есть деревушку, въ которой жили перекрещеванцы, стали приближаться къ цѣли своего путешествія. Доѣхавъ до березовыхъ рощъ, окружающихъ со всѣхъ сторонъ скитъ Андрея Поморянина, они остановились.

— Ну, что, голубка,—спросилъ Ферапонтъ вполголоса Дарью,—куда намъ теперь?

— А вотъ ступай направо-то по дорогѣ.

— Да не лучше ли здѣсь подождать? Вѣдь по зарѣ-то какъ разъ услышатъ конскій топотъ.

— Небось, не услышатъ; теперь всѣ спятъ.

— А сторожъ?

— Чай, также спитъ... Вѣдь эту недѣлю сторожемъ-то Архипка, его очередь.

— Архипка!.. Вотъ этотъ рыжій парень, что ты на святкахъ видѣла?..

— Ну, да!.. Соня такой!.. Бывало, нѣтъ чтобы обойти ночью разика два кругомъ скита—храпитъ себѣ да и только!.. Третьяго дня хозяинъ ужъ щунялъ, *щунялъ его* за это...

— Вотъ то-то и есть!. Ну, коли его нелегкая понесетъ сегодня?..

— Да нѣтъ!.. Вѣдь онъ такая дрянь, что и сказать нельзя!.. И Дуняшка-то его такая же, только бы дрыхнуть!.. За что хлѣбомъ кормятъ!

— Ну, что, батюшка! — продолжалъ Ферапонтъ, обращаясь къ своему барину, — что намъ, подъѣхать къ самому огороду или нѣтъ?

— А вотъ мы съ Дарьей пойдемъ пѣшкомъ,—молвилъ Левшинъ, выпрыгнувъ изъ кибитки,—а ты ступай потихоньку за нами.

Когда Левшинъ прошелъ шаговъ двѣсти по дорожкѣ, изрытой глубокими колеями, Дарья сказала ему шопотомъ:

— Вонъ, батюшка, за толстой-то березою должна быть калитка. Побудь-ка здѣсь, а я пойду, посмотрю, дожидается ли насъ Софья Андреевна. Коли она тутъ, моя голубка, такъ я вмѣстѣ съ ней и приду... Да смотри, батюшка, стой смирно... Хоть я и не чаю, чтобъ этотъ увалень, Архипка, сталъ ходить дозоромъ, да вѣдь кто знаетъ: тутъ-то его чортъ и дернетъ!

Левшинъ остался одинъ: позади него, шагахъ въ десяти, остановился Ферапонтъ съ лошадьми. Кругомъ все было такъ тихо, что Левшинъ не только чувствовалъ, но даже слышалъ каждое біеніе своего сердца. Кто не испыталъ на себѣ самомъ эту неизъяснимую тоску тревожнаго ожиданія, эту томительную лихорадку души, это болѣзненное, почти безумное состояніе, въ которомъ минута кажется намъ годомъ, а день цѣлой жизнью—да! кто не испыталъ этого на самомъ себѣ, тотъ не пойметъ никогда, что чувствовалъ Левшинъ, стоя неподвижно на одномъ мѣстѣ около часу. То ему казалось, что Софья, эта кроткая, боязливая дѣвица, никогда не рѣшится на такой смѣлый поступокъ! то думалъ онъ, что она занемогла; то приходило ему въ голову, что Андрей догадался и увезъ ее въ Мещовскъ.—Вотъ ужъ утро, а ея нѣтъ какъ нѣтъ!—прошепталъ онъ наконецъ съ отчаяніемъ.—Боже мой,

Боже мой!.. И чего я жду, чего надѣюсь?.. Безумный! да развѣ ты не знаешь, что тебѣ не суждено быть счастливымъ?.. Ступай-ка лучше да похорони себя заживо, — авось подъ черной рясою замретъ въ тебѣ навѣки ретивое!.. Помаялось оно, понатерпѣлось горя— будетъ съ него!

Вдругъ послышалось ему что-то похожее на тихій шелесть отдаленныхъ шаговъ... Да! такъ точно!.. Кто-то медленно и робко крадется по лѣсу... У Левшина занялся духъ. Его съ головы до ногъ обдало холодомъ. Еще нѣсколько минутъ, и участь его рѣшена навѣки!.. Напрасно нетерпѣливый взоръ его силился проникнуть въ глубину лѣса — онъ не видѣлъ ничего... Но вотъ! шорохъ становится слышнѣе, вотъ близехонько хрупнула сухая вѣтка... «Нѣтъ, я не могу идти далѣе!» — раздался въ десяти шагахъ отъ него этотъ знакомый, очаровательный голосъ. Левшинъ вскрикнулъ, бросился впередъ, и полумертвая Софья упала безъ чувствъ въ его объятія.

— Софья! другъ мой! ты ли это?—повторялъ Левшинъ, прижимая ее къ груди своей.

— Она, Дмитрій Афанасьичъ, — она! — шепнула Дарья.—Да мѣшкать-то нечего — наговоритесь послѣ.

— Боже мой! она безъ памяти!

— Очнется, батюшка!.. Неси ее скорѣй въ повозку!

Въ самомъ дѣлѣ, прежде чѣмъ Левшинъ донесъ Софью до кибитки, она пришла въ себя.

— Садитесь поскорѣй!—молвилъ Ферапонтъ.—Вотъ ужъ заря-то почитай совсѣмъ занялась. Время, батюшка, время!

Софья и Дарья помѣстились въ кибиткѣ; Левшинъ присѣлъ на облучекъ.

— Ну что, сѣли!—спросилъ Ферапонтъ, подбирая возжи.

— Стой!—раздался грубый голосъ, и рыжій широкоплечій дѣтина, выскочивъ изъ-за куста, схватилъ подъ уздцы лошадей.

— *Архипка*!—вскрикнула Дарья.

— Эй, братцы, сюда!.. Воры!—заревѣлъ сторожъ, продолжая удерживать лошадей.

— Отцѣпись! — закричалъ Ферапонтъ, — а не то стопчу!

— Сюда, ребята, сюда!

— Батюшки, перебудитъ онъ всѣхъ! — шепнула Дарья.

— Ахъ, ты упрямая башка!—молвилъ Ферапонтъ.— Ну, такъ смотри же, братъ, держись!.. Эй вы, соколики!

Вся тройка рванулась впередъ, и сторожъ, отброшенный шаговъ на десять въ сторону, упалъ между кустовъ. Вихремъ понеслись удалые кони, какъ сплошной частоколъ замелькали по обѣимъ сторонамъ высокія деревья, кибитка запрыгала по колеямъ и минутъ черезъ пять наши путешественники, оставивъ позади себя березовыя рощи, выѣхали на проселочную дорогу, которая вела въ скитъ перекрещеванцевъ.

— Ну, что, батюшка,—спросилъ Ферапонтъ, сдерживая лошадей,—всталъ онъ или нѣтъ?

— Кто?—подхватила Дарья.—Архипка-то рыжій?.. Вѣстимо всталъ — что ему дѣлается?.. Развѣ ты не видѣлъ, что онъ упалъ въ кусты?

— Ну, такъ зѣвать-то нечего: за нами будетъ погоня. Эй, вы!

Левшину некогда было и словечка перемолвить съ своей суженой; онъ смотрѣлъ заботливо по сторонамъ и безпрестанно остерегалъ Ферапонта. Изгибистая и неровная дорога была мѣстами до того дурна, что даже и при тихой ѣздѣ повозка могла весьма легко опрокинуться, а они мчались то вскачь, то шибкой рысью. Изрѣдка только удавалось Левшину взглянуть на Софью, которая сидѣла, закутавшись въ свою фату, и горько плакала. Дарья не утѣшала ея; напротивъ, она шептала ей отъ времени-довремени:

— Плачь, матушка, плачь!.. Невѣсты всегда плачутъ... Вотъ какъ и мнѣ Господь приведетъ идти подъ вѣнецъ, такъ ты и меня не изволь уговаривать—ревкой

буду ревѣть!.. Нельзя, Софья Андреевна. Какъ можно невѣстѣ не плакать: всѣ добрые люди осудятъ!

Благодаря искусству Ферапонта и заботливой осторожности его барина, все шло покамѣстъ благополучно: повозка ни разу не опрокинулась, и вотъ наконецъ путешественники, или, вѣрнѣе сказать, наши бѣглецы могли вздохнуть свободно. До перекрещеванскаго скита оставалось не болѣе полуверсты, а тамъ ужъ начиналась широкая и гладкая дорога, вплоть до самаго полусела Куклина. Вдругъ лошади на всемъ бѣгу остановились, коренная попятилась назадъ, а пристяжныя начали храпѣть и кидаться на стороны... — Ахти! — шепнулъ Ферапонтъ, — никакъ медвѣдь! — Онъ едва успѣлъ выговорить эти слова, какъ шагахъ въ двадцати передъ ними раздался болѣзненный ревъ, и огромный медвѣдь, облѣпленный со всѣхъ сторонъ медовыми сотами и усыпанный безчисленнымъ множествомъ пчелъ, перебѣжалъ черезъ дорогу.—Ага, воръ косолапый!—промолвилъ Ферапонтъ,—не станешь впередъ таскаться по пчельникамъ!

— Держи лошадей-то, держи! — закричалъ Левшинъ. Но испуганные кони вышли совершенно изъ повиновенія. Несмотря на всѣ усилія Ферапонта, они свернули съ дороги и какъ шальные бросились прямо въ лѣсъ. Проскакавъ шаговъ сто по кустамъ и мелкой заросли, они врѣзались въ самую середину лѣса; повозка задними колесами задѣла за сосну, лошади остановились, но колесы разлетѣлись вдребезги, и кибитка упала на-бокъ. Къ счастію, никто не ушибся, и когда Левшинъ высадилъ изъ повозки своихъ спутницъ, то увидѣлъ, что изъ нихъ гораздо болѣе испугалась Дарья, чѣмъ Софья.

— Господи Боже мой!—вопила толстая дѣвка,—что съ нами будетъ!.. Вѣдь медвѣдь-то насъ всѣхъ переѣстъ!..

— Эхъ, Дарья, нишни! — прервалъ Ферапонтъ. — Небось! онъ никого не съѣстъ.

— Чу! слышишь, какъ онъ реветъ?.. Ахъ, ба-

тюшки! никакъ идетъ сюда!.. Ну, пропали наши головушки!

— Да что тебѣ дался медвѣдь?.. Говорятъ тебѣ—небось!.. Ему теперь не до насъ; ему бы поскорѣй до водицы добраться, а не то пчелы-то закусаютъ до смерти. Ну, что, батюшка — продолжалъ Ферапонтъ, обращаясь къ Левшину, который суетился вокругъ кибитки,—что колесы?

— Однѣ ступицы остались.

— Ну, вотъ-те бабушка и Юрьевъ день! Чтожъ намъ теперь дѣлать-то, Дмитрій Афанасьичъ?

— Вѣстимо, что!.. Вѣдь отсюда близехонько скитъ перекрещеванцевъ; ступай, купи у нихъ телѣгу.

— Да они пожалуй заломятъ и Богъ знаетъ что.

— Все равно! У тебя деньги есть, давай, что попросятъ.

— Нѣтъ, Ферапонтъ,—сказала Дарья,—хоть вовсе не ходи: теперь всѣ еще спятъ, а коли гдѣ и достучишься, такъ тебя ни за что въ избу не впустятъ. Вѣдь здѣсь такой народъ, что не приведи Господи!

— Э! знаешь ли что, Дарьюшка?. Пойдемъ-ка вмѣстѣ къ твоей знакомой старушкѣ, Аксиньѣ Никитичнѣ...

— Да ея нѣтъ дома. Я вчера къ ней заходила. Ушла за пятнадцать верстъ и домой-то вериется развѣ сегодня къ вечеру.

— Ну, плохо дѣло!.. Мы будемъ здѣсь валандаться, а Андрей Поморянинъ, того и гляди, что нагрянетъ сюда съ цѣлой ватагою... Постой-ка, постой!.. Вѣдь избенка этого безумнаго Павла—вотъ, что хотѣлъ насъ въ дождевой водѣ перекрещивать—кажись близехонько отсюда? Попытаться развѣ... Неровенъ часъ: иногда и дуракъ сослужитъ службу лучше умнаго... Ты, батюшка, останься здѣсь, только смотри, чтобъ васъ и слышно не было... Какъ знать, неровно вдругъ нагрянутъ. А чтобъ и лошади-то стояли смирно, такъ нащиплите травки, да дайте имъ перехватить, а я пойду, толкнусь къ этому шальному.

Ферапонтъ не ошибся въ своемъ предположеніи: избушка перекрещеванца Павла была шагахъ въ трехстахъ отъ того мѣста, гдѣ ихъ разбили лошади. Онъ тотчасъ узналъ ее по огромной плетушкѣ съ дождевой водой, которая стояла попрежнему у самыхъ воротъ. Ферапонтъ стукнулъ подъ окномъ.

— Кто тамъ? — раздался въ избѣ звонкій голосъ Павла.

— Я, батюшка—я!

— Да кто ты?

— Знакомый.

Окно растворилось, и Павелъ высунулъ изъ него свою косматую голову.

— Здравствуй, отецъ Павелъ! — сказалъ Ферапонтъ.—Мнѣ надо съ тобой словечко перемолвить.

— Да ты кто таковъ?

— А вотъ помнишь, третьяго дня проѣзжіе—еще ты уговаривалъ насъ креститься въ дождевой водѣ.

— Ну, такъ чтожъ?

— А то, батюшка, что мнѣ надо объ этомъ путемъ съ тобой потолковать. Ужъ полно, не правду ли ты говоришь, отецъ Павелъ?

— Ну, коли ты хочешь объ этомъ со мною побесѣдовать, такъ милости просимъ.

Павелъ отперъ ворота и, введя своего гостя въ избу, пригласилъ его сѣсть на лавку подъ образами; но Ферапонтъ низко поклонился и промолвилъ смиреннымъ голосомъ.

— Нѣтъ, отецъ Павелъ, изволь-ка садиться въ передній уголъ, ты вѣдь наставникъ, а я что? я и постою.

Павелъ, который во всю жизнь свою не могъ попасть ни къ кому въ наставники, обомлѣлъ отъ радости; онъ вытащилъ изъ-подъ лавки рогожку, разостлалъ ее по полу, потомъ снялъ съ полки толстую книгу въ кожаномъ переплетѣ, разогнулъ ее и положилъ на столъ, а самъ, помѣстясь подъ образами, погладилъ съ важностію свою жиденькую бородку и сказалъ:

— Ну, коли ты прибѣгаешь ко мнѣ яко суетный и избираешь меня въ свои отцы духовные и наставники, такъ я пріемлю тебя съ любовію. Я вижу, ты желаешь покаяться въ грѣхахъ твоихъ — кайся, чадо, кайся!

— Вотъ тебѣ разъ!—подумалъ Ферапонтъ.—Ахъ, ты шельмецъ этакій! еще хочетъ исповѣдовать!..

— Ну, чтожъ ты, чадо?—продолжалъ Павелъ.— Преклони колѣна и кайся во грѣхахъ своихъ!

— Нѣтъ, батюшка! — прервалъ Ферапонтъ, — эта рѣчь впереди. Я хотѣлъ только сказать тебѣ, что третьяго дня мы съ бариномъ торопились въ село Толстошеино, такъ намъ некогда было тебя послушать, а все-таки насъ раздумье взяло... Немного ты словъ сказалъ, отецъ Павелъ, а всѣ они у меня и у моего барина крѣпко въ головѣ засѣли.

— Право?

— Какъ подумаешь — подлинно правда: вся земля осквернена?

— Ужъ я тебѣ говорю!.. Живого мѣстечка не осталось. Куда ни оборотись, все мерзость запустѣнія!

— Истинно такъ!.. И баринъ мой говоритъ то же.

— А коли вся земля предана скверне, такъ какъ же текущія по лицу ея воды могутъ оставаться неосквернеными.

— Такъ, такъ!.. И баринъ мой говоритъ то же.

— А вѣдь окрещенныхъ въ оскверненной водѣ надо опять перекрещивать?

— Надо, батюшка, надо!

— Ну!.. А въ чемъ же ты ихъ станешь крестить?.. Анъ дѣло-то и выходитъ, что одно только и есть вода, непричастная сему злу—вода небесная.

— Сирѣчь дождевая?.. Вотъ и баринъ мой говоритъ то же.

— А коли такъ, зачѣмъ же дѣло стало?.. Гдѣ твой баринъ?.. Подавай его!.. Я васъ сейчасъ окрещу.

— Нѣтъ, отецъ Павелъ, погоди!.. Дай намъ прежде подумать да приготовиться; вѣдь это дѣло не шуточное.

— Эй, не откладывайте!.. Благо вы попали на правый путь... Что тутъ мѣшкать, коли у меня есть про васъ и крещенье истинное, и отпущенье грѣховъ, и спасенье душевное...

— Такъ, батюшка, такъ!.. А есть ли у тебя телѣга?

— Телѣга! На что тебѣ?

— Да вотъ дѣло какое, отецъ Павелъ: мой баринъ былъ наречennымъ женихомъ дочери Андрея Поморянина.

— Какъ!.. этого пришлеца... отщепенца окаяннаго, который называетъ насъ еретиками?

— Да вѣдь дочь-то вовсе не въ батюшку, и она то же говоритъ, что баринъ.

— Ой-ли?

— Какъ же!... Вѣдь за это и дѣло стало. Андрей какъ-то подслушалъ, что мой баринъ уговорился съ его дочерью взять тебя въ наставники—вотъ и пошла потѣха!.. Батюшки, какъ онъ осерчалъ!

— Эка зависть, подумаешь!.. Мало ли у него учениковъ-то, разбойниковъ этакій!

— Ну, вотъ поди ты!.. Поднялъ такой крикъ, что святыхъ вонъ понеси!.. Ужъ онъ позорилъ, позорилъ тебя!.. Что, дескать, этотъ Павелъ—дурачина, мужикъ безграмотный!..

— Безграмотный?.. Вретъ онъ, нечестивецъ этакій!.. Вишь, ученъ больно!.. Да я плевать хотѣлъ на его сатанинскую мудрость! Что мудрость земная?.. Прахъ!

— Вотъ и баринъ мой говоритъ то же, да онъ-то свое несетъ. «Коли, дескать, ты идешь въ ученики къ этому лапотнику Павлушкѣ Калмыку, такъ не выдаю за тебя дочери; пошелъ вонъ изъ дому!» — Ну, дѣлать нечего, вотъ мы и поѣхали въ село Толстошеино: тамъ у барина моего есть пріятель; а сегодня чѣмъ-свѣтъ подъѣхали къ Андрееву скиту да дочку-то у него и сманили.

— Право?.. Дѣло, ребята, дѣло!.. Ай да молодцы!.. *Пишто ему*, еретику проклятому!

— Да вотъ, отецъ Павелъ, какой грѣхъ случился: недалеко отъ твоей избы медвѣдь перебѣжалъ черезъ дорогу...

— Медвѣдь?.. Такъ вотъ что!.. То-то я слушаю, что это Жучка у меня на пчельникѣ воетъ какъ за языкъ повѣшенная...

— Кони-то у насъ молодые, — продолжалъ Ферапонтъ, — испугались, кинулись въ сторону, изломали повозку — вотъ мы теперь и сидимъ; а того и гляди, что за нами погоня будетъ.

— Да вы куда ѣдете?

— Въ село Толстошеино.

— А кони ваши гдѣ?

— Тамъ, съ бариномъ, въ лѣсу — близехонько отсюда.

— Телѣга-то у меня есть—и знатная телѣга!

— Мы тебѣ за нее заплатимъ, отецъ Павелъ.

— Зачѣмъ!.. Вѣдь вы скоро опять ко мнѣ будете?

— Какъ же!.. Дай только намъ свадьбу отпировать, а тамъ всѣ къ тебѣ пріѣдемъ.

— Такъ вы захватите ее съ собою.

— И то дѣло!.. А ты нашу повозку побереги. Да только, пожалуйста, отецъ Павелъ, поторопись!.. Вѣдь Андрей какъ разъ нагрянетъ съ народомъ, а насъ всего двое.

— Ну, пойдемъ!

Когда они вышли на дворъ, Ферапонтъ, не мѣшкая, осмотрѣлъ телѣгу и принялся уже тащить ее со двора, какъ вдругъ остановился и сталъ прислушиваться.

— Постой-ка на минутку,—шепнулъ онъ, выпуская изъ рукъ оглобли. — Что это какъ будто-бъ вѣтромъ наноситъ?.. Чу! слышишь?

— Да, слышу!.. Сюда ѣдутъ и, кажись, очень шибко.

— Ну, такъ и есть! Отецъ Павелъ, запри-ка ворота да пойдемъ въ избу. Коли они остановятся да станутъ тебя разспрашивать...

— Небось! Ужъ я знаю, что имъ отвѣтить.

Ферапонтъ очень обрадовался, что успѣлъ отдѣлаться отъ этого Павла, котораго онъ вовсе не желалъ свести съ своимъ бариномъ.

— Фу ты, батюшки! — молвилъ онъ, выходя на дворъ, — насилу отвязался. Бѣда, кабы онъ приставъ къ барину: вѣдь тотъ, пожалуй, все дѣло бъ испортилъ. Ну, теперь за работу!

Ферапонтъ впрегся въ телѣгу и, какъ добрый конь, довезъ ее въ двѣ минуты до того мѣста, гдѣ лежала на боку ихъ повозка. Онъ нашелъ всѣхъ въ большой тревогѣ.

— Ферапонтъ!—сказалъ торопливо Левшинъ,—что это за люди проскакали по дорогѣ?.. Ужъ не погоня ли?

— Да, батюшка.

— Чтожъ намъ дѣлать? Вѣдь дорога-то одна?

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ! — отвѣчалъ Ферапонтъ, спѣша запрягать лошадей.—Мнѣ добрый человѣкъ показалъ дорогу. Мы выѣдемъ по ней прямехонько къ селу Толстошеину. Говорятъ, больно плоха; да Богъ милостивъ, авось проѣдемъ какъ-нибудь!

Черезъ нѣсколько минутъ все было готово. Наши путешественники выбрались потихоньку изъ лѣсу и, доѣхавъ до околицы Федосѣевскаго скита, повернули налѣво въ узкую просѣку, по обѣимъ сторонамъ которой тянулся безконечный рядъ огромныхъ деревьевъ. Внизу, поросшая высокой травою дорога была еще покрыта густою тѣнью, но на высокихъ вершинахъ этихъ вѣковыхъ сосенъ играли уже первые лучи восходящаго солнца.

X.

Встрѣча съ медвѣдемъ до того перепугала Дарью, что когда они въѣхали въ эту темную и пустынную просѣку, ей стали поминутно мерещиться то огромные медвѣди, то цѣлыя стаи косматыхъ волковъ. Съ трепетомъ озираясь кругомъ, она творила про себя молитву *и вскрикивала* всякій разъ отъ ужаса, когда въ лѣсу

раздавался шорохъ или хрустѣлъ валежникъ подъ ногами какого-нибудь звѣря. Впрочемъ, эти опасенія раздѣлялъ съ нею—разумѣется, до нѣкоторой степени—и самъ Ферапонтъ; онъ замѣчалъ, что лошади отъ времени-довремени пугались, храпѣли и робко прижимали къ головамъ свои чуткія уши. Софья, напротивъ, казалась гораздо спокойнѣе и даже веселѣе прежняго; по крайней мѣрѣ, она уже не плакала. Пока Ферапонтъ бесѣдовалъ съ Павломъ, то-есть старался выманить у него телѣгу, Левшинъ успѣлъ обо всемъ переговорить со своей невѣстою. Теперь она знала, что у боярина Куродавлева все готово для ихъ свадьбы, и что черезъ нѣсколько часовъ она уже будетъ не бѣглянкою, но законной супругою Левшина. Конечно, для нея очень было прискорбно идти замужъ безъ отцовскаго благословенія; но она и тутъ утѣшала себя мыслію, что рано или поздно отецъ проститъ ее; а сверхъ того Софья рѣшилась на этотъ отчаянный поступокъ потому только, что ей ничего другого не оставалось дѣлать. «О, я никогда бы не вышла изъ отцовской воли!»—думала Софья;—«и еслибъ батюшка не хотѣлъ меня выдать за этого мещовскаго воеводу, то, можетъ-быть, я умерла бы съ горя, а все-таки не обвѣнчалась бы ни съ кѣмъ безъ его благословенія».

Когда наши путешественники проѣхали верстъ около шести по этой, хотя и ровной, но зато вовсе не торной дорогѣ, Ферапонтъ, замѣтивъ, что лошади начинаютъ уставать, пересталъ ихъ понукать и далъ волю идти шагомъ.

— Вотъ,—сказалъ онъ,—дорога, кажись, гладкая, а какъ разъ лошадокъ уморишь. Намъ хорошо, да имъ-то каково бѣжать цѣликомъ: вѣдь колеса по травѣ вовсе не катятся... Правда, гнать-то намъ нечего: мы здѣсь съ Андреемъ не встрѣтимся.

— А что, дорога все будетъ этакая? — спросилъ Левшинъ.

— Да Богъ вѣсть!—отвѣчалъ Ферапонтъ, посматривая вдоль просѣки.—Говорятъ, впереди есть болотца

и Брынь надо переѣзжать. Вѣдь лѣтомъ по этой дорогѣ никто не ѣздитъ.

— Такъ проѣдемъ ли мы?

— Проѣдемъ какъ-нибудь. Ну, можетъ статься, разика два-три и побьемся. Какъ попадешь въ трясину, такъ не скоро выѣдешь. Правда, мнѣ говорили, что вчера еще одинъ мужичокъ проѣхалъ порожнякомъ по этой дорогѣ, такъ авось и насъ Господь пронесетъ.

— Говорили!.. Да кто тебѣ говорилъ?

— А вотъ этотъ перекрещеванецъ, Павелъ.

— Такъ ты у него и телѣгу-то купилъ?

— Нѣтъ, не купилъ: онъ мнѣ такъ ее далъ.

— Вотъ что... Да какъ же это онъ?..

— А такъ же!.. Въ томъ-то и дѣло, Дмитрій Афанасьичъ: какъ погладишь дурака по шерсти, такъ онъ за тебя въ воду полѣзетъ. Кабы я не сказалъ этому полоумному, что хочу идти въ его вѣру, такъ онъ бы меня и на дворъ не пустилъ.

— Такъ ты ему сказалъ, что хочешь перекрещиваться?

— Какъ же, батюшка!.. Я сказалъ, что и ты желаешь взять его въ свои наставники.

— Что ты, въ умѣ ли, Ферапонтъ?.. И какъ у тебя языкъ повернулся...

— Да чтожъ мнѣ было дѣлать, Дмитрій Афанасьичъ?.. Коли на правду не возьмешь, а на силу взять нельзя, такъ пришлось подыматься на хитрости. Иль ты думаешь, мнѣ весело было, когда этотъ сермяжникъ выдумалъ меня исповѣдовать.

— Исповѣдовать?

— Да, батюшка!.. Насилу отвязался. Вытащилъ какую-то книгу и рогожку мнѣ подослалъ, чтобъ я сталъ на колѣни; да такъ и пристаетъ—лапотникъ этакій!.. «Кайся, чадо, кайся!»—Вотъ ты, Дмитрій Афанасьичъ, смѣешься, а мнѣ вовсе не до смѣху было. Кабы воля да воля, такъ я бы этого Павлушку богохульника отучилъ исповѣдовать; а тутъ дѣлать-то нечего, и зло беретъ, да поневолѣ кланяешься и гово-

ришь этому замарашкѣ: «батюшка, отецъ Павелъ!» Вотъ то-то и есть, Дмитрій Афанасьичъ, не даромъ пословица: «неволя плачетъ, неволя скачетъ, неволя пѣсенки поетъ».

— Ступай-ка, Ферапонтъ, скорѣй,—прервалъ Левшинъ. Мы этакъ, пожалуй, цѣлый день протащимся.

— Куда цѣлый день! Лишь только бы не сидѣть гдѣ-нибудь въ болотѣ, а то коли и все шагомъ поѣдемъ, такъ будемъ дома прежде полудня. Ну что, сердечныя, вздохнули?.. Эй вы!

Несмотря на свою усталость, лошади приняли дружно и побѣжали шибкой рысью.

— Э! да что это? — промолвилъ Ферапонтъ, когда они проѣхали еще версты двѣ.—Никакъ Брынь?.. Ну, такъ и есть!.. Дмитрій Афанасьичъ,—продолжалъ онъ, сдерживая лошадей,—возьми-ка, батюшка, вожжи, а я пойду поищу, гдѣ намъ переѣхать.

Ферапонтъ возвратился черезъ нѣсколько минутъ, неся въ рукахъ свою обувь.

— Ну, что?—спросилъ Левшинъ.—Есть-ли бродъ?

— Знатный, батюшка! — Не глубоко; въ одномъ только мѣстѣ по поясъ, а то все по колѣно.

— Такъ садись скорѣе.

— Нѣтъ, Дмитрій Афанасьичъ, лошадей-то надо выпрячь.

— А что?

— Да съ нашей стороны спускъ больно плохъ. Видно, весной большая вода была: весь берегъ подмыло. Такой обрывъ, что не приведи Господи!.. Въ поводу-то лошадей мы какъ-нибудь переведемъ, а ужъ телѣгу надо на себѣ спустить.

— Ахъ, батюшки!—вскричала Дарья.—Да намъ-то какъ же?.. Неужели по водѣ идти?

— Зачѣмъ? Вы только спуститесь съ берега, а тамъ садитесь опять въ телѣгу, ужъ я васъ перевезу. Да ты не изволь тревожиться, матушка Софья Андреевна! — промолвилъ Ферапонтъ, обращаясь къ невѣстѣ своего барина.—Мы и не такіе возы на себѣ

важивали. Что въ васъ обѣихъ тяги-то много-ли!.. А я однажды, за споромъ, сорокоушу съ водой на берегъ вывезъ.

Левшинъ перевелъ по одиночкѣ лошадей черезъ Брынь, а Ферапонтъ, привязавъ къ телѣгѣ вожжи, спустилъ ее почти съ отвѣснаго берега въ воду, потомъ помогъ сойдти Софьѣ и Дарьѣ, усадилъ ее опять въ телѣгу и повезъ на себѣ черезъ Брынь.

— Ну! — прошептала Дарья, поглядывая съ невольнымъ уваженіемъ на своего суженаго, — послалъ мнѣ Господь женишка!.. Посмотри-ка Софья Андреевна: словно лошадь везетъ, да хоть бы разъ понатужился!.. Вотъ это молодецъ, такъ молодецъ: ужъ не Архипкѣ рыжему чета!

Когда лошадей опять запрягли, Ферапонтъ, желая вознаградить потерянное время, погналъ ихъ снова рысью. Не прошло и четверти часа, какъ они выѣхали на небольшую луговину, посреди которой росли отдѣльной куртиною нѣсколько сосенъ. Одна изъ нихъ была необычайной толщины, и ея вѣтвистая вершина не подымалась остроконечной пирамидою къ верху, но раскидывалась во всѣ стороны огромнымъ шатромъ. Просѣка, которая оканчивалась этой поляною, начиналась снова на ея противоположной сторонѣ. Поровнявшись съ сосновой куртиною, Ферапонтъ остановилъ лошадей.

— А что, Дмитрій Афанасьичъ, — сказалъ онъ, — какъ ты думаешь: прямо что-ль намъ ѣхать?

— Да развѣ ты не видишь: вонъ просѣка-то передъ нами.

— Вижу, батюшка, вижу!.. Только не здѣсь ли гдѣ-нибудь поворотъ въ Толстошейно?.. Кажись, нѣтъ. Я посматривалъ и направо и налѣво.

— Такъ, видно, мы еще до поворота не доѣхали.

— Видно, что такъ!

— Внимайте, путники, внимайте!—закричалъ кто-то пронзительнымъ и дикимъ голосомъ. Этотъ внезапно *раздавшійся* въ пустынномъ лѣсу человѣческій голосъ

заставилъ невольно содрогнуться Левшина и Ферапонта. Софья поблѣднѣла, а Дарья вскрикнула съ ужасомъ: «Батюшки—лѣшій!»

— Чего ради блуждаете въ сихъ дебряхъ! — раздался опять тотъ же самый голосъ. — Или желаете обрѣсти смиреннаго старца Пафнутія, и святой бесѣдою его очистить осквернения грѣхомъ сердца ваши?

— Э! да это Пафнутій—прошепталъ Ферапонтъ.— Ну, помнишь, батюшка, запощеванцевъ?.. Да откуда онъ намъ кричитъ?.. А, вотъ онъ!.. Посмотри-ка, Дмитрій Афанасьичъ, вонъ на соснѣ... видишь, онъ сидитъ какъ сычъ въ дуплѣ!.. Подержи-ка, батюшка, лошадей, а я сойду съ нимъ поговорить, авось онъ намъ укажетъ, гдѣ поворотъ.

Ферапонтъ снялъ шапку и подошелъ къ толстой соснѣ. Изъ дупла, которое было сажени двѣ отъ земли, выглядывало знакомое уже нашимъ читателямъ, худощавое, звѣрское лицо, съ полоумными, сверкающими глазами.

— Богъ помощь, отецъ Пафнутій!—сказалъ Ферапонтъ, кланяясь въ поясъ. — Я привезъ тебѣ поклонъ отъ Федосѣевскаго старца, отца Павла.

— Да ты-то самъ, чадо, мимо грядешь,—прервалъ Пафнутій,—или пришелъ въ сію пустыню ради меня, труженика и благовѣстника истинной вѣры?

— Нѣтъ, батюшка! Я теперь ѣду въ село Толстошеино, да скоро вернуся назадъ и ужъ тогда послушаю твоихъ рѣчей. Я затѣмъ и поѣхалъ зимней дорогою, чтобъ отвести тебѣ отъ отца Павла поклонъ, да и самому мнѣ хотѣлось тебѣ поклониться.

Пафнутій поглядѣлъ недовѣрчиво на Ферапонта и сказалъ:

— Въ село Толстошеино!.. А почто грядешь ты, чадо, въ сей вертепъ льва рыкающаго, въ сіе жилище слуги и сподвижника антихристова?

— Послали, батюшка; дѣло невольное; велятъ, такъ поѣдешь.

— А кто сей мужъ, что сидитъ у тебя на возу съ покрытой главою?

— Это, батюшка, недужный человѣкъ, слѣпой и нѣмой. Мнѣ приказано отвезти его въ село Толстошеино.

— А юныя отроковицы, съ нимъ сидящія?

— Сестра его и работница... Теперь, отецъ Пафнутій, скажи пожалуйста: вѣдь прямо-то просѣкою дорога куда пойдетъ?

— Въ нѣкую вѣсь, селомъ Бобровымъ именуемую.

— А гдѣ же поворотъ въ Толстошеино?

— Обратися вспять, чадо! Зришь ли тамо четыре древа, ихъ же березами нарицаютъ?

— Четыре березы?.. Вижу, отецъ Пафнутій, вижу.

— На восточной странѣ оныхъ, среди мелкодревесія, и обрѣтается путь, ведущій въ сіе гнѣздилище разврата и нечестія, глаголемое село Толстошеино.

— Такъ мы поворотъ-то проѣхали! Ну, — промолвилъ Ферапонтъ, надѣвая шапку,—спасибо тебѣ, старинушка, что ты голосъ подалъ! Кабы не ты, такъ мы сбились бы съ дороги такъ же, какъ дня четыре тому назадъ... ну, вотъ помнишь, Пафнутій, какъ мы у тебя запощеванцевъ отбили?

— Какъ! — вскричалъ Пафнутій; — такъ это вы, богоотступники окаянные?

— Мы, дѣдушка, мы! Счастливо оставаться!

— Ахъ вы святотатцы проклятые!.. Еретики, разбойники, душегубцы!

— Врешь ты, сычь этакій — прервалъ Ферапонтъ уходя.—Мы не въ тебя, старый чортъ: мы живыхъ-то людей голодомъ не моримъ!

— Умолкни, буесловъ нечестивый!—завопилъ неистовымъ голосомъ раскольникъ.—Да будетъ часть твоя съ Каиномъ, Іудою и три краты окаяннымъ наставникомъ вашимъ, Андреемъ Поморянином!

— Экій злющій! — шепнулъ Ферапонтъ, подходя къ телѣгѣ. — Словно цѣпная собака — такъ и надсѣдается!

— Да постигнутъ васъ всѣ казни египетскія! — продолжалъ кричать Пафнутій.—Да пожретъ васъ въ живѣ адскій пламень, и ни единая капля воды да не прохладитъ богохульныхъ устъ вашихъ.

— Тьфу ты, старый хрѣнъ!—сказалъ Ферапонтъ, отплевываясь. — Надъ тобой бы самимъ и трястось, филинъ этакій! Вишь, что сулитъ, проклятый! — промолвилъ онъ, садясь на козлы и поворачивая лошадей.

Доѣхавъ до березъ, они отыскали поворотъ въ село Толстошеино и потащились шагомъ по дорогѣ, которая до того была узка и изрыта корнями сосенъ, что по ней невозможно было ѣхать иначе. Долго еще доносились до ихъ слуха дикіе вопли Пафнутія, который продолжалъ бѣсноваться и осыпать ихъ проклятіями.

— Что это онъ такъ осерчалъ? — спросилъ Левшинъ.

— Да вотъ что, батюшка,—отвѣчалъ Ферапонтъ.— Онъ меня не призналъ; а я, какъ выпыталъ отъ него, куда намъ ѣхать, такъ и напомнилъ ему о запощеванцахъ.

— Охота же тебѣ дразнить сумасшедшихъ.

— Нельзя, Дмитрій Афанасьичъ!.. За что же я передъ нимъ шапку-то снималъ, да кланялся ему въ поясъ?.. Чего добраго, этотъ гордецъ сталъ бы думать, что я и взаправду приходилъ къ нему на поклоненіе.

— Да вѣдь Павелъ же думаетъ, что ты хочешь быть его ученикомъ.

— То дѣло другое, батюшка! Павелъ далъ намъ телѣгу, изъ бѣды насъ выручилъ—такъ пусть себѣ и потѣшается. А этотъ что?.. Дорогу-то показалъ!.. Да и воля твоя, батюшка: Павелъ просто человѣкъ убогій, шальной, а этотъ Пафнутій не человѣкъ, а дикій звѣрь!.. Чу! слышишь ли, Дмитрій Афанасьичъ — онъ все еще оретъ!.. Эко горло, подумаешь!.. Ну! не диво, что этотъ еретикъ живетъ въ лѣсу одинъ: коли онъ этакъ часто покрикиваетъ, такъ медвѣди-то и волки, чай, верстъ за пять кругомъ дрожкой дрожатъ!

Наши путешественники переправились вторично безъ дальняго труда черезъ рѣчку Брынь и проѣхали благополучно трясины, по которымъ въ лѣтнюю пору почти всегда не было никакого проѣзда. На этотъ разъ догадка перекрещеванца Павла оправдалась на самомъ дѣлѣ: отъ сильныхъ и постоянныхъ жаровъ болота во многихъ мѣстахъ вовсе пересохли, а въ другихъ окрѣпли до того, что колеса оставляли на нихъ едва замѣтный слѣдъ. Но, несмотря на это, имъ нельзя было ѣхать скоро по усѣянной кочками и крупнымъ валежникомъ дорогѣ, или, лучше сказать, цѣлику, который въ зимнее только время превращался въ гладкую и ровную дорогу. Солнце было уже довольно высоко, когда Ферапонтъ, посмотрѣвъ внимательно впередъ, сказалъ своему барину:

— Ну вотъ, Дмитрій Аѳанасьичъ, — слава тебѣ Господи!—сейчасъ выберемся изъ этой трущобы. Видишь, прямо между деревьями?.. Теперь позаслонило кустами... вотъ опять мелькнула... это большая дорога, батюшка!.. А посмотри-ка лѣвѣе, вонъ за елкой-то, высокая кровля съ трубою... вѣдь это боярская винокурня!.. Всего съ версту до села осталось.

Въ самомъ дѣлѣ, они выѣхали черезъ нѣсколько минутъ на большую дорогу, и почти въ то же самое время послышался въ близкомъ отъ нихъ разстояніи конскій топотъ. Ферапонтъ невольно осадилъ лошадей.

— Господи! — вскрикнула Дарья, — вонъ скачутъ прямо къ намъ... Ну, попались мы!

— Постой-ка, постой! — молвилъ Ферапонтъ. — Да это ѣдутъ отъ села... вѣрно, къ намъ навстрѣчу... Ну, такъ и есть: Кондратій Тихонычъ!..

Ферапонтъ не ошибся: къ нимъ подъѣхалъ, въ сопровожденіи трехъ верховыхъ, дворецкій боярина Куродавлева. Увидѣвъ незнакомыхъ людей, Софья опустила свою фату. Какъ ни любила она Левшина, но въ эту минуту чувство стыда было въ ней сильнѣе самой любви: ей совѣстно было глядѣть на свѣтъ Божій. Ей казалось, что всѣ должны были смотрѣть на

нее съ этимъ обиднымъ любопытствомъ, съ этой насмѣшливой улыбкою, которая только-что не говоритъ: «Ай да дочка! потѣшила батюшку!.. Теперь ушла отъ отца, а тамъ, глядишь, и отъ мужа убѣжитъ!..»

— О! зачѣмъ я не умерла съ тоски!—шептала про себя бѣдная дѣвушка, заливаясь слезами.—Ужъ одинъ бы конецъ... А теперь... Боже мой, Боже мой!.. да развѣ легче для меня не смѣть взглянуть на добрыхъ людей и по сту разъ на день умирать со стыда!

Левшинъ соскочилъ съ телѣги, а Кондратій спѣшился, подошелъ къ нему и сказалъ почтительнымъ голосомъ.

— Здравствуй, батюшка Дмитрій Афанасьичъ! Ужъ мы тебя ждали, ждали!.. Юрій Максимовичъ начиналъ тревожиться и выслалъ меня къ вамъ навстрѣчу... Онъ приказалъ тебѣ доложить, чтобъ ты пожаловалъ къ нему, а для твоей суженой отведена изба у старосты. Тамъ ее примутъ и уберутъ къ вѣнцу сѣнныя дѣвушки, а боярская кормилица, Матрена Никитишна, вмѣсто посаженой матери благословитъ ее святой иконою. Въ свахи большія, съ осыпаломъ, наряжена моя старуха, а въ меньшія свахи ключница Игнатьевна. Боярин изволилъ сказать, что онъ у тебя посаженымъ отцомъ, и хочетъ снарядить твою невѣсту, какъ свою дочь родную. Отецъ Егоръ ужъ давно васъ въ церкви дожидается, а самъ боярин не будетъ въ поѣздѣ; а какъ вы обвѣнчаетесь, такъ встрѣтитъ васъ у себя съ хлѣбомъ да солью. Онъ прежде вѣнца— промолвилъ вполголоса Кондратій — не желаетъ видѣть твоей суженой: боится, что ей будетъ стыдно.

— Въ продолженіе этого разговора, Дарья, которая также, ради дѣвичьей стыдливости, опустила фату, шептала Софьѣ:

— Смотри-же, Софья Андреевна, когда станутъ тебя одѣвать къ вѣнцу, да начнутъ косу расплетать, такъ ты, моя голубушка, тутъ-то себя покажи—такъ и разрывайся!

Левшину подвели верховую лошадь; онъ присоеди-

нился къ поѣзду и, проводивъ свою невѣсту до старостина двора, который былъ въ двухъ шагахъ отъ церкви, отправился къ боярину Курodавлеву.

XI.

Левшинъ нашелъ боярина въ его любимомъ теремномъ покоѣ.

— Добро пожаловать, Дмитрій Афанасьичъ,—вскричалъ Курodавлевъ, идя къ нему навстрѣчу.—Ну, что твоя суженая? Привезъ ли ты ее?

— Привезъ, Юрій Максимовичъ.

— Ай да молодецъ!. То-то потѣха будетъ въ Мещовскѣ!.. Чай, Федька Токмачевъ затѣялъ пиръ во весь міръ!.. Гостей назвалъ!.. Изхарчился!.. Анъ вотъ тебѣ и невѣста!.. Что взялъ?.. По усамъ текло, да въ ротъ не попало... мошенникъ этакій!.. А я, Дмитрій Афанасьичъ, начиналъ ужъ побаиваться... Да что вы, шагомъ что ль ѣхали?

— Туда ѣхали скоро, Юрій Максимовичъ, а назадъ почитай все шагомъ, насилу дотащились.

— Какъ такъ?.. На этой тройкѣ?

— Чтожъ дѣлать: дорога-то больно плоха. Вѣдь мы ѣхали зимнимъ путемъ.

— Зачѣмъ?

— За нами была погоня, а повозка-то у насъ сломалась. Вотъ пока мы сидѣли притаясь въ лѣсу, погоньщики взяли у насъ переду. Мы послѣ кое-какъ телѣгу достали, да ѣхать-то намъ нельзя было по одной съ ними дорогѣ.

— Вотъ что!.. Такъ за вами была погоня!.. А знаетъ ли Андрей Поморянинъ, что это дѣло ты спроворилъ?

— Какъ-же!.. И меня и слугу моего видѣлъ сторожъ.

— Ну, такъ мѣшкать нечего!.. Чай, будущій твой тесть знаетъ, что ты гостишь у меня и ужъ вѣрно сюда пожалуетъ. Ступай-ка, Дмитрій Афанасьичъ,

принарядись на скорую руку, да и къ вѣнцу!.. Коли васъ успѣютъ повѣнчать прежде, чѣмъ онъ пріѣдетъ, такъ и всѣ концы въ воду!.. Вотъ этакъ-то будетъ лучше,—продолжалъ бояринъ, когда Левшинъ вышелъ изъ покоя;—а то вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, какъ скажешь отцу: да, дескать, любезный, дочка твоя здѣсь, и я, посторонній человѣкъ, хочу выдать ее замужъ; а тебѣ, дескать, родному ея батюшкѣ, до этого и дѣла нѣтъ.— Хочешь съ нами пировать — милости просимъ, а не хочешь — такъ со двора долой! Да этого сказать и языкъ не поворотится!.. Вотъ дѣло другое, какъ повѣнчались, такъ ужъ тутъ и батюшкѣ говорить нечего: въ женѣ воленъ мужъ, а не отецъ. — Эй! кто тамъ?

Въ комнату вошелъ дворецкій.

— Кондратій, — молвилъ Куродавлевъ, — пошли-ка сказать, чтобъ невѣсту скорѣй снаряжали; да готовали колымага, въ которой повезутъ ее къ вѣнцу?

— Какъ-же, Юрій Максимовичъ: она ужъ давно стоитъ у старосты на дворѣ.

— А много-ли вершниковъ будетъ въ жениховомъ поѣздѣ?

— Всего пятнадцать человѣкъ. Впереди Андрюшка Барсукъ поѣдетъ съ тулумбасникомъ, за нимъ шестеро вершниковъ по-парно, тамъ женихъ съ двумя дружками, а позади еще шестеро вершниковъ.

— Эхъ, маленько!.. Ну, да такъ ужъ и быть. А женихъ на чемъ поѣдетъ?

— На своемъ аргамакѣ, батюшка; только мы осѣдлали его твоимъ кизылбашскимъ сѣдломъ съ каменьями; платъ подъ сѣдломъ изъ травчатаго аксамиту, наузъ изъ витого золота, а поводная цѣпь серебряная.

— Хорошо!.. Теперь ступай, да поторопи жениха; мѣшкать нечего.

Оставшись одинъ, Куродавлевъ подошелъ къ окну, изъ котораго былъ виденъ дворъ, озеро, церковь и все село; онъ съ примѣтнымъ безпокойствомъ посматривалъ на дорогу, которая шла по той сторонѣ озера.

— Вотъ, такъ и жду, — прошепталъ онъ, — что этотъ Андрей Поморянинъ нагрянетъ ко мнѣ какъ снѣгъ на голову!.. Э! да вотъ ужъ кто-то ѣдетъ, тройкою въ телѣгѣ... Ахти, никакъ онъ!.. Кажись, въ телѣгѣ сидитъ старикъ... Вотъ шибко поѣхали... Авось мимо... Нѣтъ! заворачиваютъ на плотину... сюда ѣдутъ!.. Ну!!! такъ и есть... Вѣрно Андрей Поморянинъ!.. Эй, Степка! — продожалъ бояринъ, растворивъ сѣнную дверь. — Сбѣгай проворнѣй — узнай, кто это ко мнѣ пріѣхалъ?

Черезъ нѣсколько минутъ слуга воротился и доложилъ Куродавлеву, что пріѣхалъ передовой боярина Кириллы Андреевича Буйносова.

— Какъ!—вскричалъ съ радостію Куродавлевъ,— другъ сердечный, Кирилла Андреевичъ?.. Ну, не ждалъ я такъ скоро дорогого гостя!.. Милости просимъ. Вотъ кстати-то пожалуетъ!.. Въ посаженные отцы его къ молодой... Да, хочетъ или не хочетъ, а ужъ угорскоето винцо мы съ нимъ покончимъ!.. Веди сюда передового.

— Вотъ онъ, Юрій Максимовичъ, — сказалъ дворецкій, введя въ покой Савельича, этого досужаго пчеловода и костоправа, который былъ нѣкогда раскольникомъ и жилъ въ работникахъ у Андрея Денисова.— А я, батюшка,—промолвилъ Кондратій,—пришелъ доложить тебѣ, что женихъ готовъ и сейчасъ ѣдетъ въ церковь.

— Да вотъ и поѣздъ тронулся,—прервалъ Куродавлевъ; — а вотъ и женихъ... Экій молодчина, подумаешь!.. Любо-дорого взглянуть!... И осанка-то какая!.. Ну, похожъ ли онъ на стрѣлецкаго сотника?.. Эхъ, жаль!.. А что, братъ,—продолжалъ бояринъ, садясь въ кресла и обращаясь къ пріѣзжему, — какъ тебя зовутъ?

— Антошка Савельевъ, батюшка.

— Ну что, Савельичъ, ты далеко оставилъ своего барина?

— Нѣтъ, государь Юрій Максимовичъ: много, если

версты четыре переду взялъ. Лошадки-то у меня поплоше боярскихъ, да и больно поумаялись.

— Такъ другъ-то мой сердечный того и гляди прикатитъ?.. Да какъ же онъ это пустится въ дорогу: вѣдь путь не близкій, а онъ мнѣ писалъ, что не можетъ встать съ постели?

— Да, батюшка! Кирилла Андреевичъ изволилъ зашибить правую ножку, и на первыхъ-то порахъ я думалъ, что не скоро встанетъ; да видно, что это мнѣ такъ съ испугу показалось.

— Тебѣ?

— Да, Юрій Максимовичъ: вѣдь боярина-то я пользовалъ.

— Вотъ что! Такъ ты человѣкъ досужій?

— Знаемъ кой-что, кормилецъ. Я-таки на мой вѣкъ много косточекъ повыправилъ.

— Такъ ты костоправъ?.. А руду метать умѣешь?

— И это маракуемъ. Коли надо твоимъ лошадкамъ кинуть кровь, прикажи, батюшка; а коли часомъ и тебѣ самому надо будетъ жилку открыть...

— Нѣтъ ужъ, братъ, спасибо!.. Вотъ развѣ какънибудь ногу или руку повихну...

— Дай-то Господи, батюшка!.. Ужъ я бы тебѣ послужилъ...

— Что ты, что ты?—прервалъ съ громкимъ смѣхомъ бояринъ.—Вотъ о чемъ Бога молитъ!

— А чтожъ, государь Юрій Максимовичъ?.. Коли тебѣ на-роду написано повихнуть ручку или ножку, такъ ужъ лучше при мнѣ: вѣдь неровенъ костоправъ, батюшка, какому попадешься...

— Да лучше, братъ, никакому. А скажи мнѣ: что Кирилла Андреевичъ совсѣмъ что ль выздоровѣлъ?

— Нѣтъ, батюшка, все еще изволитъ прихрамливать; а подождать не хотѣлъ: что-то больно къ тебѣ торопился.

— Знаю, знаю!.. Да порадовать-то его будетъ нечѣмъ.

— Юрій Максимовичъ!—сказалъ дворецкій, входя

торопливо въ комнату, — сейчасъ взъѣхалъ на дворъ вотъ этотъ раскольничій-то голова...

— Кто?.. Андрей Поморянинъ?

— Да, батюшка.

— Ступай проворнѣй... прими его со всякимъ почетомъ.

— Какъ, батюшка!.. Этого еретика?

— Да, да!.. Какъ самаго дорогого гостя—слышишь?

— Слушаю, сударь!—пробормоталъ дворецкій, съ трудомъ скрывая свое негодованіе.

— Введи его въ большую расписную палату: оттуда онъ ничего не увидитъ; да попроси его обождать минутки двѣ, а тамъ, какъ я къ тебѣ пришлю, проводи его сюда. Ну, ступай проворнѣй!

Куродавлевъ подошелъ опять къ окну.

— Да чтожъ это они ѣдутъ не ѣдутъ? — сказалъ онъ съ примѣтнымъ нетерпѣніемъ. — Что за увальни такіе!.. И зачѣмъ я не приказалъ имъ ѣхать рысью!.. Вонъ плетутся какъ!.. Ну, слава Тебѣ, Господи,—доѣхали!.. Вошли въ церковь... Теперь за невѣстой дѣло станетъ!.. Эхъ, проваландаются они вплоть до вечеренъ!.. Вѣдь эти дѣвки передъ вѣнцомъ—бѣда!.. Чай, реветъ теперь въ источный голосъ, а мои-то дуры, чѣмъ бы ее скорѣе снаряжать, глядишь—также голосятъ!.. Охъ, эти бабы! какъ примутся вопить, да причитать, такъ ихъ ничѣмъ не уймешь!.. А! вотъ никакъ зашевелились... отворяютъ ворота... вотъ невѣста выѣхала!.. Благо церковь-то близко... Вотъ и свахи принимаютъ ее изъ колымаги... ведутъ на паперть... Ну, теперь можно!.. Послушай-ка, Савельичъ, пошли сѣнного мальчика сказать Кондратію, чтобъ онъ ввелъ сюда пріѣзжаго гостя, а самъ подожди въ сѣняхъ: мнѣ еще надо будетъ съ тобой словечка два перемолвить.

Оставшись одинъ, бояринъ началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Несмотря на свою природную отвагу, онъ очень былъ встревоженъ. Да и было отчего: въ первый разъ еще въ жизни познакомился онъ съ

чувствомъ, вовсе ему неизвѣстнымъ. Что грѣхъ таить: у боярина Юрія Максимовича Куродавлева сердце замирало отъ страха; и тотъ, кто не дрогнулъ бы стать одинъ противъ цѣлой толпы враговъ, не могъ подумать безъ ужаса, что онъ долженъ остаться съ глазу-на-глазъ съ какимъ-то Андреемъ Поморяниномъ, ничтожнымъ раскольникомъ, безоружнымъ старикомъ. Но этотъ раскольникъ былъ обиженный отецъ—этотъ старикъ пришелъ требовать отъ него своей дочери. Какъ ни старался убѣдить себя Куродавлевъ, что онъ дѣлаетъ доброе дѣло, помогая православному жениться на раскольницѣ, что этимъ онъ возвращаетъ духовной паствѣ одну изъ ея заблудшихъ овецъ, и что лучше было для невѣсты Левшина покинуть отца, чѣмъ остаться навсегда отлученною отъ истинной церкви—но все это было напрасно. Неумолимая совѣсть говорила свое; она шепнула ему: «Не ради добраго дѣла ты отнимаешь дочь у отца—нѣтъ! а ради того, чтобъ отомстить мещовскому воеводѣ. До сей поры ты не краснѣлъ ни передъ кѣмъ, Куродавлевъ; кому ты не смѣлъ глядѣть прямо въ глаза? А теперь... Ну-ка, Юрій Максимовичъ, не смигни, любезный, когда глаза этого раскольника встрѣтятся съ твоими; не покраснѣй, когда этотъ старикъ начнетъ съ тобою говорить о своей дочери»...

— Да чтожъ это такое? — прошепталъ бояринъ, стараясь ободрить себя.—Вѣдь дѣвку-то не я сманилъ, да и Левшинъ увезъ ее не насильно... А коли дочка сбѣжала съ молодцомъ, такъ еще батюшка долженъ мнѣ спасибо сказать, что я поторопился этотъ грѣхъ вѣнцомъ прикрыть... Чу! да вотъ никакъ онъ идетъ!—промолвилъ Куродавлевъ, садясь въ кресла.

Двери распахнулись настежъ, и Андрей Поморянинъ, войдя въ комнату, низко поклонился хозяину.

— Милости просимъ, сосѣдъ любезный! — сказалъ Куродавлевъ, привставая.—Вѣдь мы, чай, съ тобой сосѣди?

— Да, боярин, я живу недалеко отсюда.

— Очень радъ съ тобой познакомиться.

— Не о знакомствѣ рѣчь, Юрій Максимовичъ, — сказалъ почтительнымъ голосомъ Андрей.—Гдѣ намъ, простымъ людямъ, вести знакомство съ такимъ знаменитымъ сановникомъ.

— И, полно любезный!—прервалъ Куродавлевъ.— Что тутъ разбирать чины: дѣло сосѣдское.

Желая чѣмъ-нибудь задобрить Андрея Поморянина, Куродавлевъ рѣшился отступить отъ своихъ правилъ, и, несмотря на то, что гость его былъ въ простомъ сѣромъ балахонѣ, онъ пригласилъ его садиться.

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ,—сказалъ Андрей,— я и постою. Не пригоже мнѣ сидѣть передъ тобою: я не гость твой, а челобитчикъ.

— Все равно! — возразилъ Куродавлевъ. Можетъ-быть, тебѣ не въ привычку сидѣть передъ нашей братьей, боярами?.. Да вѣдь у насъ не Москва, любезный: мы здѣсь живемъ попросту.. Вонъ скамеечка, придвинь-ка ее сюда, да садись, голубчикъ!

Въ продолженіе этихъ рѣчей, которыя, казалось, сильно потревожили Андрея, угрюмое лицо его покрылось яркимъ румянцемъ. Онъ не тронулся съ мѣста, не вымолвилъ ни слова; но что-то похожее на исполненную непріязни и презрѣнія улыбку изобразилось на блѣдныхъ устахъ его.

— Да полно, не чинись!—продолжалъ бояринъ.— Ужъ коли я тебя прошу, такъ садись, братецъ!

Та же самая улыбка была отвѣтомъ боярину, но на этотъ разъ Андрей его послушался: онъ молча взялъ, только не скамью, а точно такія же кресла, на какихъ сидѣлъ хозяинъ, поставилъ противъ него и опустился въ нихъ такъ небрежно, съ такою свободою, какъ-будто бы весь свой вѣкъ сиживалъ въ боярскихъ креслахъ.

— Ахъ, онъ балахонникъ! — подумалъ Куродавлевъ. — Вишь какъ плюхнулъ!.. такъ и развалился— словно передъ своимъ братомъ!.. Могъ бы и на кончикѣ посидѣть, охреянъ этакой!

— Юрій Максимовичъ!—сказалъ Андрей, не обращая никакого вниманія на весьма замѣтное неудовольствіе хозяина,—я пріѣхалъ просить твоей защиты.

— Говори, любезный, говори!

— Кто не знаетъ въ нашей сторонѣ, бояринъ, что ты не даешь потачки ни ворамъ, ни разбойникамъ, стоишь горой за правду и не покривишь душою нетокмо ради знакомства и пріязни, но и ради собственнаго живота своего.

— Ну!—подумалъ Куродавлевъ,—съ нимъ держи ухо востро!.. Вишь, какой лисой подъѣзжаетъ!

— Я и подумать-то не смѣю,—продолжалъ Андрей,—чтобъ ты захотѣлъ помогать въ дѣлѣ воровскомъ какому-нибудь разбойнику... Вѣдь ты лучше всякаго знаешь, бояринъ, что тотъ, кто мирволитъ недобрымъ людямъ, и самъ недобрый человѣкъ; а кто помогаетъ и даетъ пріютъ отъявленнымъ ворамъ и разбойникамъ, тотъ самъ такой же точно воръ и разбойникъ, какъ они.

Вся кровь бросилась въ лицо Куродавлева.

— Да о какихъ ты это говоришь разбойникахъ?—промолвилъ онъ едва внятнымъ голосомъ.—Я, братъ, обиняковъ не люблю!.. Говори прямо!

— Изволь, бояринъ!.. Прямо, такъ прямо. Меня ограбилъ стрѣлецкій сотникъ Левшинъ, который живетъ въ твоемъ дому.

— Ограбилъ!.. Что ты, братецъ, въ умѣ ли?

— Да!—продолжалъ Андрей, вставая,—ограбилъ!.. Ты спросишь, можетъ-быть, бояринъ: «а что онъ у тебя укралъ? серебро что ль изъ сундука вытащилъ, коней свелъ, кладовую подломалъ, деньги отнялъ?..» Деньги!.. Да если бъ онъ обобралъ меня до послѣдней копѣйки, поджогъ домъ, разорилъ въ конецъ, пустилъ бы по міру въ одной рубашкѣ — такъ я махнулъ бы рукою и сказалъ: «Богъ съ нимъ! И деньги, и добро, и домъ все дѣло наживное!.. А не наживу, такъ чтожъ?.. Земное достояніе прахъ!.. Но этотъ злодѣй укралъ у меня единственную дочь, сдѣлалъ меня на старости сиротою, погубилъ душу христіанскую!..

— Погубилъ душу!—вскричалъ Куродавлевъ, обрадовавшись, что можетъ на что-нибудь опереться. — Ужъ не душу ли твоей дочери, которая съ нимъ убѣжала?.. Нѣтъ, голубчикъ—погоди!.. Она будетъ законной супругою Левшина и православной христіанкою. Слышишь ли, господинъ Поморянинъ—православной!

— Я пришелъ къ тебѣ не о вѣрѣ состязаться, — прервалъ Андрей. — Кто бъ я ни былъ по вашему: раскольникъ, татаринъ, жидъ, а я все-таки отецъ, и говорю тебѣ, боярину Куродавлевъ: отдай мнѣ мою дочь!

— Да небойсь, Андрей; дочь твоя не пропадетъ!.. Послушай, любезный,—продолжалъ Куродавлевъ ласковымъ голосомъ,—вѣдь ты знаешь пословицу: «снявши голову о волосахъ не плачутъ». Ужъ коли дочь твоя бѣжала съ молодымъ парнемъ, такъ на что она тебѣ?.. Да я бы на твоемъ мѣстѣ перекрестился, что она замужъ выходитъ за Левшина. Вѣдь послѣ такого дѣла кто на ней женится?

— Это моя забота, боярин; захочу, такъ выдамъ ее замужъ.

— Чай, за мещовскаго воеводу?.. Чего добраго! этотъ срамецъ на все пойдетъ!.. Да какая жизнь-то ея будетъ?.. Вѣчный попрекъ!.. Эй, любезный, не упрямся!.. Ну, самъ скажи: чѣмъ Левшинъ ей не женихъ?

— Нѣтъ!—вскричалъ Андрей,—я никогда не соглашусь...

— Экій ты какой!—прервалъ Куродавлевъ.—Самъ не умѣлъ сберечь дочери, такъ чего тутъ—не соглашусь!.. Ужъ если прежде тебя не спрашивались, такъ теперь и подавно спрашиваться не станутъ. Да и что ты этакъ упираешься?.. Коли ради того, что Левшинъ не вашъ братъ старообрядецъ...

— Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, это другая рѣчь

— А коли другая, такъ о чемъ же и говорить?. Левшинъ отличный молодецъ, человѣкъ родословный, помѣстный!.. Не будь онъ стрѣлецкимъ сотникомъ, такъ и я бы не задумался съ нимъ породниться...

— Да если тебѣ, Юрій Максимовичъ, безчестно породниться съ стрѣлецкимъ сотникомъ, такъ почему же ты думаешь, что я захочу выдать за него мою дочь?

— Что, что?—промолвилъ Куродавлевъ.—Экъ, куда хватилъ!.. Ты, голубчикъ, говори, да не заговаривайся!.. Развѣ я то, что ты?

— А почему ты знаешь, боярин, кто я?

— Кто ты?.. Да, не прогнѣвайся, любезный, я, чаю, ты или бѣглый дьячокъ, или попъ-разстрига; ну, а можетъ статься и гость московскій. Тамъ вашей братіи много развелось.

— Нечего дѣлать!—прошепталъ Андрей. — Да не вмѣнитъ мнѣ Господь, что я нарушаю обѣтъ мой!.. Нѣтъ, Юрій Максимовичъ, я не попъ-разстрига, не бѣглецъ, а такой же родовой человѣкъ, какъ ты. Отецъ мой былъ окольничій, Яковъ Яковлевичъ Денисовъ, а я старшій сынъ его, Андрей.

— Андрей Яковлевичъ Денисовъ, племянникъ князя Мышецкаго?

— Да, боярин.

— Въ этомъ сѣромъ балахонѣ?

— А на что ваши парчи и бархаты тому, кто гнушается всей земной роскошью. Это рубище, этотъ сѣрый балахонъ,—моя труженическая ряска, боярин, и я не промѣняю ее на всѣ ваши золотыя ферязи.

— Денисовы! — повторилъ Куродавлевъ, стараясь что-то припомнить.—Постой-ка, Андрей Яковлевичъ!.. Да тебѣ все-таки нечего браковать Левшина: вѣдь, помнится, твоя родная сестра вышла не за боярина!

— Нѣтъ. Она была замужемъ за стрѣлецкимъ головою, Афанасьемъ Левшинымъ?

— Какъ!.. Такъ дочь твоя...

— Двоюродная сестра стрѣлецкому сотнику, Дмитрію Афанасьичу Левшину.

— Двоюродная сестра! — повторилъ съ ужасомъ боярин.—Ахъ, батюшки!.. Эй, кто тамъ? Всѣ сюда!

Въ комнату вошли: дворецкій, Савельичъ и двое слугъ.

— Бѣгите скорѣй въ церковь! — закричалъ Куродавлевъ. — Скажите отцу Егору, чтобъ остановился вѣнчать!.. Да ну же!.. поворачивайтесь!

Двое слугъ кинулись опрометью вонъ, а дворецкій и Савельичъ остались въ комнатѣ.

— Какъ! — молвилъ Андрей. — Такъ они ужъ въ церкви?

— Да ужъ, чай, и повѣнчаны!.. Ну, надѣлали мы дѣла!.. Господи Боже мой! братъ и сестра!.. Что теперь дѣлать!.. Придется подавать челобитную въ патріаршій приказъ, да развѣнчивать!.. Экій грѣхъ, подумаешь!.. Экій грѣхъ!.. Да и ты, Андрей Яковлевичъ... ну, что ты ломался!.. Сказалъ бы прямо: «они, дескать, двоюродные...» Да постой-ка, любезный, — продолжалъ Куродавлевъ, посматривая недовѣрчиво на своего гостя. — Вѣдь я тебя не знаю, такъ ты пожалуй и сказку плетешь... Полно, правда ли, что ты Денисовъ, и что дочь твоя двоюродная сестра Левшину?

— Дозволь мнѣ, государь Юрій Максимовичъ, словечко вымолвить,—сказалъ Савельичъ, выступая впередъ. — Его милость доподлинно Андрей Яковлевичъ Денисовъ. Когда еще онъ изволилъ жить въ Выгорѣцкомъ скиту, за Онегою, я былъ у него служителемъ, и на Вятку вмѣстѣ съ нимъ ѣздилъ... Да неужли-то, батюшка Андрей Яковлевичъ, ты не изволилъ опознать меня?..

— Семенъ Савельичъ?—промолвилъ Денисовъ, нахмуривъ брови.

— Я, сударь—я.

— Такъ онъ точно Денисовъ? — сказалъ Куродавлевъ.

— Истинно такъ! — отвѣчалъ Савельичъ.—Только дочка-то его вовсе не родня Дмитрію Аѳанасьичу.

— Не родня?.. Такъ Левшинъ ему не племянникъ?

— Какъ же! родной племянникъ: да Софья-то Андреевна не родная ему дочь: она пріемышъ!

— Кто смѣетъ это сказать?—прервалъ вспыльчиво Денисовъ.

— Я, батюшка,—молвилъ Савельичъ.

— Ты?.. Измѣнникъ проклятый, бѣглецъ, отступникъ отъ истинной вѣры, предатель!..

— Да ты, сударь, не изволь такъ лаяться—я правду говорю. Я еще покамѣстъ живой человѣкъ, и память-то не вовсе сгибла. Какъ теперь гляжу: ты привезъ въ Выгорѣцкій скитъ дѣвочку годковъ трехъ и строго всѣмъ наказалъ не говорить ей, что она пріемышъ. «Пусть, дескать, бѣдная сиротинка, думаетъ, что я родной ея батюшка».

— Ты лжешь, Іуда окаянный!

— Эхъ, полно, кормилецъ!.. Какой у тебя быть дочери: вѣдь ты и женатъ-то никогда не былъ.

— Фу, батюшки!—промолвилъ Куродавлевъ, поглаживая свою широкую грудь. — Какъ гора съ плечъ!.. Такъ вотъ дѣло-то какое!.. Они вовсе не родня?.. Ну, перепугалъ ты меня, Андрей Яковлевичъ!.. Эку шутку выкинулъ!.. Да какъ прикинулся: родная дочь, да и только!.. Теперь не прогнѣвайся, любезный, мы ухаживать за тобой не станемъ; хочешь благословить свою нареченную дочь — милости просимъ! А не хочешь— такъ Богъ съ тобой!.. Савельичъ, ступай-ка, скажи, чтобъ ихъ довѣнчивали... Да только правду ли ты говоришь?

— Помилуй, государь мой, Юрій Максимовичъ! захочу ли я взять на душу такой грѣхъ—избави Господи!

— Ну, такъ ступай же, проворнѣй!

— Пріемышъ!—прошепталъ Денисовъ.—Да развѣ та, которую я вспоилъ и вскормилъ, няньчилъ на рукахъ своихъ, называлъ своею дочерью?..

— Все-таки не двоюродная сестра Левшину,—прервалъ Куродавлевъ.—А что ты вспоилъ и вскормилъ ее, такъ это не диво, любезный. Въ вашихъ скитахъ будутъ поить и кормить всякаго, лишь только бы привести въ свою вѣру. Вотъ и ты думалъ сдѣлать то же, и тебѣ не хотѣлось, чтобъ эта сиротинка была православною; а Господь-то сдѣлалъ по-Своему. Да полно, Андрей Яковлевичъ,—не кручинься!—продолжалъ Ку-

родавлевъ,—а попируй-ка лучше съ нами. Я же жду съ часу-на-часъ друга моего сердечнаго, Кириллу Андреевича Буйносова. Вотъ, любезный, не тебѣ ужъ чета—понатерпѣлся горя. Было у него одиннадцать дочерей, а ни одной не осталось: десять померло, а одиннадцатая, крестница моя—пропала безъ вѣсти, здѣсь, въ нашихъ Брынскихъ лѣсахъ.

Денисовъ вздрогнулъ.

— Здѣсь, въ Брынскихъ лѣсахъ?—повторилъ онъ.

— Тому назадъ ровно пятнадцать лѣтъ.

— Пятнадцать лѣтъ?—повторилъ опять Андрей.

— А что... Развѣ ты объ этомъ слыхалъ?

— Нѣтъ! — отвѣчалъ отрывисто Денисовъ. Онъ снова задумался, и вдругъ мрачное лицо его прояснилось, глаза заблистали, и злобная улыбка мелькнула на устахъ.—Вотъ,—сказалъ онъ,—твой пріятель Кирилла Андреевичъ Буйносовъ, хоть баринъ большой, а, чай, выдалъ бы свою дочь и за стрѣлецкаго сотника, лишь только бы она отыскалась.

— За стрѣлецкаго сотника!.. Чтобъ моя крестница, дочь боярина Буйносова, была какой-нибудь стрѣльчихою?.. Сохрани Господи!... По мнѣ лучше вѣкъ не находись... Да къ чему ты это говоришь?

— Такъ.

— Нѣтъ, видно, что-нибудь не даромъ.

— Ну,—продолжалъ Денисовъ, какъ-будто бы говоря съ самимъ собою, — видно, дѣтей-то въ Брынскихъ лѣсахъ теряютъ частехонько.

— А развѣ и твой пріемышъ?..

— Да, Юрій Максимовичъ! Я эту дѣвочку нашелъ въ здѣшнемъ лѣсу, также лѣтъ пятнадцать назадъ и, кажись, объ эту пору.

— Объ эту пору?

— Да. Я изъ здѣшнихъ мѣстъ ѣхалъ тогда за Онегу; вотъ этакъ недалеко отъ села Бѣликова...

— Отъ села Бѣликова?..

— Да. Гляжу, лежитъ подъ кустомъ дѣвочка лѣтъ трехъ или четырехъ въ красной кофточкѣ...

— Въ красной кофточкѣ?.. Что ты говоришь?..

— Правду, бояринъ. Сначала я подумалъ, что она мертвая — не дышитъ; а тамъ, какъ ее поднялъ да пообогрѣлъ, такъ она и глазки раскрыла. Вотъ, — подумалъ я, — видно, Господь сжалился надъ моимъ сиротствомъ и посылаетъ мнѣ дѣтище. Завернулъ ее въ кафтанъ и увезъ съ собою.

— Господи! — вскричалъ Куродавлевъ. — Неужели въ самомъ дѣлѣ?..

— Право такъ! — продолжалъ спокойнымъ голосомъ Денисовъ, взглянувъ украдкою въ окно. — Всю дорогу она была безъ памяти, а тамъ, какъ очнулась и стали ее разспрашивать, такъ начала что-то лепетать; да мы разобрали только, что ее зовутъ Сонюшкою.

— А не было ли у нея чего-нибудь на шеѣ? — прервалъ, едва дыша, бояринъ.

— Какъ же!.. У ней висѣлъ на шелковомъ гайтанѣ обдѣланный въ серебро финифтяный образокъ съ ликомъ преподобной великомученицы Варвары.

— Боже мой!.. Боже мой! — вскричалъ Куродавлевъ.—Это она!.. Точно она!..

— Она!.. Кто она, бояринъ?

— Моя крестница — дочь Кириллы Андреевича Буйносова!

— Неужли въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ ее-то теперь вѣнчаютъ съ стрѣлецкимъ сотникомъ?

— Господи Боже мой!.. Кондратій, бѣги!..

— Что его трудить, бояринъ, — прервалъ Денисовъ, указывая на окно. — Вонъ, посмотри, молодые-то изъ церкви ужъ ѣдутъ.

— Обвѣнчаны! — завопилъ неистовымъ голосомъ Куродавлевъ.

— Да, Юрій Максимовичъ... И развѣнчивать ихъ не станутъ: они вѣдь не родные. А вотъ, кажется, и батюшка ся изволитъ ѣхать.

Подлинно, въ самое то время, какъ свадебный поѣздъ, переѣхавъ черезъ плотину, сталъ прибли-

жаться къ господскому двору, на противоположномъ концѣ села показался длинный рядъ повозокъ.

— Это Кирилла Андреевичъ, — сказалъ Кондратій, глядя въ окно. — Точно, онъ!.. Вонъ ѣдетъ впереди его лѣтній возокъ, обитый краснымъ сукномъ.

— Эхъ, жаль!—промолвилъ Денисовъ,—не успѣетъ онъ принять молодыхъ съ хлѣбомъ и солью!

— Молодыхъ! — повторилъ отчаяннымъ голосомъ Куродавлевъ. — Ну! снялъ я себѣ голову съ плечъ!.. Что мнѣ теперь дѣлать?.. Что сказать Кириллѣ Андреевичу?.. Какъ показаться ему на глаза?.. Фу, батюшки!.. Смерть моя!.. Ноги не держатъ!.. — промолвилъ боярinъ, задыхаясь. Онъ опустился въ кресло и закрылъ руками лицо.

Съ полминуты продолжалось молчаніе. Денисовъ торжествовалъ. Онъ смотрѣлъ съ такой радостной улыбкою, съ такимъ наслажденіемъ на отчаяніе Куродавлева, что, казалось, въ эту минуту вовсе не жалѣлъ о потерѣ своей нареченной дочери.

— Правду ты говорилъ, Юрій Максимовичъ! — промолвилъ онъ, наконецъ. — Истинно, всѣ наши земные помыслы прахъ и суета. Думалъ ли я, что мое доброе заплатится мнѣ зломъ?.. Вотъ и тебѣ также, боярinъ, больно не хотѣлось, чтобъ твоя крестница была стрѣльчихою, а Господь-то сдѣлалъ по-Своему— да еще какъ!.. Ты самъ снарядилъ ее къ вѣнцу!..

— Молчи, проклятый! — закричалъ боярinъ, вскочивъ съ креселъ. — Все это сказки, вздоръ, выдумки! Эта дѣвка никогда не была дочерью Буйносова. Ты отъ кого-нибудь слышалъ, да и сплелъ все это нарочно, чтобъ только осрамить меня и моего друга... Да нѣтъ, голубчикъ, не на того напалъ!.. Слушай, Кондратій: если какъ-нибудь дойдетъ до Кириллы Андреевича—коли кто ни есть изъ нашихъ вымолвитъ хоть одно словечко — заикнется сказать, что этотъ пріемышъ дочь боярина Буйносова, такъ я и тебя и его живыхъ въ землю закопаю!.. Слышишь?.. А ты, господинъ родословный человѣкъ въ сермяжномъ ба-

лахонѣ!—продолжалъ Куродавлевъ, обращаясь къ Денисову, — ступай, куда хочешь, да разсказывай свои сказки, а здѣсь, въ моемъ дому, чтобъ сей же часъ и слѣдъ твой простылъ!.. Милости просимъ вонъ отсюда, коноводъ раскольничій!

— Не гони, Юрій Максимовичъ: самъ пойду!—сказалъ Денисовъ, взглянувъ съ неизъяснимымъ презрѣніемъ на Куродавлева.—Благодарствую тебя, бояринъ, за угощенье, ласковый пріемъ и радушные проводы. Дай Господи и тебѣ встрѣчать всегда такихъ же хлѣбосоловъ!

— Проклятый еретикъ!—прошепталъ Куродавлевъ, когда Денисовъ вышелъ вонъ.—Кондратій, прими молодыхъ и приведи ихъ въ расписную палату.

— Въ расписную палату?.. Да вѣдь столъ-то накрытъ...

— Молчи и дѣлай, что тебѣ приказываютъ!

— Слушаю, Юрій Максимовичъ!

— А объ этомъ, что здѣсь говорено было, смотри—ни гугу!

— Слушаю, батюшка!.. Только воля твоя... не прогнѣвайся, кормилецъ!.. вѣдь, кажись, въ самомъ дѣлѣ...

— Дуракъ!.. Да развѣ жена какого-нибудь стрѣльца можетъ быть дочерью Кириллы Андреевича?.. Ступай!.. Вонъ онъ сердечный! — продолжалъ бояринъ, подойдя къ окну.—Видно, сердце въ немъ не чуетъ, что родная дочь его у меня въ дому?.. Не поѣхалъ бы онъ шажкомъ!.. И что это я такъ заторопился?.. Вѣнчай да вѣнчай!.. Вотъ и повѣнчали!.. Эхъ, Юрій Максимовичъ! не кривить бы тебѣ душою, не выдавать бы замужъ дочери безъ отцовскаго благословенія! Такъ нѣтъ! дай-ка я путемъ насолю этому сквернавцу Токмачеву!.. Анъ вотъ тебя лукавый-то и попуталъ!.. А какая была бы радость!.. Какое весселье!.. Ужъ то-то былъ бы для тебя гостинецъ, другъ сердечный!.. Ты ко мнѣ въ двери, а родная-то твоя — твоя Сонюшка къ тебѣ на шею!.. Охъ, да вѣдь она ужъ не

дѣвица Буйносова, а стрѣлецкая женка Левшина!.. Нѣтъ, нѣтъ! лучше ему вѣкъ не знать, что дочь его нашлась: вѣдь ужъ онъ привыкъ къ своему горю... Чтожъ это возокъ-то его остановился?.. Кто-то подъѣхалъ къ нему на тройкѣ... соскочилъ съ телѣги... Ахти! да это никакъ... такъ и есть... мошенникъ Денисовъ!.. Зарѣжетъ онъ меня безъ ножа!.. Они разговариваютъ.. Вотъ Кирилла Андреевичъ машетъ руками... кричитъ что-то своимъ людямъ... Ну!!! поскакали!.. Все знаетъ!

XII.

Черезъ нѣсколько минутъ возокъ, обитый краснымъ сукномъ, вкатилъ на господскій дворъ и подъѣхалъ къ крыльцу, на которомъ стоялъ уже Куродавлевъ. Онъ принялъ самъ изъ возка боярина Буйносова.

— Здравствуй, другъ сердечный! — говорилъ онъ, обнимая Кириллу Андреевича. — Милости просимъ!

— Гдѣ она? Гдѣ она?—промолвилъ дрожащимъ голосомъ старикъ Буйносовъ, вырываясь изъ объятій своего друга.

— Она!.. Кто она?..

— Дочь моя!.. Дитя мое!..

— Тише, мой другъ, — тише!.. Что ты это говоришь?.. Вѣдь, пожалуй, эти дурачье повѣрятъ!.. Войдемъ, любезный, въ покои, войдемъ!.. Мы ужъ тамъ потолкуемъ объ этомъ...

— Чего тутъ толковать!—вскричалъ Буйносовъ.— Она здѣсь, у тебя...

— Да успокойся, Кирилла Андреевичъ!... Пожалуй, пожалуй!

Куродавлевъ схватилъ подъ руку своего гостя, провелъ его черезъ переднюю и столовую, затворилъ за собою всѣ двери и, войдя съ нимъ въ первую пріемную комнату, по нашему гостиную, сказалъ:

— Ну вотъ, теперь отдохни, любезный другъ,— садись!

— Да гдѣ же она?..

— Садись!.. Мы поговоримъ..

— Эхъ, Юрій Максимовичъ!.. Да чтожъ ты, уморить что ль меня хочешь?

— Говорятъ тебѣ, садись!.. Не сядешь, такъ я тебѣ и отвѣчать не стану.

— Ну, ну, изволь!.. Вотъ я сижу.

— Послушай, другъ сердечный, — сказалъ Курородавлевъ, садясь подлѣ Кириллы Андреевича,—ну, что толку безъ пути радоваться, коли, можетъ статься, вовсе нѣтъ никакой радости?

— Что ты говоришь!..

— Ну, да!.. Мало ли что намъ кажется на первыхъ порахъ, и такъ и этакъ, а тамъ, какъ поразсмотришь да поразсудишь хорошенько — такъ ой, ой, ой!.. въ такой бы просакъ попалъ, что и, Господи... Вотъ и мнѣ было сгоряча показалось: ахти-молъ, ужъ не крестница ли это моя?.. А какъ подумалъ путемъ да припомнилъ все—анъ и выходитъ: вовсе не то!

— Да какъ не то, когда мнѣ сейчасъ разсказалъ обо всемъ тотъ самый, кто нашелъ ее, вспоилъ и вскормилъ, какъ родную дочь!..

— А знаешь ли, кто это тебѣ разсказывалъ, и что это за человѣкъ такой?.. Да ему здѣсь и малый ребенокъ ни въ чемъ не повѣритъ!.. Вѣдь это отъявленный мошенникъ и еретикъ, Андрюшка Поморянинъ!

— Что нужды, кто бы онъ ни былъ!

— Да и почему ты думаешь, что этотъ найденышъ точно твоя потерянная дочь?

— Какъ почему?.. Онъ ровно пятнадцать лѣтъ тому назадъ нашелъ ее въ здѣшнемъ лѣсу...

— Эко диво!.. Да здѣсь почитай каждый годъ дюжины по двѣ ребятишекъ въ лѣсу находятъ. Вѣдь ты не знаешь, какіе здѣсь водятся раскольники: иные дѣтей-то своихъ нарочно въ лѣсу покидаютъ. «Пусть, дескать, они гибнутъ отъ дикихъ звѣрей — мученики будутъ!» Ну, разсуди самъ, что хорошаго, если бы ты при всѣхъ началъ цѣловать и назвалъ бы своею дочерью какого-нибудь раскольничьяго подкидыша?

— Но этотъ Поморянинъ говорилъ мнѣ, что дѣвочкѣ было на взглядъ годка три или четыре, что она была въ красной кофточкѣ...

— Въ красной кофточкѣ!.. Эка невидалъ!.. Да здѣсь и старый и малый, всѣ поголовно носятъ красныя кофты.

— Да это все еще ничего! Онъ сказалъ мнѣ, что у дѣвочки былъ на шеѣ финифтяный образокъ съ ликомъ святой великомученицы Варвары; что онъ и теперь еще на ней... А вѣдь ты самъ благословилъ свою крестницу такимъ образомъ.

— Вотъ то-то и дѣло, что нѣтъ!.. Я точно благословилъ ее, да только образомъ святой Вѣры, а не Варвары.

— Господи!—промолвилъ съ ужасомъ Буйносовъ.— Да нѣтъ, нѣтъ! ты забылъ!

— Охъ, любезный! то-то и бѣда, что не забылъ... Ты постарѣе меня, память становится у тебя плоха, а имена-то сходны межъ собою: Вѣра, Варвара—вотъ ты и перепуталъ!.. А я какъ теперь помню...

— Боже мой, Боже мой!—простоналъ бѣдный старикъ.—Неужли Ты порадовалъ меня для того только, чтобъ мнѣ горчѣе стало жить на бѣломъ свѣтѣ.

Онъ закрылъ руками глаза, и крупныя слезы потекли по его блѣднымъ щекамъ.

— Ахъ, я окаянный!—прошепталъ Куродавлевъ.— Ну, надѣлалъ я дѣла!.. А что, мой другъ, — продолжалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени,—говорилъ ли тебѣ еще что-нибудь этотъ Андрюшка Поморянинъ.

— Нѣтъ! — отвѣчалъ Буйносовъ. — Онъ только успѣлъ вымолвить то, что я тебѣ пересказалъ; да объявилъ мнѣ, что эта дѣвица у тебя въ дому.

— Дѣвица! — подумалъ про себя Куродавлевъ. — Вотъ что!.. Такъ онъ не сказалъ, что она повѣнчана?

— Вѣра!.. Варвара!—повторялъ Буйносовъ.—Охъ, кажется, Варвара!.. Да постой!.. Лучше всего... позволь, любезный.

Кирилла Андреевичъ вскочилъ, вышелъ въ переднюю и сказалъ дворецкому Кондратію:

— Послушай, братецъ, попроси у этой пріѣзжей, что у васъ теперь въ дому, финифтяный образокъ, который она носитъ на шеѣ.

— Да на что тебѣ? — спросилъ съ примѣтнымъ смущеніемъ Куродавлевъ, когда гость его возвратился опять въ пріемную.

— Какъ на что? — отвѣчалъ Буйносовъ.—Я хочу самъ видѣть. Почему знать: коли ты, мой другъ, точно помнишь, что благословилъ свою крестницу образомъ святой Вѣры, такъ можетъ статься этотъ Поморянинъ ошибся, когда сказалъ мнѣ, что на этомъ образкѣ ликъ великомученицы Варвары.

— Помилуй, любезный!.. Да неужели въ пятнадцать лѣтъ они не разсмотрѣли, какая святая написана на образѣ?

— Эхъ, Юрій Максимовичъ!.. Кто тонетъ, тотъ и за соломенку хватается!

Черезъ нѣсколько минутъ Кондратій возвратился, неся бархатную ладонку, привѣшенную къ шелковой тесьмѣ. Куродавлевъ предупредилъ Кириллу Андреевича. Онъ выхватилъ ладонку изъ рукъ Кондратія, вынулъ изъ нея образокъ, взглянулъ на него и, казалось, совершенно успокоился.

— Ну вотъ,—сказалъ онъ, передавая образокъ Буйносову,—посмотри самъ.

— Да!—промолвилъ съ отчаяніемъ Буйносовъ,—такъ и есть: великомученица Варвара!

— И образокъ-то вовсе не такой!—подхватилъ Куродавлевъ.—Вспомни хорошенько: вѣдь у того, которымъ я благословилъ крестницу, были только краешки серебряные, а этотъ весь въ серебро обдѣланъ. Подайка его сюда.

— Погоди! — сказалъ Буйносовъ, осматривая кругомъ образокъ.—Ты мнѣ что-то напомнилъ... Да, такъ точно!.. Я самъ отдавалъ его обдѣлать въ серебро.. И зачѣмъ бишь?.. О, дай Богъ память... А! помню! помню!.. Для того, чтобъ надпись не стерлась... Постой!

И прежде чѣмъ хозяинъ могъ догадаться, что хочетъ дѣлать Буйносовъ, онъ съ живостію молодого человѣка выхватилъ изъ кармана дорожный ножикъ, отогнулъ имъ края у серебряной спинки образа, снялъ ее... Вотъ на задней сторонѣ иконы открылась надпись, и Кирилла Андреевичъ прочелъ громкимъ голосомъ: «Сей святой иконою великомученицы Варвары благословилъ крестницу свою, дѣвицу Софью Буйносову, бояринъ Юрій Максимовичъ Курода влевъ».

— Ну, Юрій Максимовичъ! — вскричалъ Буйносовъ,—вѣришь ли теперь, что это моя дочь?

Куродавлевъ молчалъ. Блѣдный, съ поникнутой головою стоялъ передъ Буйносовымъ, какъ стоитъ уличенный преступникъ передъ своимъ неумолимымъ судьею.

— Чтожъ ты молчишь?—продолжалъ Буйносовъ.— Иль не вѣришь, любезный?.. На вотъ—прочти!

— Ну! — прошепталъ Куродавлевъ, — нечего дѣлать!.. Кирилла Андреевичъ! — молвилъ онъ, повалясь въ ноги своему гостю,—прости меня, Бога ради!

— Что ты, что ты?.. Богъ съ тобою!—вскричалъ Буйносовъ.—Да встань, пожалуйста!

— Нѣтъ, не встану, пока ты меня не простишь!

— Прощаю, братецъ, прощаю!.. Да въ чемъ?

— Охъ! страшно вымолвить!

— Господи!.. Да чтожъ такое?

— Какими глазами мнѣ на тебя взглянуть?.. Что я надѣлалъ!.. Другъ мой!.. Кирилла Андреевичъ!.. вѣдь я, не зная, что это твоя дочь, выдалъ ее замужъ!

— Замужъ!.. За кого?

— Вотъ въ томъ-то и дѣло!.. Языкъ не повернется вымолвить!

— Да говори, Бога ради!

— Ее сейчасъ обвѣнчали.

— Съ кѣмъ?

— Ну! рѣзать, такъ рѣзать!.. Я обвѣнчалъ ее съ присланнымъ отъ тебя стрѣлецкимъ сотникомъ...

— Левшинымъ?

— Да!.. Теперь ты все знаешь. Вотъ тебѣ моя голова, дѣлай съ нею, что хочешь!

— Фу, батюшки! — промолвилъ Буйносовъ, перекрестясь.—Слава Тебѣ, Господи!.. А я ужъ думалъ и Богъ знаетъ что!.. Ну, Юрій Максимовичъ, напугалъ ты меня.

— Напугалъ! — повторилъ Куродавлевъ. — Да чего жъ тебѣ еще?.. Илъ ты не слышалъ?.. Стрѣлецкій сотникъ...

— Такъ чтожъ?

Этотъ вопросъ до того поразилъ Куродавлева, что онъ нѣсколько времени не могъ вымолвить ни слова.

— Батюшки!—прошепталъ онъ наконецъ, —да онъ никакъ съ радости-то обезумѣлъ?.. Что ты это, другъ сердечный?.. Христосъ съ тобою!

— Чему жъ ты дивишься?—сказалъ Буйносовъ.— Отецъ Левшина былъ моимъ задушевнымъ пріятелемъ... Онъ самъ молодецъ прекрасный... Левшины люди родословные...

— Хороши родословные! — прервалъ Куродавлевъ.—И батюшка и сынокъ—оба стрѣльцы!

— Стрѣльцы, да не измѣнники; а по мнѣ тотъ, кто служитъ вѣрой и правдой царю-государю—гдѣ бы онъ ни служилъ... да вотъ, хоть, напримѣръ, стрѣлецкій полковникъ Сухаревъ.

— Ну, что по-твоему?.. Чай, нашему брату будетъ въ версту?

— А почему же нѣтъ?

У Куродавлева руки опустились.

— Эге!—промолвилъ онъ, глядя на своего гостя,— какъ вы тамъ въ Москвѣ-то онѣмечились!.. Ну!!! такъ тебѣ ничего, что твоя дочь стрѣлецкая сотничиха?

— Ничего.

— Ну, а коли тебѣ ничего, такъ мнѣ и подавно!.. Вѣдь Софья-то Кирилловна моя крестница, а не дочь родная.

— Да что объ этомъ говорить?.. Веди меня скорѣй къ ней...

— Постой!.. Вѣдь надобно же ей сказать, кто она такая, а то вѣдь ты ее перепугаешь: кинешься къ ней на шею, закричишь, заплачешь... Побудь немного здѣсь. Я самъ къ тебѣ приведу молодыхъ... Эки времена!— продолжалъ шопотомъ Куродавлевъ, идя во внутренніе покои. — Я думалъ, что съ ногъ его срѣжу, а онъ какъ ни въ чемъ не бывало!.. Стрѣлецкій сотникъ ничего... ну!!!

Прошло нѣсколько минутъ; разумѣется, каждая изъ нихъ не имѣла конца для Буйносова. Нѣсколько уже разъ хотѣлъ онъ бѣжать навстрѣчу къ своей дочери, искать ее по всему дому, проклиналъ медленность Куродавлева, и вотъ наконецъ въ сосѣдственныхъ покояхъ послышались скорые шаги; двери растворились; молодая женщина, съ закинутой назадъ фатою, вбѣжала въ комнату и съ радостнымъ крикомъ бросилась въ объятія Буйносова.

— Дочь моя, дитя мое!.. Сонюшка, другъ мой!— не говорилъ, а рыдалъ старикъ-отецъ, прижимая къ груди своей ту, которую онъ давно уже оплакалъ.

А Софья... о, въ эту минуту она была совершенно счастлива! Все прошедшее воскресло въ душѣ ея. Вотъ этотъ другой отецъ, который мечтался ей иногда какъ будто бы во снѣ—вотъ его родныя, милыя черты!. Эти дѣтскія воспоминанія не мечта,—нѣтъ! Этотъ тайный шопотъ сердца не обманулъ ее: она не дочь Андрея Поморянина!

Я не стану описывать, или, вѣрнѣе сказать, я не могу описать вамъ, что чувствовали отецъ и дочь при этомъ неожиданномъ свиданіи. Какъ ни богатъ, какъ ни роскошенъ языкъ русскій, но онъ такъ же, какъ и всѣ языки земные, бѣденъ и мертвъ, когда дѣло идетъ о томъ, чтобъ описать эту чистую, непорочную радость души, это тихое, неизъяснимое блаженство, которыя сближаютъ землю съ небесами; но тамъ они вѣчны, а здѣсь эта радость, это блаженство минутные гости. Тамъ Господь Богъ даетъ ихъ даромъ, а здѣсь почти всегда мы покупаемъ ихъ страданьемъ цѣлой жизни.

Когда первый восторгъ свиданья прошелъ, Буйносовъ обнялъ съ нѣжностію Левшина и назвалъ его своимъ милымъ сыномъ. Хозяинъ хотя и поморщился, однакожъ не сказалъ ни слова и пригласилъ всѣхъ въ самую обширную комнату своего дома. Тамъ былъ накрытъ столъ и дожидался священникъ. Послѣ молитвы, отецъ Егоръ надѣлъ на молодыхъ вѣнцы, которыми они вѣнчались въ церкви, а хозяинъ посадилъ ихъ рядомъ на кресла, обитыя богатою парчою. Передъ ними стоялъ, по обычаю нашихъ предковъ, огромный свадебный коровай, начиненный всякими сластями. По правую руку Левшина, Юрій Максимовичъ посадилъ священника, Буйносовъ сѣлъ рядомъ съ дочерью, а подлѣ него помѣстился хозяинъ. За креслами *князя* и *княгини*—такъ называли въ старину всѣхъ молодыхъ—стоялъ, свѣтлый, какъ мѣдный грошъ, нашъ давнишній знакомецъ Ферапонтъ. Онъ не могъ наглядѣться на своихъ молодыхъ господъ, перемигивался съ Дарьей, которая, вмѣстѣ съ другими сѣнными женщинами, выглядывала изъ-за двери, и ухмылялся повременамъ такъ выразительно, что шутъ Тришка отвелъ его послѣ обѣда къ сторонѣ и сказалъ:

— Ну, братъ Ферапонтъ, какія ты рожи корчилъ за столомъ!.. Нечего сказать — мастерица!.. Выучи меня пожалуйста, голубчикъ!

Когда хозяинъ выпилъ нѣсколько кубковъ знаменитаго угорскаго винца за здоровье своего друга, Кириллы Андреевича и дѣтокъ его, то сталъ немного повеселѣе.

— А вѣдь надо сказать правду, — молвилъ онъ, толкнувъ локтемъ Буйносова: — любо на молодыхъ-то посмотрѣть—парочка! Хороша твоя дочка, другъ сердечный, да и Дмитрій Афанасьичъ — экій писанный красавецъ!.. Эхъ, жаль! не служи только этакій молодецъ въ стрѣлецкомъ войскѣ...

— Да онъ ужъ въ немъ не служитъ, — прервалъ Буйносовъ.

— Какъ?

— Да онъ приписанъ къ царской охотѣ. Государь Иванъ Алексѣичъ изволилъ мнѣ обѣщать пожаловать его въ свои начальные сокольники.

— Прямо въ начальные сокольники?.. Ну, это полегче!.. А все, любезный, хоть дойди онъ до чина старшаго подсокольничьяго, такъ и тутъ станутъ говорить: «Что, дескать, онъ ходитъ такимъ козыремъ— оглянулся бы назадъ!.. Теперь, дескать, онъ шапку-то заломалъ, а напрежь сего не великъ былъ человѣкъ. Служилъ-де въ стрѣльцахъ, и батюшка его былъ стрѣлецкимъ головою».

— Да полно объ этомъ толковать! — сказалъ Буйносовъ.—Эхъ, братъ Юрій Максимовичъ! зажился ты въ своихъ Брынскихъ лѣсахъ!.. Пора тебѣ пріѣхать въ Москву провѣтриться. Тамъ ужъ не объ этомъ рѣчь идетъ. У государя Петра Алексѣевича пображиваютъ въ головушкѣ свои замыслы. У него только тотъ и боярин, кто по-боярски служитъ, сирѣчь не жалѣя живота своего! А лежебоковъ-то онъ не очень жалуетъ—не прогнѣвайся.

— Послужили и мы! — сказалъ Курodавлевъ. — И если бъ меня не обидѣли...

— Обидѣли?.. Вотъ то-то и есть!.. Да погоди, любезный, дай только подрасти государю Петру Алексѣевичу: у него бояре мѣстами считаться не станутъ.

— Право?.. Да вѣдь батюшка-то его, царь Алексѣй Михайловичъ, не глупѣй его былъ, а въ наши боярскія дѣла не вступался...

— А этотъ вступится!.. Вотъ попомни мое слово; повернетъ онъ все по-своему.

— Что ты говоришь?.. Да не дай Господи дожить до этого!

— А врядъ ли не доживемъ,—прошепталъ боярин Буйносовъ, принимаясь за новый кубокъ угорскаго вина.

КОНЕЦЪ ВТОРОГО ТОМА.

Stanford University Libraries
3 6105 015 009 157
PG3
Z
1901
V.7
DATE DUE
NOV 29 1976

БИБЛІОТЕКА
РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
ВЫПУСКЪ II 1903 ГОДЪ